

М. 2-й этаж
М+3-1-15

Владимир **МАЗАЕВ**

Синь-Тайга

84.2p53-42em
143-4806

Владимир МАЗАЕВ

Синь-тайга

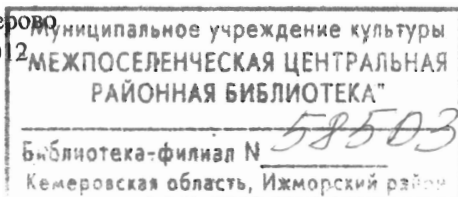
Повести

Рассказы

*Картинки с таёжных
троп*

Кемерово

2012



ББК 84.3Р7
М 13

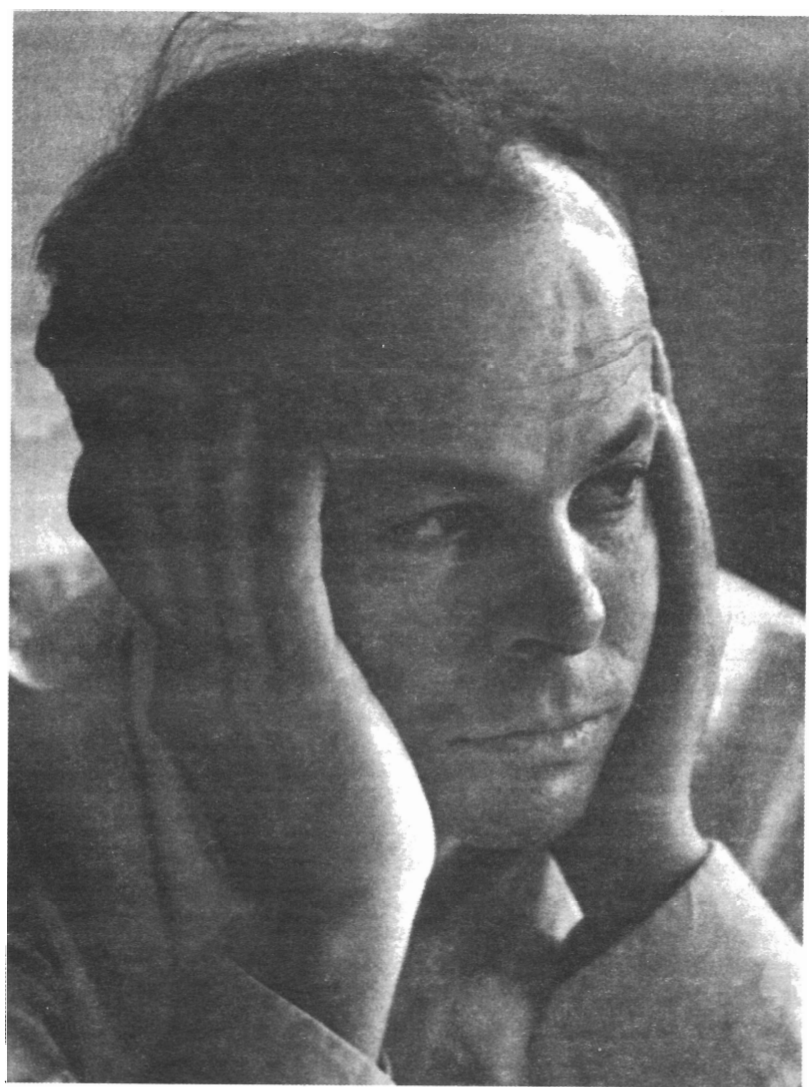
Мазаев В. М.
М 13 Синь-Тайга: повести и рассказы / В.М.
Мазаев. – ООО ПК «Офсет»; 2012. – 268 с.

ISBN 5-85119-076-0

ББК 84.3Р7

ISBN 5-85119-076-0

© **Мазаев В. М.** 2012
© ООО ПК «Офсет», 2012



НАБАТ СЕРДЦА

Повесть



Конец июня выдался на редкость сухим, знойным; вода в Реке упала до минимального уровня. Галечные плоские косы угрожающе потянулись от берегов к середине русла. Перекаты заблестели лбами выступающих камней. Пассажирские «ракеты» замерли у причалов, не рискуя двигаться по обмелевшему фарватеру.

На водозаборном канале Завода всасывающие трубы астматически всхлюпывали под самым урезом; сотни тысяч кубов в сутки, которые они уже с трудом забирали у обмелевшей Реки, размеренно вливались в организм Завода через его ненасытную водоводную систему.

Охладив всё, что надо было охладить, промыв всё, что требовало промывки, напивавшись отходами производства, вода тяжёлым угольно-масляным жгутом скатывалась в гидроотвал, расположенный вдали от цехов, в безлюдной пойме Реки.

Живым в этой воде оставалось только одно — её движение.

Гигантское озеро гидроотвала, берегами которого служила многометровая насыпная Дамба, постоянно парило. Зимой густая белесая шапка зловецё сползала на окрестные заснеженные поля. Летом над свинцово-чёрным зеркалом отвала шевелился воздух; отвратительный запах фенола, железной окалины, погашенного кокса был такой же принадлежностью здешних пустынных мест, как картинки чахлых берёзок, полузадавленных Дамбой, как ручей Есаулка, крадучись безжавий к Реке по сухой осоке в полукилометре от гидроотвала.

К вечеру жаркого июньского дня воздух загустел, остановился. Мгла заката, смешавшись с промышленной дымкой, поглотила солнце. Уже в сумерках западная сторона неба замигала вспышками молний.

К полуночи грохотало и озарялось белым огнём всё небо. Потoki дождя, рухнув на иссушенную почву, на Реку, на притихший вдали Город, придавили, расплющили заводские дымы.

Вместе с грозой пришёл штормовой ветер.

На зеркале отвала, взъерошенном дождевыми струями, поднялись, закатались волны. Они были тяжёлые и угрюмые. На гребнях тёмных шевелящихся горбов кипела иссиня-чёрная пена. В несколь-

ко часов волны размыли защитный — из суглинка — экран Дамбы.

Некоторое время Дамба дренировала, натужно покрываясь сочащейся пеной, а потом как-то враз осела и поползла.

Вал ядовитой промышленной грязи выплеснулся на поле, по кочкарнику, по сухим кривулинам болотца устремился к ручью Есаулке. Он проглотил ленточку ручья и по его ложу, замывая прибрежную осоку, заламывая тальники и смородинники, покатился дальше.

Проран с каждой минутой расширялся; вместе с ним расширялось, стеклянно горбясь, вороново крыло потока.

Над ночными окрестностями гидроотвала повис угрожающе-ровный шум речных порогов.

В заволоче туч возник вдруг разрыв, в который глянуло круглое око Луны, на мгновение облив окрестности цинково-мертвенным, угрюмым светом.

И долгую минуту, после того, как тучи снова сомкнулись, воздух продолжал полниться этим странным мерцанием...

1

В кабинете первого секретаря горкома Каржавина*, несмотря на глубокую ночь, ярко горел верхний свет.

На приставном столике матово отсвечивали сгрудившиеся телефонные аппараты — аспидно-чёрные, зелёные, красный; пульт переговорного устройства; приборы селекторной связи. Сквозь тамбурные двери то и дело доносились телефонные звонки. Сам Каржавин, стоя, прижимал к уху трубку чёрного аппарата, напряжённо слушал, морща лоб. Входили, вполголоса здоровались, садились за длинный стол заседаний ответственные работники служб города.

Главный инженер завода Ротов, молодой для своей должности, лет тридцати семи, с густой, модно подстриженной шевелюрой, расположившись поодаль от других, уткнулся в раскрытую папочку, как будто в ней было что-то очень существенное.

* Горком — городской комитет Коммунистической партии. Таким образом, Каржавин — фактический глава города.

Последней торопливо вошла главврач санэпидслужбы Перепёлкина. Движения и жесты её, в отличие от медлительного не по возрасту Ротова, были нервны, порывисты. Села, достала из сумочки гребень, махнула по волосам раз, другой, дёрнула молнию на сумочке — затихла в напряжённом ожидании.

Каржавин взглянул на часы, наклонился к переговорнику внутренней связи, сказал нетерпеливо:

— Раиса Степановна, время, время! Как там, на селекторной, всё готово, все в сборе?

Вслед за щелчком голос секретарши:

— Юрий Иванович, Храмов в отпуске...

— Знаю, — перебил Каржавин. — Вызов сделали?

— Да, конечно. Анохин пока задерживается, звонил недавно. Наверное, что-то серьёзное.

— А Куклин? — Каржавин мельком оглядел присутствующих.

— Не могут найти. — Голос у секретарши был, как обычно, мягкий, со спокойным придыханием, но, казалось, именно это и приводило сейчас Каржавина в состояние плохо сдерживаемого раздражения.

— Что значит — не могут? Он что, дома не ночует? Что говорит жена?

Секретарша — с той же интонацией:

— Квартира, Юрий Иванович, не отвечает.

Каржавин секунду помолчал. Хотел сказать что-нибудь более резкое: мол, такой ерунды не могут решить самостоятельно — найти человека, руководителя! Но, чувствуя взгляды присутствующих, сдержался.

— Разыщите, — бросил он. — Начнём пока без них. Кто ещё в приёмной? Приглашайте.

Садясь в кресло и придвигая к себе по полированной глади чистого, не заваленного бумагами стола микрофон селекторной связи, Каржавин ощутил вдруг такую внутреннюю усталость, что ему стоило усилия скрыть это от присутствующих.

Карболитовая ножка микрофона холодила подушечки пальцев. Он кашлянул, нажал клавишу и, глядя в круглое сетчатое

серебристое брюшко микрофона, сказал:

— Прошу внимания. Прежде всего извините, что поднял в такой час. Причина чрезвычайная... — он кивнул Ротову, приглашая поближе к себе. — Рядом со мной главный инженер завода Ротов. Передаю ему слово, — и он передвинул микрофон через стол, куда энергично, но несуетливо пересел Ротов, не забыв, однако, прихватить свою папочку. — Глеб Александрович, только коротко, самую суть.

— Постараюсь, — кивнул тот и хорошо поставленным голосом, без словесных излишеств и эмоций, что считалось у руководителей больших производств одним из необходимых показателей их деловых качеств, заговорил в микрофон: — Сегодня в ночь во время грозы и штормового ветра на гидроотвале завода поднятой волной разрушило Дамбу. Отвал этот — вдали от основных цехов, в пойме Реки. В результате из котлована через тело Дамбы выплеснулась масса загрязнённой воды...

— Вынужден уточнить, — перебил Ротова Каржавин: — Главный деликатно называет содержимое отвала загрязнённой водой. Но сейчас не до деликатностей. Выплеснувшийся вал — жидкость с исключительно высокой концентрацией отходов заводского производства. По существу, яд. Для всего живого, — и, глянув хмуро на Ротова, бросил: — Продолжайте.

Тот, ничуть не смутившись от этого уточнения, продолжал:

— Образовался проран — пятьдесят метров. Мы подняли аварийные команды, рабочих завода, землеройную технику. На помощь пришло военное училище...

Селекторный динамик, стоявший в стороне и, казалось, забытый всеми, вдруг спросил чьим-то далёким, будто заблудившимся голосом:

— А много выплеснулось-то?

Все повернулись к динамику, как к живому, а Ротов с профессиональной сдержанностью сказал:

— Грубо ориентировочно — несколько сот тысяч кубов.

— ...Сот тысяч кубов?! — воскликнул динамик и с простодушной прямоотой добавил: — И куда всё это дерьмо подевалось?

Ротов медленно прихлопнул свою папочку, и этот ненужный в данную минуту жест и связанная с ним пауза были восприняты всеми, кто сидел за столом и хорошо знал главного инженера, как признак растерянности.

— Ушло в Реку, — произнес наконец Ротов и замолчал, откинувшись на спинку стула.

Каржавин резко, не считаясь с тем, что услышат все участники селекторной переключки, спросил:

— У вас, Ротов, всё?

— Да. Всё.

Тогда, подтянув к себе ближе микрофон, он сказал:

— Главный обошёл главное. Ради чего мы вас экстренно собрали...

Но тут щёлкнул переговорник.

— Простите, — сказала секретарша. — Куклина найти не могут. Телефон по-прежнему молчит. А вот парторг* Анохин — на линии, просит — срочно.

...Две минуты назад он ввалился в помещёние заводской диспетчерской, к ближайшему телефону, — в тяжёлом мокром плаще, в заляпанных глиной сапогах. Крупная, ухватистая рука его, державшая трубку, тоже была грязна.

Ожидая ответа, он то косился на свои сапоги, с которых на линолеум пола стекали струйки, то на женщину-диспетчера, но видел совсем другое: медленно, как в космической невесомости, переворачивающийся через нож ярко-жёлтый в свете огней красавец «кэтерпиллер».

Он не был кабинетным работником, Анохин немало времени проводил в горячих точках этого крупнейшего в отрасли завода, много повидал. Но никогда ещё, ни в одной из аварийных ситуаций, им не овладевало ощущение собственной беспомощности, отчаяния.

А вот сейчас он был растерян, беспомощен.

Он только что вернулся оттуда, где в узкой щели Дамбы эф-

* Парторг — партийный организатор коммунистов завода.

фектно подсвеченное прожекторами шевелилось с глухим ворчанием нечто живое, грязно-маслянистое, неукротимое в своей освобождённой ярости. Люди и техника, сгрудившись на узких концах прорыва, в спешке и бестолковой суете что-то пытались спихнуть или скатить на горящую спину этого чудовища какие-то балки, бетонные сломанные панели, железный бесформенный скрап, не успевший поступить в переплавку, набитые песком мешки и ящики, автопокрышки... *

Всё это, на миг вспоров тугую блестящую поверхность потока, тут же исчезало без следа.

«Демон, вырвавшийся из бутылки», — подумал Анохин. Там, на Дамбе, он тоже не стоял без дела — отдавал распоряжения, что-то помогал тащить, задыхаясь от испарений, куда-то сбрасывать, падал на вязких крутых откосах... И всё же главным чувством, которое владело им всё это время и угнетало, была беспомощность.

Это было тяжёлое, унижительное чувство, и он впервые так остро и болезненно переживал его...

Наконец трубка зашуршала, голос с напряженными интонациями произнес:

— Ну что ещё там у тебя стряслось?

— Юрий Иванович! — встрепенулся Анохин, отгоняя неприятные видения. — Я только что с гидроотвала. Там чёрт знает что... Бульдозер с Дамбы опрокинулся... Главный на селекторном?

— Да, здесь.

— Он позарез нужен. Пусть возвращается. И Куклин тоже.

— Хорошо, Ротова отпускаю, а Куклина нету. Может, он где-то там, на территории?

Анохин повертел головой вместе с прижатой к уху трубкой, будто Куклин мог прятаться тут, в самой диспетчерской.

— Да не видать что-то. А он позарез нужен. Как-никак его хозяйство...

Глядя пристально в сетчатое брюшко селекторного микрофона, Каржавин говорил:

— ...значит, главное в чём? По Реке пошла волна этого ядовитого дерьма, вы верно сказали. Время отпускное, летнее. На берегах — туристы, отдыхающие. Пионерские лагеря, детские дачи... По Реке ниже нас — областной центр с населением в полмиллиона... Да вам ли об этом напоминать?

— Докуда уже дошло-то? — нарушая субординацию селекторного разговора, вырвался из динамика женский голос.

Каржавин не стал одёргивать нетерпеливую:

— По данным бассейновой инспекции, волна в районе посёлка Сонино, — ответил он. — Это ниже на двенадцать километров.

— А когда дойдет до областного?

— Часов через шестьдесят.

— В чём конкретно опасность? — не унимался динамик, но голос уже был другой — мужской, рокочущий бас. Кажется, говорил заведующий горно.

— А это давайте спросим санслужбу, — сказал Каржавин. — Передаю микрофон Перепёлкиной... Анна Сергеевна, прошу.

Перепёлкина вскочила и с выражением испуга на остроскулом веснушчатом лице быстро пересела на стул, на котором только что сидел покинувший кабинет Ротов. Сумочка упала у неё с коленей, но она за ней даже не наклонилась.

— Как то есть в чём? Как то есть в чём? — нервно, взволнованно заговорила Перепёлкина, глядя на секретаря горкома, будто это он задал столь наивный вопрос. — Да во всём! Ну ладно — вода для питья... Пионерские лагеря, профилактории, посёлки воду для питья могут взять из скважин, из колодцев. Но ведь утром все ползут к Реке купаться, ребятишки особенно...

— А областной? — настойчиво пророкотал динамик.

— Господи, если фильтры его водозабора засорятся, забьются, не выдержат... Это я не знаю. Город без воды! Станут пищевые предприятия, в больницах шприца не прокипятишь... Катастрофа, если хотите, вот что!..

— В общем, суть ясна, а время дорого, — пе ребил Каржавин, которому не по душе пришлась эта нервная взвинченность Пере-

пёлкиной. Встревожить людей, обеспокоить серьёзностью положения надо, конечно, однако не до паники же... — И он решительно повернул микрофон в свою сторону. — Первая задача — оповестить Реку. Немедленно задействовать все виды связи. Руководители горно и горздрава, ваши главные заботы — детские дачи и пионерские лагеря, медпункты... — А как быть с «дикарями» на берегу, с одиночками?

— Поручим авиаторам, — сказал Каржавин. — Командир авиотряда у селектора? Когда сможете поднять вертолёт?

— Как только начнет светать, — ответил тотчас динамик.

— Прошу установить мне с экипажем связь.

Каржавин посмотрел на часы.

— Все, кто приглашен к селектору, с этой минуты — члены оперативного штаба. Вам даны полномочия. Действовать решительно. Любое промедление, тем более волокиту, считаю преступлением. Меня держать в курсе всего... Да, и ещё. При штабе, на случай непредвиденных обстоятельств, организуется аварийная бригада. Помещение выделено в пристройке этажа. Дежурство круглосуточное. Вопросы?

— Областной центр оповещён?

Вопрос этот почему-то вызвал раздражение у Каржавина, показался праздным, а может быть, в нём уловлялся и намёк на его, секретаря горкома, недогадливость. Он ответил, помедлив:

— Это моя забота. Всё. Селекторную связь прекращаю...

3

...Подняв машину в воздух и взяв заданное направление, командир Ми-4 Печорин оглядел горизонт. Небо повсюду было холодным и чистым. Ломаная линия на востоке с набором высоты ступеньвалась в зареве встающего из-за гор солнца. Однако прямо под ними, на земле, куда ещё не упали лучи, было сумрачно и зыбко, и только по бледно-зеленоватым пунктирам легче можно было определить, что внизу — улицы пригорода.

Справа крутой дугой взблеснула речная излука, перечёркнутая толстоногим телом коммунального моста; по габаритам его тоже

светились бисеринки огней. И тотчас другой берег, лишившись своих, даже слабых ориентиров, исчез, словно накрытый гигантской тенью. Кое-где в прорывах взметнулось живое пламя, проплыли красными колечками сигнальные лампы на концах дымовых труб — вертолёт проходил рядом с территорией завода.

Этим направлением экипажу Печорина приходилось летать частенько, когда их машину арендовала экспедиция, работавшая в горах Алатау на разведке железной руды. При восточном ветре завод открывался сразу — чёткая и строгая геометрия цехов, обвитых, как лаокооны, змеями труб; ажурные нити коммуникаций; купола ёмкостей, похожие на присевшие дирижабли; хмурые, дышащие нежным парком жерла градирен.

Вся эта индустриальная панорама, тянувшаяся на километры, при взгляде с птичьего полёта поражала глаз, ошеломляла мощью своего живого таинственного дыхания. И, наверное, оттого, что человек с такой высоты был столь мал, что становился неразличим, трудно было представить более впечатляющее доказательство торжества и безграничных возможностей его инженерной мысли.

Однако сегодня ветер был северо-западный, и тень, внезапно расползшаяся по ту сторону излучины и закрывшая землю, была не что иное, как согнанная этим ветром к Реке тяжёлая от ночной влаги пелена дымов.

И это тоже впечатляло.

Потом Река отошла круто вправо, а с ней и дымы, и пригороды, и угнетённые июньской сущью, бледно зеленеющие поля, и над крутизной берега — каменные сломы крепости, поставленной ещё сибирскими первопроходцами. Потянулись ленты березняков и вскоре растворились в хвойной шкуре тайги.

Но вертолётчики не меняли направления, зная, что Река сейчас опять сделает поворот и они выйдут на заданную точку маршрута.

По логам глыбился туман, вяло накатываясь на склоны сопков. Солнце уже пронизывало верхушки его пышных горбов, а молочно-белый цвет при этом гас, тускнел, и туман на глазах превращался в ключья, оторванные от дождевых туч.

Перезалив последнюю гряду сопков, они заскользили над реч-

ной поймой. Туман здесь стлался низко, по самым зарослям.

На левом берегу — высоком, лобастом, оголённом от леса вырубками — зачернели домики посёлка.

Печорин плавным разворотом снизил машину, пошёл вдоль поймы. Солнце, едва оторвавшись от гор, светило теперь справа и чуть сзади, взблескивало нестерпимо в стёклах приборов. Река же под ними продолжала течь в тени заслонивших её сопок и крутого правого берега, в ключьях тумана, тихая, спокойно-сонная...

Командира стали одолевать сомнения.

— Что-нибудь видите? — спросил он в ларингофон членов экипажа — второго пилота и бортмеханика.

Второй неопределенно пошевелил плечами, всматриваясь вниз. Бортмеханик, который сидел сбоку, уронив ноги в люк грузового отсека, тоже ничего не видел.

Одно из двух: или они каким-то манером опередили выброс, или с воздуха он плохо различим; хотя последнее маловероятно. Лётный опыт подсказывал: даже слегка замутневшая вода в ручье или речке прослеживается отчетливо и со значительно большей высоты, чем сейчас.

Но вот Река стала делать плавный поворот к востоку, горы раздвинулись, ушли с горизонта, и солнечные лучи холодно скользнули по глади вод.

И вода на глазах преобразилась, почернела. Тёмная полоса ее, которую они приняли за береговую тень, так и осталась тенью, слегка взволнованной перекатным течением. Печорин опустил машину ещё ниже, пока лобовые стекла не стали мутнеть от летящего навстречу тумана.

— Командир, — сказал второй пилот озабоченно, — вызывают на связь. Но слышимость дохлая. Может, повыше вскарабкаемся?

Командир качнул головой, поправил наушники. Он с трудом узнал далёкий, в осыпях сухих разрядов голос секретаря горкома Каржавина.

— Печорин, где находитесь, как видимость? Что внизу? Приём.

Блики по Реке от низко висящего солнца бежали впереди вертолёт, мешая обзору. Печорин:

— Только что вошли в створ. Район поселка Макаровский. Видимость дохлая... Стелющийся туман. Выброс движется лентой во много километров. Цвет ядовито-серый, до чёрного, маслянистый. Чётко просматривается граница.

— Людей видите?

— Пока нет, рано ещё, — сказал Печорин, скользя взглядом по стремительно улетающим под кабину клиньям галечных кос, тальниковым кустам, косякам, по затынутым жирной зеленью прибрежным болотам. — Но картина сверху мрачная, — не выдержал он своего сухого, деловитого тона. — Будто нефть под водой горит, полыхает — клубами идёт, клубами!

Второй пилот молча, чтобы не мешать радиоразговору, ткнул рукой вниз. Печорин склонил голову, взгляделся. На белую от ила галечную отмель стремительно вынеслось из водяной мути что-то живое, веретенообразное — сверкающее. И теперь лежало обречённо на боку, вздыбливая хвостом мелководье.

— Рыба выбрасывается на берег! — вырвалось у Печорина, когда он сообразил наконец, в чём дело. — Не думал, что в нашей Реке ещё осталась такая! Что же это... А?

— Добро, командир, — голос Каржавина помрачнел. — Нельзя ли улучшить связь, куда-то пропадаешь.

— Низко идём. Из гор выйдем — улучшится.

Река снова повернула, тени гор погасили блеск воды, стусевав краски, но лётчики теперь шли уверенно. Змеиная густо-серая лента, постепенно размываясь на перекатах, всё шире захлестывала коренное русло.

4

Тихий уголок этот, тропинку к нему сквозь тальниковые дебри они обнаружили случайно, в середине жаркого мая. У них тогда заглох мотор, Алёша стал копать в нём, а Вика побрела вдоль придорожных кустов и, увидев просвет, отважно нырнула в него. Шагов через сто слабо натопанная тропа вывела её на речной бережок с мелкой чистой галькой и узеньким барханчиком песка, намытым половодьем под самыми зарослями.

Сверху и снизу по берегу галечник ограничивали тальники, толпясь над самой водой по каменному обрывчику, а сзади пьяно дыбился перемятый весенним льдом черёмушник.

И никаких следов чужого пребывания; это был подарок судьбы.

Они протащили сюда мотороллер, а тропинку со стороны дороги эгоистично забросали ветками: ни в чьём обществе они не нуждались.

Уезжая, вновь замаскировали тропку и с тех пор постоянно стремились сюда, радуясь, что есть у них местечко, дарящее им уединение.

Но сегодня с погодой не повезло. Когда они, проскакав на мотороллере уйму километров, свернули с проселочной дороги к Реке, грозовая туча уже тмила небо. Редкие капли стучали по плечам, по шлемам.

Натягивали они палатку впопыхах, в весёлой панике; палатка надувалась пузырьём — рвалась из рук. По речному плёсу стелились волны. Редкие капли стремительно превратились в обвальный ливень. Вика первая с писком нырнула в палатку, Алёша следом.

Вытряхнув из рюкзака спальные мешки, они развернули их и легли поверх, прислушиваясь к голосам разбушевавшейся стихии. Вдруг стало совсем темно, тревожно, издалека нарастал гул. Вика перекатилась к Алёше, прижалась к нему. Он поцеловал её в волосы:

— Струсил?

— Молчи, — шепнула она, торопясь просунуть руку ему под олимпийку, чтобы скорее ощутить родное, успокаивающее тепло его тела.

Где-то с треском надломилось дерево. Вихревой порыв ударил в стену палатки, выдернул дюралевые хлипкие колья, и палатка повалилась, прихлопнув их мокрой, яростно трепыхающей тканью.

Алёша вскочил. Бодая головой сырую, тяжёлую ткань, стал шарить выход.

— Лежи, не высовывайся! — крикнул он и выполз под ливневое, всё в огненных искрах, грохочущее небо. Куцым туристским топориком стал заново вколачивать колья.

Скользкие шнуры рвало из рук, и он раза два больно заехал себя по пальцам, чертыхнулся.

Тогда Вика тоже храбро выскользнула наружу. Молнии вспыхивали в дождевой неистовой мгле, обгоняя катучие гулы грома. Алёша стоял на коленях, завязывая шнур, точно молился, спина его при этом дымилась от дождевых струй. Вика ухватила прыгающий угол палатки, изо всех сил потянула. Колья были наконец крепко вколочены. Но за эти несколько минут оба они промокли до нитки.

С трудом стащили с себя липнувшую, как пластырь, одежду, бросили у входа и, стуча зубами от охватившего вдруг озноба, полезли в палатку.

— Дураки мы! — засмеялся Алёша. — Надо было сразу раздеться!

Вика нашарила в рюкзачных карманах полотенце, вытерла лицо, волосы. Они сидели рядом, запыхавшиеся от борьбы с оголтелой стихией, тяжело дышали.

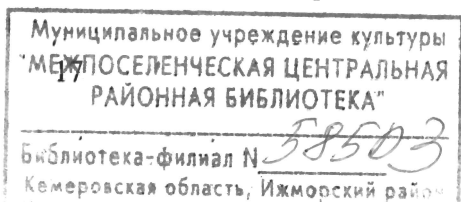
В блескучем свечении молний сквозь оранжевый полог палатки, нагие, они оба казались Вике первыми грешными людьми на земле, укрывшимися от гнева богов в пещёре. И это ей тоже жутко нравилось.

— Знаешь, кто мы с тобой сейчас? Первобытные люди, когда они ещё ни огня не знали, ни одежды, — зашептала она. — Представляешь теперь, как им жутко, как страшно было? Особенно в такие ночи. Собыются в кучку, бедняги, и дрожат, каждый в серёдку норовит, слабых выталкивают... — Она притиснулась к Алёше, зажмурила глаза, но вспышки неба проникали сквозь веки. — Интересно, была ли у них уже любовь?

Алёша привлёк её к себе, стал искать губами её губы.

— Вот уж не думаю... Вряд ли, зачем любовь, если нет одежды...

— Да ты что? — Вика даже слегка отстранилась. — Да если хочешь знать, древние были в сто раз эмоциональнее, чем мы. Чаше смеялись, чаще плакали. И вообще жили больше страстями, эмоциями. А ты...



— Ладно, была, была. Смотри, ты вся трясёшься. А ну марш в мешок! Нет, дай я тебя сперва разотру этим цивилизованным полотенцем.

— Что?.. Ты тоже трясёшься...

Ливень с оглушающим треском рушился на тугую, барабанную ткань палатки.

Шумела, вскипая, береговая зелень. Грома щедро рассыпали свою сверкающую медь по окраинам неба. Озоновый влажный воздух тёк по их горячим, пульсирующим жилам, сгорал на губах...

Вика уткнулась пылающим лицом в Алёшино плечо.

Гроза уплывала. Принесённый её освежающим дыханием сумрак не рассеивался, перетекал сразу в ночь. Великая первозданная тишина объяла землю. Вика, поцеловав уснувшего Алёшу, осторожно перебралась в свой нахолодавший спальник. Лежала, остывая, вытянув руки вдоль бёдер...

5

Переговорник на приставном столике произнес голосом секретарши Раи:

— Вас заведующий горно. Соединить?

— Да, конечно, — сказал Каржавин и поднял трубку черного телефона. — Слушаю вас.

— Юрий Иванович, с пионерским лагерем «Кедровый бор» прервана телефонная связь. Связисты говорят — столбы штормом повалены.

— Что предпринимаете?

— Посылаем газик, но туда такая дорога... — заведующий не скрывал ноток скептицизма. — Всё развезло после вчерашнего... Мостки там хлипкие. У шефов стройтреста так руки и не дошли, — не выдержал, съябедничал он.

— Это как будто в районе Ивановки? — Каржавин повернулся в кресле, посмотрел на карту.

— Да. Выше шесть километров.

— Так позвоните туда, в Ивановку.

— Полчаса висим. Боюсь, что та же беда. А «Кедровый», — до-

бавил он, — наш ближайший лагерь на Реке.

Каржавин перебрал трубку к другому уху, сказал:

— Будьте посамостоятельней. Я пока помочь ничем не могу. И ответственности с вас, имейте в виду, не снимаю. Ищите другие возможности.

— Да какие наши возможности...

6

— Лёш, а Лёш? — позвала она в темноту.

— А? — встрепнулся тот.

— Почему тихо так? Даже птицы не щебечут.

Алёша заворочался, удобнее устроиваясь.

— После такого небесного тарарама не скоро защебечешь. Да и далеко ещё до восхода... А ты чего не спишь?

— Не знаю, — вздохнула она, к чему-то прислушиваясь. — Аж в ушах звенит.

Темнота становилась непроницаемой, враждебной. Вика ощутила не то чтобы страх, а какое-то беспокойство, лёгкий душевный гнет. Она протянула руку, нашарила в кармашках фонарик. Дымно-оранжевый овал света упёрся в косой палаточный бок. Мир снова обрёл свою успокаивающую реальность.

Взъерошенный Алёшин затылок был совсем рядом.

Ей сразу стало легко, покойно. Она наклонилась, позвала:

— Лёш, а Лёш?

— М-м... — шевельнулся тот.

Вика обняла его, ладонью скользнула ему по животу, рассмеялась вкрадчиво:

— Мышка пробежала...

— О проклятье! — Алёша потянул спальник на голову, но тот был явно коротковат. Вика — обиженно:

— Фу, как ты можешь спать в такую ночь?

— Ночь как ночь...

Тогда она склонилась над ним и вдруг хлопнула его по лбу. Тот сел, осовело завертел головой.

— А?.. Что такое?.. Кто?

Вика сделала большие глаза.

— Комар! Агромадный. Я его убила.

— Ну, ты у меня достукаешься, довыступаешь!

Алёша сидя стал кутаться в мешок, зевнул.

— Глянь в дырочку, Луна есть?

— А зачем тебе Луна?

— Повыть бы! — сказал Алёша и добавил угрожающе: — Дашь ты спать или нет, несносная девчонка!

И обняв её вместе со спальником, борцовским ухватистым приемом перекатил через себя. «Ах, так?» — сказала Вика. Они стали кататься по палатке, вытряхиваясь из своих спальников, — разгорячённые, смуглые от загара, нетерпеливые. Фонарик свалился и деликатно погас...

7

Старенький, с брезентовым верхом «газик» тарахтело мчал сквозь ночную темь, выхлёстывая лужи. Грязь летела на ветровое стекло, и тогда щётки «дворников» бесстрастными маятниками разгоняли её в стороны. Огни двух передних фар и одной боковой лихорадочно прыгали впереди, высвечивая то кусок расквашенной дождем просёлочной дороги, то никлые по обочинам кусты.

Шофер, парень с круглым и мяклым каким-то лицом, с обвисшими на лоб и уши прядями, зло рвал баранку, вполголоса ругался: попадало от него то дороге, то начальству. Подняли его за полночь с постели и вот пожалуйста — заставили переться хрен знает куда, будто нельзя утра дожждаться.

Рядом с водителем сидел мужчина средних лет, в светлом плаще и кепочке курортного фасона — инспектор гороно Бабушкин. Вполуха слушая шофёрское бормотанье, смотрел напряжённо сквозь ветровое стекло: ночная дорога казалась чужой, неузнаваемой. Когда уж очень сильно подкидывало на ухабах, хватался за скобу на щитке, но голоса не подавал.

Два раза буксовали, однако выкарабкались сравнительно легко, даже выходить не пришлось. На третий раз сели крепко.

Задние колеса дымились, в бешеном вращении выбрасывая ошме-

тя глины, передние же, увязнув по ступицу, были неподвижны.

— А почему передние не крутятся? — высунувшись из дверцы, спросил Бабушкин.

— Отключены потому что, — хмуро бросил шофёр.

— Так подключи.

— В такой грязюке? Сам попробуй.

Бабушкин заправил штанины в носки, крепче затянул шнурки на туфлях.

— Дай ключ, монтировку, — потребовал он.

Шофёр нашарил под сиденьем инструменты. Ругаясь вполголоса, шагнул из машины в придорожную грязь, глухо чавкнувшую вокруг литых резиновых сапог. Принялся отвинчивать на утонувших по самые оси колеса колпачки, чтобы подключить передний мост...

Из ямы выбрались. Шофёр повеселел, но ненадолго. Вскоре в сполохах дальнего света вырисовалась ложбина, сплошь залитая водой. Теперь они сникли оба. Машина стала.

— Чёртова дорога! Куда тут ехать! — закричал нервно шофёр. — Влипнем по уши — и ваши не пляшут. Поворачиваем!

— Стой! — сказал повелительно Бабушкин и полез из машины. За кюветом выломал тальниковую ветку, ободрал листву, вернулся в свет фар. — Надо бы промерить.

— Вот и давай! А я лично таких указаний не получал — ямы промеривать.

Бабушкин повертел в руках прут и, оскальзываясь, стал спускаться в ложбинку.

Шофёр угрюмо смотрел сквозь стекло на его раскоряченную фигуру. Лязгнув в сердцах дверцей, догнал, выхватил у того из рук злосчастный прут.

Промер показал: вода на пределе, однако дно сравнительно твёрдое. Бабушкин настаивал ехать дальше.

— Завяжем, кто нас тут вытащит? Кому мы тут нужны? — ярился шофёр. Присев на бампер, переобулся: всё-таки черпанул голенищами воду.

Бабушкин отошёл в сторону. Небо уже затлелось. Глаза, об-

выкнув в полутьме, различали отдалённые контуры. Сразу за ложбинкой смутно проступал горб — кучка оставшихся при вырубке пихт. Над чёрным горбом, точно каска пожарного над погорельем, качалась Луна. Бабушкин узнал это место — как-то, приезжая на открытие пионерлагеря, останавливался под этими пихтами.

Он быстро вернулся к машине:

— Давай всё же попробуем, рискнём. Осталось всего ничего — километров двенадцать.

— И пробовать не собираюсь, двигатель захлебнётся, что тогда?

— Не захлебнётся. Глубоко будет — сдашь назад.

— Грамотные все стали, — парень нырнул в кабину, но к рычагам не притронулся. Двигатель урчал на холостых оборотах.

— Послушай, Скарюпин, — Бабушкин изо всех сил сдерживался, чтобы не наорать на парня. — У тебя дети есть?

— Ну и что? При чем здесь дети?

— А ты представь, что они сейчас в этом лагере.

Парень помолчал, как бы оценивая возможность такого варианта, выщелкнул в окно окуроч.

— Нечего на психику давить. Вы сперва дорогу наладьте, а потом требуйте.

— На твою психику не давить надо, а колом по ней, колом! — крикнул, не выдержав, Бабушкин. — Болван! А ну езжай вперёд, я приказываю!

На мяклом лице парня, освещённом лампочками приборного щитка, проступила озлобленная растерянность.

— Да чё я — у бога телёнка съел?! — плаксиво выкрикнул, огрызнулся он. — Нарядятся в туфельки да галстуки и командуют! Толкать щас придётся как миленькому!

Скрежетнули шестерни передач; мотор взревел.

— И учти, если засядем и с детьми случится несчастье, я под любой присягой скажу, что ты засел умышленно, грыжи испугался, — уже спокойней добавил Бабушкин, отметив про себя, что насчет туфелек парень прав. Но не оправдываться же сейчас, что его выдернули из дому спешным ночным звонком и даже не объяснили толком, какого характера поездка.

— Это вы можете, — саркастически протянул шофёр. — Это у вас не заржавеет...

Когда они подъехали к ручью, то увидели только бурлящую полосу воды. Бабушкин выбрался из машины, подошёл к берегу. Брюки, заправленные в носки, были в грязи выше колен. Плащ, ставший похожим на тряпку, о которую в плохую погоду вытирают ноги, он давно сбросил. Двухнакатный мостовой настил, сорванный потоком, разметало по кустам, как спички; с корнем вырванная пихта лежала посреди несущейся воды, взбугривая своим корневищем поток, так что волны выплескивало на оба берега. Межосиротелых опор бурлили пенистые воронки.

В сумраке рассвета и сочащегося сквозь заросли тумана картина эта предстала столь удручающей, что Бабушкина взяла оторопь.

Сугубо городской житель, общавшийся с природой разве что на садовом участке да — изредка — на грибных прогулках, он сейчас с почти мистическим трепетом взирал на следы той её неукротимой ярости и разнузданности, которые бушевали здесь всего несколько часов назад.

Он наклонился и, зачерпнув горстью воду, стал отмывать с брючин и туфлей жирную дорожную глину. Но не смывал, а ещё больше размазывал.

Позади остановился шофёр и тоже стоял молча — слова здесь были не нужны. Ситуация на этот раз красноречиво свидетельствовала: приехали...

Бросив наконец бессмысленное свое занятие, Бабушкин снял и положил на сиденье пиджак. Потом забрёл в воду... В легкомысленной курортной кепочке на самом затылке, с болтающимся галстуком, стоящий раскорякой в воде, он вызвал у шофера едкую усмешку. И лишь когда он зашёл по пояс и вода забурлила вокруг, лихо относя в сторону длинный язык галстука, шофёр понял, что тот всерьёз намерен перейти ручей вброд.

— Эй, эй! — крикнул он. — Так не договаривались! Куда тебя черти понесли, смое!

Бабушкин остановился, с минуту заворуженно смотрел на ле-

тящую воду, обретшую вдруг тутую неумолимую силу, которая выдирала из-под ног скользкое дно.

Он, по всей видимости, хотел уже повернуть — как вдруг взмахнул руками и исчез. Осталась на поверхности лишь пляжная кепочка, она плыла и весело вертелась.

Вынырнул он шагах в десяти ниже, хотел встать на ноги, но его снова сбило, и он, молотя по воде руками, смешно закувыркался. Его отнесло под ивняки, свисавшие с берега на повороте ручья. Там было не так глубоко, и ему удалось нащупать ногами дно. Подбежавший в испуге шофёр подал руку, помог выбраться на сухое.

Вода текла с Бабушкина потоком. Сам он являл вид жалкий, растерзанный. Стоял, отплевывался, мотал ошалело головой. К тому же на одной ноге у него не оказалось туфли — утокула.

— Если бы я умел плавать... — бормотал он.

Снизу от невидимой отсюда, но близкой реки потянуло густым туманом. На глазах он поглотил всё вокруг — тайгу по склонам, расхлёстанную непогодой дорогу, противоположный берег ручья.

Обстоятельство это почему-то ещё сильнее подстегнуло Бабушкина. Он постоял, потоптался напротив места, где посреди разбухшего русла лежала, бугря корневищем воду, пихта. Вернулся к машине, спросил шофёра, есть ли топор. Топора не было. Ну — лопата?

Тот нехотя полез в багажник, вытащил лопату с коротким черенком — ржавую, в пластах застарелой грязи.

Бабушкин брезгливо повертел её; ничего не сказав, зашагал в придорожный березняк, подхрамывая разутой ногой.

Забредя в него, он остановился перед тонкой ровной берёзкой. Кажется, то, что надо. Подходящий получится шест. Он потрогал её рукой. Гладенькая, стройная, в пышном наряде зелёной листвы — красавица. Его вдруг охватила растерянность. Сейчас он убьёт её, беззащитную. Несколько взмахов ржавой лопатой — и с лица земли исчезнет то, что природа создавала добрый десяток лет. Но это же для дела, пытался он убедить самого себя, между тем как глаза его уже шарили по сторонам, выискивая на земле

какую-нибудь годную палку. Однако палки не попадалось. Тогда он пересёк дорогу и, поискав в зарослях черёмушника, нашёл там и выломал стоявшую на корню сушину.

Некоторое время маячил у шумного потока, в туманной роспыли, опершись на черёмуховый шест, точно воин на боевое копьё, что-то сосредоточенно соображал. Мокрая, облепившая спину рубашка, галстук болтается на животе, волосы вздыблены рожками — кто бы признал сейчас в этой странной, расхристанной фигуре инспектора гороно Бабушкина!

Шофёр с досады залез в машину, сидел там набыченно, ждал: что ещё выкинет этот псих...

Бабушкин сбросил оставшуюся туфлю и решительно шагнул в воду, надёжно опираясь на шест. План его был прост: добрести до пихты, перебраться через нее, через её разлапистую крону, а там уж до берега — рукой подать.

Однако напор летящей струи был столь силен, что Бабушкин, подталкиваемый в **бок**, двигался больше по течению, чем поперёк его. И с тревогой увидал: его сносит, толкает мимо пихты. Надо приостановиться, устоять. Пихтовые ветки, с шипением бурунящие воду, — вот они, рядом. Он изо всех сил оперся на шест — и сухая черёмушина хрустнула. Бабушкин в отчаянном рывке ухватился за ветку. Волна перекатилась ему через голову, он захлебнулся.

Борясь с бешеным напором воды (какая тупая, ужасная мощь! — мелькнуло), он последним напряжением сил подтянулся к стволу, вполз на пихту, слегка её притопив.

Немного отдышавшись, торжествуя в душе, что самое трудное позади, он мельком бросил взгляд на свой берег и оцепенел: берег двигался! А вместе с берегом двигались, удаляясь и медленно размываясь в тумане, и дорога, и машина на дороге, и выскочивший растерянный шофёр.

Пихта плыла, и потрясённый Бабушкин, лягушкой распластавшись на её стволе, тоже плыл, покачиваясь, и странная, космическая тишина объяла его.

Позвонив по прямой связи в область дежурному обкома и скупю, сдержанно доложив о случившемся, Каржавин подошел к окну.

Площадь, освещённая лампами дневного света, была безлюдна, поблескивала влагой.

Один из трех по ту сторону площади тополей белел длинным отщепом — сломанной старой ветвью. Что ж, этот след не из самых гиблых, оставленных на лице города прошумевшим штормом...

Жилые дома стояли тёмные, как скалы, — ни огонька, ни звука. Лишь на верхнем этаже жёлто высветлялся квадратик окна. Кому не спится? А может, просто забыли выключить...

За четыре года, что он занимает этот кабинет, город не скупился подбрасывать разного рода проблем — и крупных, и помельче. Но такой, что встала сегодня, ещё не было. Неискушенным людям казалось со стороны: первый секретарь всесилен; по крайней мере, ему в пределах города подвластно многое. Да, многое, он согласен, но как часто он бывал просто на грани отчаяния оттого, что не находил выхода из создавшегося положения. Особенно в первый год. Видеть, что от тебя ждут решения, а у тебя его нет, — эту ситуацию он всегда переживал остро, даже болезненно.

Потом все как-то притерлось, пришла мудрая сдержанность, подсказанная опытом истина, что иное решение может долго зреть, и он по-прежнему быстрых ответов не искал и к быстрым ответам других относился подозрительно.

И всё же главное, чем он втайне гордился и что действительно нынче счастливо пришло к нему, — это умение владеть обстановкой. И вот сегодняшняя грозовая ночь преподнесла жестокий урок.

В городе с многотысячным населением всегда находилось достаточно напряжённых, «узких» мест, которые он держал под контролем, однако о заводском гидроотвале и понятия не имел. Ни- когда не интересовался им, и никто из аппарата горкома — в первую голову промышленный отдел — к этому третьестепенному объекту тоже интереса не проявлял. Теперь же выброс ползёт по Реке гигантской гидрой, сметая на своём пути все живое. И никто,

никакая человеческая сила в мире не способна его остановить.

На приставном столике прозуммерил один из аппаратов, однако Каржавин безошибочно узнал, какой именно. Тот, к которому принято протягивать руку после первого-второго гудка — не позже.

— Слушаю. Каржавин.

Короткая пауза, затем в чистом, без индукционных шумов далеке раздался глуховатый, размеренно расставляющий слова голос:

— А мы живем и горюем, чего нам тут, в областном центре, не хватает для счастья. Спасибо, удружил. Сразу жить веселей стало...

Передавая свое сообщение дежурному обкома, Каржавин не сомневался, что тот, несмотря на позднее время, не замедлит довести его до Первого*. Но сам он звонка от Первого так быстро не ждал.

Выслушав это многообещающее начало, Каржавин промолчал. Он знал разговорную манеру высокого абонента и поэтому ждал прямого вопроса.

— В причинах разобрался?

— Разбираемся, Андрей Андрееч. Вообще-то гроза была, шторм... Ураган даже...

— Ой-ой! — с той же иронией в голосе произнес Первый. — В воздух, часом, никого не подняло? — и, не дожидаясь ответа: — Дамбу, надеюсь, залатали?

— Утечка почти прекратилась.

— Утекло, должно быть, всё — вот и прекратилась. Что ещё?

— На пути к реке потоком смыто совхозное поле, дачные участки горожан. Снесён дорожный мост. Кажется, пострадал свинокомплекс. Уточняем.

— Нулевые случаи?

— С этим, кажется, обошлось.

— Когда часто «кажется», читай «отче наш» — помогает, говорят. Так-то!.. — дал волю своим эмоциям Первый. — Да виновных,

* Первый секретарь обл. комитета Коммунистической партии. Фактический хозяин области.

виновных выясняй!

И в трубке раздался холодный щелчок отбоя.

9

В палатке снова горел фонарик, оранжевый круг на стенке напоминал сказочно огромную Луну.

Вика и Алёша, притихшие, успокоенные, лежали каждый в своем мешке, затаённо молчали.

Взяв в руки транзисторный приёмничек, Вика стала крутить ручку настройки, вздохнула:

— Поймать чего-нибудь весёленькое, что ли...

Сперва вкрадчиво, отдаленно всплыла в палатку классическая мелодия. Вика минуту послушала, затем вновь тронула колесико. С писком и разрядами ворвалась певучая восточная речь. Исчезла. И снова в приглушенной мгле палатки, на берегу тихой ночной Реки, зазвучал русский голос: «...учёные пытаются найти объяснение одному из самых загадочных и тревожных явлений, с которыми им когда-либо приходилось сталкиваться. Над Южным полюсом в слое озона образовалась «дыра». Размеры её, полученные с помощью спутников, ошеломили. Сегодня «дыра» равна территории США, и она расширяется. Озон — это настоящий панцирь, защищающий всё живое на Земле от губительного ультрафиолетового излучения Солнца. Исчезновение озонового слоя, предполагают учёные, вызвано загрязнением атмосферы в результате промышленной деятельности человека...»

— Ну, вот оно и весёленькое... — хмыкнул Алёша.

Вика приглушила транзистор, сказала быстро:

— Лёш, природа мудрая?

— Какая природа?

— Ну, которая всё создала, мир.

— Спрашиваешь! — Алёша закинул руки за голову. — Мудрая, конечно. Хотя бы потому, что нас с тобой создала. А это уже немало!

— Ага-ага, — охотно подтвердила Вика. — Но главная её мудрость, по-моему, в том, что она всех, кого создала... весь живой

мир... держит как бы в равновесии.

— Это как? — снова не понял Алёша.

— Ну, если, скажем, волку дала зубы, то зайцу быстрые ноги. Если орлу клюв, то черепахе панцирь... И тэдэ и тэпэ! Явного преимущества — никому. Согласен? — Вика засуетилась в своем мешке, села на пятки — так ей важно было то, что она сейчас выскажет. — А вот ответь, как она, мудрая, могла допустить несправедливость — дать одному из своих созданий такое оружие, как разум, интеллект? И тем самым сделать владыкой всего живого на земле. Всего! И зубастого, и рогастого, и длинноногого. За что? За какие такие прелести, а?

Алёша рассмеялся:

— А ты что — хотела бы до сих пор отбиваться от пещёрного медведя дубинкой?

— Дубинка — тоже оружие ума, — вздохнула Вика. — Недавно читала книжку из нашей библиотеки. Там автор говорит примерно так. Ой, не переверать бы!.. Нас, то есть человечество, должен страшить не экологический кризис, не истощение недр, не атомная война даже, а знаешь что? Не знаешь! Разрыв между умом и чувствами, вот! Это, мол, главная причина всех будущих трагедий человечества...

Алёша хмыкнул:

— Опять не усекаю.

— Ну, — нетерпеливо сказала Вика, — что мощный разум наш далеко обогнал наши хилые чувства.

— Зачиталась ты у меня, гляжу.

— Нет, ты не увиливай!

— Что ж, мысля любопытная, — проговорил Алёша задумчиво. — Но я бы сказал — внесоциальная какая-то.

— О, слышу голос не юноши, а молодого, подающего надежды итээра!

— Крупного завода, — подсказал Алёша.

— Да-да, очень крупного. Гиганта!

— Иронизируешь? Именно гиганта. Когда меня приняли, я знаешь, с чего начал? Сел на мотороллер и объехал всю территорию,

все цеха и службы. И знаешь, сколько намоталось? Сто двадцать семь кэмэ! По спидометру. Впечатляет?

Вика вздохнула, сникла в своем мешке.

— А сколько дыма на наши головы трубы твоего гиганта выдувают, ты помнишь?

— Не поддавайся обывательским настроениям. Мы все хотим невинность sobлюсти и капитал приобрести. А так не бывает...

— Я давно не вижу здесь стрекоз, — сказала вдруг Вика. — А наша школьная биологиня часто повторяет нам: «Ребята, увидите стрекозу — станьте перед ней на колени. Ибо она верный индикатор экологического благополучия».

Наступила пауза, лишь бормотала тревожно транзисторная волна. Вика грустно сидела, обняв колени.

— Купаться пойду! — вызывающе сказала она и выбралась из спальника.

— Ночью? Одна?.. Здесь недалеко карьер, экскаваторы, знаешь, каких ям нарыли? Бульк! И я вдовец во цвете лет... И вообще — муж я тебе или не муж? А ну марш в мешок!

Вика прилегла рядом, тихо засмеялась:

— Ой, Лёшенька, когда ты так говоришь: «муж или не муж» — у тебя морда становится глупая, как в самоваре... Ладно, ладно, — торопливо добавила. — Не пойду никуда, — притиснулась к нему всем телом, обняла: — Старый муж, грозный муж...

10

Аварийной бригаде отдано было одно из помещёний административно-хозяйственного отдела. Хозяин его был, по все-му, большим любителем настенной информации и рекламы. Расписание движения транспорта, репертуары гастролирующих коллективов, графики дежурств по горкому и даже плакат по технике безопасности на стройке.

Слесарь Оськин полулежал в расслабленной позе на кресле у стены, вытянув ноги в заляпанных глиной и черноземом бахилах. Вяло пробегал глазами раскрытую в руках газету. Одна рука была перебинтована. За столом с телефонным аппаратом в стиле «ре-

тро» сидел бригадир участка водоснабжения Тютиков, перочинным ножом ел из банки рыбные консервы, жевал всем лицом.

— Ты чего, говорят, оженился? — глянув на уткнувшегося в газету Оськина, спросил он.

— Говорят, говорят... — буркнул Оськин, не прерывая чтения.
— Зря не скажут.

Тютиков прищурился, поджал губу.

— Чего же на свадьбу не позвал?

Оськин захрустел газетой, переворачивая страницы.

— Ты бы, бугор, все равно отказался.

— Это почему же — отказался? — Тютиков даже жевать перестал.

— Так — безалкогольная.

— Вот и брешь! Кошкин-то был? Был. А со свадьбы куда его на «воронке» доставили? Прямоком под душ. Сам бумагу в конторе видал.

— Враньё, — вяло опроверг Оськин. — Не был Кошкин на свадьбе.

— Эхма! Не был!.. — скептически бросил Тютиков и замолчал, сосредоточив всё своё внимание на еде.

Оськин, молодой, укололицый, с длинными волосами, закрывающими уши и лоб до самых бровей, был скуп в словах и движениях, даже как бы нарочито меланхоличен. Расстёгнутая брезентовка надета прямо на майку, по погоде. Над его нечёсаной головой висел плакат: симпатичная белозубая девушка в защитной каске призывала загигать торчащие гвозди.

Тютиков был много старше, потертая келка морщишила кожу лба, придавала плохо пробритому лицу выражение непреходящей озабоченности. Привычкой его было то и дело задирать левый рукав. Создавалось впечатление, что у него непрерывно где-то что-то «горит».

— А молодая жена как? Соответствует? — спросил он.

— Вполне.

Тютиков вздохнул и произнёс философски:

— Жена, брат, это — радикулит: если приобрел, то надолго...

А тёща как?

— Приличная женщина.

Лицо Тютикова ещё больше наморщилось, но сказал он с некоторым даже восхищением:

— А моя Гавриловна — первая змея по Расее!.. Детей заводить думаете?

— Как получится.

— Получится, получится, — заверил Тютиков и заскреб в банке.

— Но не советую.

Оськин выглянул наконец из-за газеты, усмехнулся бригадиру своим узким аскетическим лицом:

— Что, своих надорвался воспитывать?

— Мне ещё и на воспитаньях надрываться? Эхма, куда хватанул. Мое воспитанье простое: как чо не по мне, капризы — по заднице шшолк!.. Ты знаешь, для примера, чо это такое — женские сапоги? Скоро узнаешь... Это, по-культурному сказать, кто с копейки живёт, катастрофия семейного бюджета, — он повернулся к Оськину и с изумлением на лице, будто только что уяснил для себя этот факт, воскликнул: — А жрут! А жрут!

Оськин, спрятавшийся опять за газету, никак не прореагировал.

Распахнулась дверь, вошёл Анохин. Он был в рабочей куртке, в сапогах и защитной каске — видать, прямо с завода. Сказал от порога:

— Здорово, мужики. Как дежурство?

— Сурьёзных сигналов, товарищ Анохин, не поступало, — с готовностью ответил Тютиков.

А Оськин только шевельнулся, поджал под себя длинные ноги, ничем не меняя меланхолического выражения лица.

Анохин прошёл в угол к шкафу с одеждой, стал переодеваться в чистое. Посмотрел на слесаря:

— Что с рукой?

— На дамбе ночью. Об железяку.

— Ты, говорят, на северном участке и раньше бывал?

— Приходилось.

— Ага, ну-ка, ну-ка, — заинтересованно проговорил Анохин,

завязывая галстук, причесываясь, — по порядку только.

Тютиков при этом преобразился — вздёрнул плечами, заглянул под рукав, не удержался — фыркнул:

— Да он слова этого отродясь не знает — «порядок»!

— Его тут, в твоей бригаде, никто не знает, — вяло, пренебрежительно отпарировал парень.

Тютиков вскинулся было, но Анохин жестом осадил его, гася возникающую перебранку, — и к Оськину:

— Так я слушаю.

— Надоело уж рассказывать, — капризно протянул тот и стал бережно трогать перебинтованную ладонь.

— Ну-ну, всё же. Давай. Не ломайся, не гармонист на свадьбе.

Оськина самого подмывало рассказать, о чём спросил его секретарь парткома, но он не хотел, чтобы на него упало подозрение, что он «выслуживается перед начальством». Немного покуражившись и подёргав из бинта ниточек, он сказал:

— В общем, сосед у меня, пенсионер местного значения. Рыбак заядлый. Раз встретились с ним дома, сидим. Ну, посидели, он и говорит...

— Во-во! — опять не выдержал Тютиков, встрял, как бы желая обесценить то, что собирается рассказать слесарь. — Посидели. Сообразили. Вздрогнули! Других интересов нету... Нету, говорю, других интересов!

Оськин мельком кинул по нему взгляд, продолжал:

— Хожу на рыбалку, говорит, мимо Дамбы, откосы сплошь в пене. Ты, мол, там скажи, Дима, начальству. Говённый это признак. Я ему (кивок в сторону бригадира) и говорю: «Съездить бы надо, мало ли...» Так не пустил! «Чё там делать, каку собаку?..»

Тютиков при этом аж заерзал на стуле.

— Нет, ты скажи: почему не пустил? Вот секретарю партийному сейчас прямо и выложь.

— Да отвали ты, — процедил Оськин, отвернувшись к окну. — Я, между прочим, беспартийный.

— Ишь ты, не в губу ему! Видали? — глядя на Анохина, Тютиков часто закивал головой в сторону слесаря. — Нет, видали? Чуть

чево — сразу отвали. Распустился народ. — Теперь он повернулся всем корпусом к Оськину: — Чево глаза-то воротишь от правды? Не твоя она, выходит, правда-то... Вот то-то и оно! — Опять полный разворот в сторону Анохина. — Я перед тем ему и Кошкину, обоим дал летучку с помпой. На компрессорную послал. Кошкин этот, скажу я вам, тоже одного поля ягода (деловито заглянул под рукав). Сёдня на смене ещё и не видать... Они укатили — и с концами. Загудели там в лесочке. Вот именно! Загудели, говорю. А у меня тут колодцы залило, помпы нет, вода, тудыт её, во все дырки хлещёт...

— И всё-таки, Дима, ты же побывал? — прервав Тютикова, Анохин остановился перед слесарем.

— Само собой. Я что, отпираюсь? Через неделю, — подумал, поглядел в потолок, — или две.

— Ну-ну, — поторопил Анохин.

— Не брехал сосед. Он всю жизнь тут протрубил, разбирается, что к чему. Дамба на одной стороне и вправду в пене метров на сто... — немного подумал, глянул в потолок. — Или двести. Сверху уже и не пройти. Вода на две ладони от края... Приехал к бугру... доложил. Мол, это... завал дело. Ну, так и далее.

— А вы, бригадир? — спросил Анохин.

— В оперативный журнал внес. Как положено. Начальнику цеха телефонировал. Куклину.

— Ну-ка дайте, — сказал Анохин.

— Кого?

— Журнал.

— Так он это... — засуетился Тютиков, — в сейфе у меня. Тамока.

— Распорядитесь, пусть доставят, — сдержанно сказал Анохин, с неприязнью глядя на бригадира, на его лицо, которое, как он заметил, живо менялось в зависимости от разговора и в то же время сохраняло поверх всего стойкое выражение озабоченности. Потом направился к выходу, обернулся. — Вы когда последний раз. Куклина видели?

— Я-то? Да это... кажись, ночью на Дамбе. В самом начале авра-

ла. Он на своем «Жигуле» был.

— А позже?

— Позже — нет. Да в таком вавилоне...

Анохин вышел. Дверь захлопнулась.

Тютиков обернулся к Оськину, на глазах преобразившись. Подмигнул ему, как своему единомышленнику, с которым они так ловко только что обвели третьего.

— Чё я тебе говорил! Нет, чё я тебе говорил!.. Ой, как оно засуетилось!.. А признайся, где Кошкин? Куда отправил? За этим самым, от которого, культурно сказать, фиолет на роже? Придёт опять на развезях — уволю!

— Не вышел он сегодня на работу. Ты можешь понять? Заболел, наверное, после вчерашнего аврала.

Тютиков вскипел:

— Не вышел! Заболел! Хворь известная! Начит, опять бумагу жди. Как теперь журнал доставлю, а? Кошкин вчера с им замеры ходил делать...

— Дай машину, я к нему в общагу смотаюсь — и вся проблема, — Оськин усмехнулся. — Но ты же этого не хочешь?

— Не учи, — огрызнулся Тютиков. — Учитель нашёлся... «Заболе-ел!»! На это вы мастера. Не умеете, чтобы культурно, без фиолета... — он встал из-за стола — слегка косолапый, приземистый, — шагнул к шеренге сапог у двери. Из одного, заткнутого портянкой, достал термос с бумажной размочаленной пробкой. — Зря ты, Дима, при начальстве — на своего бригадира. Ой, зря. Память стало отшибать — или как?.. Ничё, жизнь тёрку даст — поумнеешь... — плеснул в кружку, подвинул по столешнице в сторону Оськина. — А чего проще: уважай Тютикова и всегда будешь иметь свою сайку с маслом...

Оськин заёрзал в кресле, зло, как на врага, посмотрел издали на кружку. На длинном лице его отражалась мучительная борьба: послать к чёрту или?.. Тютиков ещё ближе подвинул кружку, сам сел поодаль, заговорил доверительным тоном:

— Слышь, Дима... Да ты не тяни, не то всунется кто ненароком...

Оськин встал, молча и решительно, не притронувшись к кружке — вышел из комнаты. Устоял перед подлой!

11

Кабинет секретаря горкома Каржавина.

Вошел Анохин. Прядь светлых волос прилипла к лбу, но на лице никаких следов бессонной ночи — только несвойственная ему в обычное время хмурость, озабоченность.

— Доставил пропажу. Звать?

Каржавин сразу понял, о ком речь.

— Погоди. Что с ним?

Анохин провел ладонью по вспотевшему лбу, убирая волосы. Сказал со злой досадой:

— Пусть уж сам. Я не могу... Меня уже трясет от одного его вида. А отыскивали гаишники. На въезде в город в шлагбаум врезался, стёкла поколотил. Как ещё сам жив остался...

Каржавин откинулся в кресле, привычно потёр лицо.

— Ладно, зови, разберемся.

Начальника цеха водоснабжения Куклина он лично знал плохо, даже не мог припомнить определенно, как тот выглядит — вроде бы средних лет, полноват. Но когда Куклин вошёл, Каржавин, взглянув только, вспомнил его. Лицо слегка одутловатое, с цепкими маленькими глазами, выпирающий из-под расстегнутого пиджака живот (а ведь сравнительно молод ещё). Кисть забинтована. Костюм — брюки, пиджак, даже рубашка в густых разводах уже подсохшей грязи. И вообще — вид сильно ошарашенного и ещё не пришедшего в себя человека.

Сделал три шага от двери, взглянул исподлобья на хозяина кабинета, стал вяло — больше машинально, чем осознанно — ловить перебинтованными пальцами пуговицу пиджака, застегиваться.

— Садись, — сказал Каржавин, не скрывая своего более чем неприятного удивления. Войти в таком виде в горком — ну и ну... — Что с тобой?

Куклин подошел к длинному вдоль стены столу заседаний, обставленному стульями с высокими прямыми спинками, повернул к

себе крайний, тяжело сел:

— Со мной?.. Со мной-то лично — ничего.

— Ты что, пьян?

— Я не пью.

— А что за вид?

Куклин слабо махнул рукой:

— Э, вид... При чем тут вид...

Отвечал он рассеянно, как человек, который плохо слышит других, потому что его в эти минуты гнетёт какая-то тяжкая мысль или забота.

Анохин, отошедший в это время к окну и хмуро взиравший оттуда на Куклина, поторопил его:

— Ты рассказывай, рассказывай!

Тот сжал виски руками, качнулся, проговорил тихо:

— Труд столько лет. Все отпуска, выходные... И в одну ночь — всё прахом...

Каржавин вдруг насторожился.

— Ты о чём?

— Если бы кто видел эту картину, — бормотал Куклин. — Только в кошмарном сне... Всё заломано, замыто, загажено. Пустыня. Сточная яма в пустыне! — он выпрямился на стуле, быстро, нервно понюхал рукав, отворот пиджака. — А запах... Вонюца! Я угорел. Голова, как чурка... Можно воды?

В углу стояла тумбочка с бутылками минеральной. Анохин налил стакан, молча поставил перед Куклиным. Тот жадно, не отрываясь, выпил.

— Земля смыва. Подчистую. А я её багажником... за пятнадцать километров... — рукой в грязном бинте, не выпуская пустого стакана, провёл по глазам. — Собака залябнула в будке. Наказывал жену: отвязывай на ночь. Так нет — «укусит ещё кого». А кого ночью кусать? Бича?.. Да собака — что... Дом!.. Окна, веранда — всё выхлестнуто. Наквозь! Грязь шламовая — по колено. По всему этажу... — Вспомнил о платке, полез в карман брюк.

Каржавин:

— Что-то, Павел Иванович, я тебя не узнаю! Ты что, на Дамбе

вовсе не был?

Тот тупо и удручённо смотрел на мокрый и грязный платок в руке, не решаясь, должно быть, поднести его к лицу.

— Да был он! — опять не выдержал Анохин. — Бегал там, сустился. Пока слух не прошёл, что дачи залило. После этого его как корова языком...

— Что? — переспросил Каржавин. — Сбежал?

Куклин, видимо, нашёл всё-таки в платке сухой уголочек, приложил к носу, сказал:

— Когда я приехал... работы шли вовсю. Руководил главный инженер. И мое присутствие ничего не меняло...

— Присутствие? — перебил Каржавин. — Да, присутствие, возможно, не меняло. Но мы — об участии... Аварийная команда не могла найти планов, чертежей гидроотвала, паспорта Дамбы. Где, чёрт возьми, это всё у вас там похоронено?

— Мне такой документации никто не передавал...

— А сам ты, конечно, не поинтересовался.

Куклин промолчал. Приподняв перевязанную руку, стал затягивать, помогая зубами, ослабевший бинт.

— Ну ладно, — сказал Каржавин. — Достаточно. Мы ещё вернёмся к этому.

Куклин медленно пошёл к выходу. Заскорузлые от грязи брючины терлись одна о другую с картонным звуком... А ведь он сейчас по-настоящему несчастен, подумал вдруг Каржавин, глядя ему в спину, и что-то вроде сочувствия, лёгкой жалости к этому человеку шевельнулось в его груди.

Не дойдя до двери трёх шагов, Куклин нерешительно остановился. Какое-то внутреннее душевное колебание. А может, даже борьба. Мучительная переоценка ценностей. Никому ведь не дано познать до конца даже самого себя. Он обернулся.

— Меня там многие спрашивали... Дачи, сады... Должно же будет государство... возместить?..

Каржавин почувствовал, как в груди, в том самом месте, где только что затеплился огонек жалости, стало подыматься что-то тёмное, неуправляемое, подступило к горлу.

— О других не знаю... Что же касается тебя, то вот что!.. — вероятно, в лице его и в голосе проявилось нечто такое, что не на шутку встревожило Анохина. Каржавин перехватил его обеспокоенный взгляд и, совершив над собой усилие, закончил: — Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы ущерб твой лично — не возмещался. Возьму грех на душу! Уходи же наконец! А то тут всё... провоняло...

Каржавин встал, прошёл вдоль стены — туда и обратно, то потирая руки, то забрасывая их за спину. Давно такого с ним не было, едва не сорвался, не заорал в бабьей истерике... Нервы... Ещё эта подлая ночь... Он остановился у тумбочки с водой, стал, срываясь ключом, открывать бутылку.

Анохин следил за ним сосредоточенным взглядом.

— Удивительно! — Каржавин шумно, со звяком, налил минералки, выпил. — Я же отлично вспомнил первую с ним встречу. Как образно тогда он обрисовал свое хозяйство. Сказал примерно так: «Всё, что видите на поверхности завода, — лес труб, джунгли коммуникаций, — опрокиньте мысленно вниз, под землю. Это и будет цех водоснабжения...» А? Здорово?.. Но ведь тут сейчас был не он... В какие закоулки души прячется всё то, что выплеснулось вдруг?.. Судя по возрасту, он родился после войны. Наверняка трудное детство — лишения, голодуха. А ведь собственные страдания обостряют боль чужой беды. Должны обострять!.. Чего, спрашиваю, молчишь, секретарь парткома?

— Но он на самом деле, когда на производстве — энергичный, знающий, — сказал Анохин.

— Да-да, вероятно, — Каржавин поставил стакан на место, снова пошел вдоль стены. — Пригласил я его в машину, заговорили о том о сем, о заводских неполадках. Знаете, говорит, что самое трудное в нашем техническом деле? В жизни не догадаетесь! Определить истинную причину аварии. Каждый хитрит, темнит, выгораживается. Ищет или других виновных, или «объективные обстоятельства»... Что же он, выходит, — простака человек, самого себя вычислял? Или я уже ни хрена не стал понимать в людях!

— Одно время его даже в главные инженеры сватали, — про-

говорил Анохин. — Но тут Ротов вывернулся. И между ними с тех пор — узелок. Помню, на совещании Ротов выступил. И, как всегда, чем-то зацепил Куклина. По мелочи. Дела-то у того неплохо шли. Куклин встаёт и — представляешь? — на весь зал: «Глеб Александрыч! Когда у человека случится мелкий непорядок в костюме... ну, скажем, расстегнется, извините, ширинка. Ему же об этом не кричат через улицу. А ему деликатно, на ухо: «Застегни ширинку...» Верись — в зале от хохота потолок посыпался. А Ротов на трибуне — аж сторел!.. Реплика эта в наш заводской фольклор вошла... Он далеко не простачок.

— Может, зря я его этак-то, — засомневался Каржавин.

Анохин — с усмешкой:

— Наш наставник — помнишь? — любил повторять: чтобы человек прочувствовал, надо его долбануть малость сильнее, чем он того заслуживает.

— Разве? Что-то не помню... — Каржавин сел в кресло, вздохнул. — Ладно, езжай. Сегодня сам побываю на Дамбе. Жди, подъеду.

12

Далеко обогнав выброс, винтокрылая машина делала над тайгой широкий вираж, снова выходила на реку и шла уже навстречу ядовитому потоку.

Туман, сгущаясь с восходом солнца, то уползал на прибрежные склоны, и тогда Река открывалась вся, с лодочками островов и желтизной отмелей, с белыми пирамидками навигационных знаков, то молочной пеленой заволакивал пойму. И тогда Печорин, ругнувшись, начинал потягивать ручку на себя. Стрелка высотомера ползла вверх — триста, четыреста...

Горная цепь на востоке темнела в контражуре солнца зубчатыми изломами. С северо-востока, ещё дальше горной цепи, километрах в сорока, вспухали гейзеры облаков, наливаясь понизу тяжёлой чернотой. Изредка в этой черноте вспыхивали искры: там, без сомнения, формировался новый грозовой фронт.

Река на верхних километрах, где выброс проходил в самые

ранние часы, оказалась, к удивлению, малолюдной. Это было в какой-то мере объяснимо. Горная тайга здесь, распластавшись по крутым, обрубистым берегам, не давала подхода к воде автотранспорту. По самой Реке движение тоже практически замерло; даже у маломерных лодок на обмелевших перекатах «летели» винты. Пилоты успели заметить два-три туристских бревенчатых плота, застрявших в камнях и брошенных экипажами.

Когда случался разрыв в тумане-ползуне, летчики снижались и тщательно просматривали берега.

На полянке, среди прибрежных пихт, заметили лагерь из пяти палаток, довольно обжитой, с натоптанными тропами. Дымилась печь, кто-то копошился рядом. Предположили — изыскатели. Возможно, радиосвязи не имеют. Бросили им вымпел: чурбачок с длинным хвостом ленты и привязанной к нему предупредительной запиской.

Увидели одинокую палатку, две резиновые лодки. Никто не высунулся — спалось, должно быть, крепко. Пошли дальше. На перекате по колено в воде стоял рыбак с удочкой, на косе рядом дымился костерок. Полетел вниз, на косу, вымпел.

— Проследи, — сказал Печорин второму пилоту.

Тот откинул дверцу и круто вывернул шею:

— Порядок, бредёт к косе.

В узкой, укрытой зарослями и затуманенной заводи двое, прозрачные, как лешие, тащили бредень, третий шёл с ведёрком по берегу. Услышав низко летящий прямо на них вертолёт, все трое замерли, раскорячившись.

— Хоть и браконьеры, но, в принципе, люди, — усмехнулся Печорин. — Кидай!

Снова закувыркался самодельный вымпел, трепеща красным хвостиком.

— Эх, по башке бы одному, — мечтательно произнес второй пилот, задвигая дверцу.

— Почему одному? — серьезно спросил Печорин.

— Так один же чурбак!

— Понятно.

Целый рюкзак этих чурбачков и кусок полотнища от старого лозунга неожиданно притащил им к машине перед самым взлетом командир авиаотряда. Где они ему подвернулись, такие круглые да гладкие, — разбираться было некогда. Зато бортмеханику теперь было занятие: рвать полотнища на ленты и приматывать шпагатом к чурбачкам. А то летает почти что пассажиром — непорядок...

— Сейчас за поворотом Ивановка, — сказал второй пилот, взглянув на раскрытый на коленях планшет.

— Интересно, есть ли Бог? — спросил Печорин.

— По-моему, нету. — Второй покосился на стрелку высотомера: высота была на нижнем пределе.

— Ты думаешь? А вот проверим.

Туман по створу полёта почти исчез, отдельные клочья уползали в распадковые заросли. Тайга по берегу поредела, потом и вовсе сошла на нет. Зачернели домики посёлка — без дворов, без зелени под окнами, — разбрелись по разъезженному вдоль и поперек тракторными гусеницами косоугору.

Только перескочили Ивановку, почти сразу на широкой, веселой от простора луговине лагерь: побелённые павильончики, спортивные площадки, мачта без флага, сгрудившиеся ближе к берегу хозяйственные постройки.

Тумана не было ни над луговиной, ни дальше, где на таёжных прогалинах яркой зеленью цвели травы.

— Ну вот, Саша, — подытожил укоризненно Печорин, — а ты утверждал: Бога нет. — Он до последней минуты боялся, что лагерь будет закрыт туманом, а они в отношении его имели категорический приказ: оповестить!

Лагерь дружно спал, ни одна труба над хозпостройками не дымилась.

И тут пискнула радиостанция, на связь вышел диспетчер авиаотряда, передал: будет говорить секретарь горкома.

— Где находитесь? — спросил Каржавин.

— Как раз над Ивановкой.

— Видимость?

— Сейчас терпимая.

— Оповестили?

— Нацеливаемся вот, грохочем во все лопатки. Спят ещё, как сурки.

— Как ведёт себя выброс?

— Держится в основном левого берега, будто намагниченный. Над горами с востока — грозовой фронт, как бы сюда не двинулся.

— Именно по левому начнутся турбазы, будьте внимательны.

— Есть, учтем! Юрий Иванович!.. — Не договорив, потому что разворот кончился, Печорин выровнял машину и повёл её совсем низко, над самыми крышами белых павильончиков.

— Командир, плохо вас слышу... — голос секретаря горкома в наушниках истончился и пропал.

— Бросай! — скомандовал второму пилоту Печорин, краем глаза увидев, как от грохота вертолѐта из дверей и даже кое-где из окон стали выбегать, выпрыгивать ребятишки. Показались и взрослые. Крикнул — и тут же взял ручку на себя, набирая резко высоту. Скоро голос Каржавина снова стал слышен.

— Юрий Иванович, — повторил Печорин, — нужно бы на борт громкоговоритель. А то никаких чурбачков не хватит.

— Не понял.

— Простите, это я так. Мегафон, говорю, нужен, а то чёрт знает что получается.

— В авиаотряде есть?

— Нету. Но я вам подскажу, где есть наверняка. Вертолѐт областной ГАИ этим матюгальником оборудован.

— Добро, командир. Ухожу со связи.

13

Бабушкина, плывшего на подмытой с корнем пихте, вынесло в Реку и, покружив немного, бережно приткнуло к первой же отмели. Ослабевшими, ватными ногами он по мелководью выбрал к берегу, опустился на гальку. Потом лег на спину, лишѐнный сил — и физических, и душевных. Пелена тумана над ним то густела, то становилась прозрачной, сквозь неё проступали бледно-голубые, праздничные пятна дня.

Стоило ему чуть смежить глаза — мир вокруг начинал тихую тошнотворную карусель. Видение бушующей стихии, а с ним и ощущение её тупой, равнодушной силы, против которой он, Бабушкин, муравей, ничто, беспомощная козявка, охватывали его, кидали в нервную, обессиливающую дрожь.

Лишь сейчас, когда лежал он всем телом, от пяток до затылка, на земной надёжной тверди, стало до него доходить, как тонка, в сущности, ниточка жизни. «А ведь это всего-навсего ручей, не более», — думал он потрясённо.

Кое-как выкрутив мокрые брюки, рубашку, он снова оделся и в одних носках зашагал через тальниковые кусты на дорогу. До пионерлагеря, он помнил, оставалось тут километра четыре. Дорога пошла на подъем. По мере того как он подымался по ней, туман вокруг истаявал, пропадал. Вскоре он вышел на чистую луговину, где со стороны горного склона подступал хвойный лес, а по другую была Река. Сквозь редкие заросли березняков просвечивали белёные постройки пионерлагеря.

Бабушкин от неожиданности замер. Над лагерем, рокоча мотором, кружил вертолёт, и когда он оказывался против низкого — на самом восходе — солнца, хвостовой винт его превращался в сплошной матово-белый диск...

14

Вика открыла глаза. Палатку заливал оранжевый свет. Через минуту померк, но вскоре снова вспыхнул — ярко, ослепительно, словно поблизости то разгорался, то притухал гигантский пожар. Она в предвкушении чего-то необыкновенного, какой-то нечаянной радости раздёрнула на входе «молнию».

Картина, открывшаяся ей, привела её в состояние тихого восторга. Над чуть дрожащей гладью плёса кувырчался туман. Сквозь живую толщу его, прозрачно-розоватую по краям, яростно прорывалось раскалённое ядро солнца. Оно-то время от времени и било всплесками света в оранжевый полог, наполняя палатку трепетным сиянием волшебного фонаря.

— Ой, Лёшенька, утро-то какое! — проговорила она, оглядывая

шевелиющиеся на воде облака, тяжёлые от влаги кусты черёмушника, матово сверкающий в росе галечник. — Капли на паутине, как бусинки... Того берега и не видать. Вода дымится, как чай. Пошли искупаемся, пока никого. А то скоро эти противные моторки зашмыгают, загрохочут... А?.. Ну, не хочешь — как хочешь.

Вика нашла в рюкзаке полотенце и, голенькая, выскользнула из спального мешка.

Сырая галька, обжегшая подошвы холодом, мягко хрустела, вдавливаясь в песок. Она спустилась к самой кромке воды. Кинула у ног полотенце. От свежести речного воздуха тело обнялось гусиной кожей.

...Золотой сон детства. Телесная радость первого прикосновения — к морозному узору окна, солнечному лучу, тёплому шарiku одуванчика. Вика прижала к груди скрещённые руки, шагнула в воду. Серебром брызнула из-под ног стайка мальков. Забредя по пояс, боязливо-радостно охнула и поплыла — навстречу летящему сквозь редяющий туман раскалённому ядру...

15

Зоя вступила в кабинет тихо, вкрадчиво — обе тамбурные двери не издали звука. Каржавин заканчивал телефонный разговор, глядя в окно, и когда повернулся, Зоя замедленными шажками уже шла по ковровой дорожке. Вельветовые серые брючки, небрежно обвисающий серебристо-серый блузон, на ногах побитые «адида-сы». Через плечо мятая в гармошку сумочка. Симпатичная стройная девочка, одетая скромно, даже чуть аскетично. Ничем, пожалуй, не отличимая от **своих** сверстниц.

— Зойка? — Каржавин поднял брови. — Могла бы и позвонить...

Дочь его впервые пришла к нему сюда, в горком.

Зоя окинула взглядом деловую кабинетную обстановку, держалась на блестящем, никелированном пульте переговорного устройства. Усмехнулась уголком губ:

— А что? Это обязательно?

Каржавин поднялся навстречу.

— Просто могла не застать, — он всмотрелся в её лицо: глаза насторожённые, и вокруг глаз тени. Не косметические, а настоящие, от переутомления, конечно, нелегко в девчонку идут науки. Кольнула жалость. Спросил: — Что с тобой? Что-то случилось? — И уже шутливо: — Сессию, небось, завалила?

Зоя — скупое, сдержанное:

— С сессией в порядке.

— Давно из дому? Как мама?

Зоя остановилась поодаль.

— Из дому давно. С самого утра. Мама ночь не спала, а ты не звякнешь даже.

Каржавин охотно покивал, принимая этот упрек.

— ЧП у нас серьёзное. Ты, конечно, знаешь. Весь город уже знает. И все мы тут вроде мобилизованных... Да ты что как бедная просительница? Проходи садись, садись, — он выдвинул одно из кресел. — Молодец, что зашла. Сейчас чаю попрошу, попьём вместе. Когда уже вместе не пили!.. — сам подсел рядом, наклонился к ней. — Вид мне твой, подружка, не глянется. Мама не спит, переживает — понятно, на то она и мама. А у тебя что, тоже бессонница? Или много зубрить приходится?

Дочь подняла на отца по-прежнему насторожённый, даже строгий взгляд. Взгляд этот озадачил Каржавина.

— Папа, — сказала она, — Андрей исчез.

Каржавин поколебался.

— Какой Андрей? — и тут же по её лицу понял: допустил оплошку. — А-а... — протянул он, — такой бровастый и продолговатый. Помню хорошо. Знакомились... Так что с ним? Исчез, говоришь?

— Ты всё перепутал, — сказала Зоя. — Бровастый — это Игорь, бывший одноклассник. Он полгода как в армии. А это Андрей. Мы с ним как-то шли, а ты проезжал на своей «Волге». Увидел нас и предложил подбросить. А Андрей отказался.

— Теперь вспомнил! — Каржавин засмеялся оттого, что сумел действительно вспомнить этот мимолётный эпизод. — Гордый такой. Вихры дыбом. Заикается. Верно ведь?

— Да, гордый. Да, заикается, хоть и совсем немного, — вызывающе подтвердила Зоя. — Но разве сейчас это важно? Он исчез. Пропал. Его нигде нету, я везде обегала.

— Ты не волнуйся, ты же у нас тоже гордая... Давно исчез-то?

— Вчера вечером.

Ответом этим дочь слегка расстроила Каржавина. Мне бы твои заботы, подумал он.

Вошла секретарша, вся в светлом, лёгком, и показалась Зое моложе, чем в приёмной и до неприятного привлекательной. Несла на маленьком подносе два стакана с чаем, накрытые салфеткой, и две вазочки — с сахаром и печеньем. Поставив поднос, сказала уходя:

— Возьмите трубку, речная инспекция.

Тот взял, сказал «слушаю» и тут же оглянулся на карту, переспросил:

— Прошёл Златогорку? Хорошо. Что говорят посты?.. Ещё ничего?.. Понятно, — повернулся к дочери: — Так, говоришь, вчера? И уже такая паника?

— Но это очень серьёзно. Как ты не можешь понять? — Зоин голос дрогнул. — Звонила его сестрёнка. Он не пришёл ночевать.

— Да, действительно, — Каржавин подавил шевельнувшееся было раздражение. — А не мог он... Андрей, говоришь? Не мог парень заночевать где-нибудь? У друга, например. Мне лично в студенческие времена частенько...

— Не мог! — отрезала Зоя.

«Гляди ты!» — неприятно удивился этой убежденности Каржавин, а вслух:

— Откуда такая завидная уверенность?

Тут снова зазуммерил один из аппаратов, и Каржавин привычно потянул к нему руку.

— Папа! — с тихим отчаянием, исказившим её губы, проговорила вдруг Зоя. — Ты можешь хотя бы на две минуты оставить в покое эти идиотские телефоны?!

Каржавин с удивлением посмотрел на дочь: в её глазах блески слезы! Он вернул трубку на аппарат, нажал клавишу пере-

говорника.

— Рая, со мной никого не соединять.

Вышел из-за стола, подсел к дочери. Та отвернулась.

— Извини, — вздохнул он. — У нас в самом деле ЧП... Я слушаю.

Зоя помолчала, успокаиваясь. Каржавин ждал, смотрел на полудетский мягкий профиль дочери, на обвисающий, казавшийся ему мешковатым блузон, скрывавший малоразвитую ещё грудь, и какая-то неосознаваемая пока тревога за неё царапнула сердце.

— Когда поднялся ветер... гроза, Андрей сказал, что ему надо слетать на завод, срочно. Там у него лаборатория... Привязать её надо, что ли... закрепить. Она на каких-то трубах плавает...

— Плавает? — не понял Каржавин.

— По озеру. Ага... Рица они его называют... Для смеха, наверно. У Андрея дипломная работа... Я, честно, в этом мало что смыслю.

— А кто он?

— Инженер, химик. Будущий, конечно.

Каржавин встал.

— Погоди-ка, — шагнул к пульту. — Рая, мне диспетчера завода, — в наступившую паузу оглянулся, пытливо посмотрел на дочь. — Так, говоришь, Рица?.. Но-но... — и уже в трубку: — Диспетчерская? Прошу выяснить, что за лаборатория стояла на заводском гидроотвале... На понтонах, вероятно. И что с ней теперь? Я жду, — вернулся к дочери, показал на чай. — Пей, а то стынет, — сам взял стакан, отхлебнул глоток. — Много осталось сдавать?

— Не очень, — сказала Зоя, не притрагиваясь к чаю.

— Что значит не очень? Один, два?

— Один.

— В стройотряд записалась?

— Попробуй не запишись.

Каржавин усмехнулся, позвенел ложечкой в стакане. Чего бы ещё такого спросить — нейтрального, отвлекающего?

— Стипендию-то сберегаешь?

— Складываю.

— Умница, — похвалил Каржавин. — И в стройотряде работаешь. Я, конечно, добавлю сколько нужно будет, но основа

чтобы была твоя, кровная... — Раздался звонок, он встал, быстро взял трубку. — Так... Понятно. Сведения точные? Смотрите мне! И главный инженер подтверждает?.. Хорошо, — вернулся за столик с чаем. — На заводе одно лишь «озеро» — гидроотвал, — сказал он. — Это, да будет тебе известно, стоки всех промышленных отходов. Угрюмая клоака, никакой лаборатории там близко нету.

— Нету?..

— И сроду не было. Твой Андрей, по всему, великий фантазёр. Или примитивный, но с большим юмором конспиратор.

— Неправда это... — прошептала Зоя.

Каржавин отставил стакан, прошёл по дорожке до двери и обратно, остановился, руки за спину. Сказал жёстко, иронично, как он это умел в минуту, когда чувствовал, что аргументы его уже отработали своё, а собеседник, подчиненный, просто упрям:

— Может, нам с тобой, подружка, лучше медвытрезвители обзвонить?..

Секретарша — в переговорник:

— К вам Перепёлкина.

— Приглашай! — Каржавин взглянул на дочь, развёл руками. — Извини, но мне, сама видишь, ужасно некогда, — он указал в сторону узкой и малозаметной двери позади себя. — Там моя комната отдыха. Пройди, пожалуйста, в неё. Посиди пока, успокойся, чаю выпей... — Взял со столика поднос, протянул Зое.

На лице дочери проступила такая озлобленность, какой Каржавин никогда у неё не видел. Она вскочила с кресла.

— Да не надо мне твоего чаю, господи! — и так пихнула протянутый ей поднос, что с него полилось и посыпалось. — Врёте вы всё! И диспетчеры ваши врут! — Прижав ладонь ко рту, пробежала к комнатной двери, с гулким стуком скрылась за ней.

Каржавин был обескуражен, раздосадован. Несколько капель пролилось на костюм. Он машинально стряхнул. Потом — делать нечего! — наклонился, стал подбирать с ковра кусочки сахара, печенье, ложечку.

Вошла главврач санэпидслужбы Перепёлкина.

— Что опять стряслось? — спросил хмуро Каржавин, стоя по-

среди кабинета в нелепой, растерянной позе, с залитым подносом в руках. Но как он ни был обескуражен возмутительной выходкой дочери, он сумел все же заметить: сама Перепёлкина взволнована. Сумочку на длинном ремешке нервно комкали пальцы с розовым маникюром.

Перепёлкина сделала несколько шагов, остановилась.

— Ой, Юрий Иванович, кажется, беда.

— Присядьте, — подсказал Каржавин, ища глазами, куда бы сунуть чёртов поднос. — Что ещё за беда?

— Не знаю, как и сказать. Но обязана поставить в известность... — Перепёлкина послушно села — бочком на ближайший к ней стул, но тут же встала.

— Не тяните, говорите как есть... Да садьте вы наконец!

Перепёлкина села:

— Дело в том, что потоком с гидроотвала залило хозяйство пригородного свиного комплекса...

— Знаю, — перебил Каржавин, сунул наконец поднос за штору окна, вернулся к столу.

— Ой, вы не всё знаете, — тихо, панически воскликнула Перепёлкина. — Залило пруд, переполнило, и часть воды выплеснулась в Реку. ...

— Так. И что?

— Очистные весной не справлялись с нагрузкой. И они часть стоков спустили в пруд.

— Ну и что? Что? — Каржавин начал уже терять терпение. Эта женщина с аккуратным маникюром на худых длинных пальцах и блёклой на губах краской вызвала в нем лёгкое раздражение — тем, что ходит вокруг да около, что ли?

— Май стоял жаркий, в пруду была обнаружена лептоспира... возбудитель опасного заболевания... смертельно опасного, — сказала она.

Каржавин на секунду прикрыл глаза.

— Куда смотрела ваша служба?!

— Мы не смотрели! Мы ещё в марте дали предписание приостановить комплекс.

— Дали предписание! Но там же десятки тысяч голов. Как вы себе представляли — «приостановить»? А?.. Как, спрашиваю? Не поить, не кормить, что ли?

Перепёлкина молчала.

— «Приостановить»... «закрыть», — повторил Каржавин — только это и знаете. Других мер нету. Что теперь?

— Есть угроза эпидемии.

— Это я уже сам понял. Реальность — большая?

Та полезла в сумочку за платком.

— Кто контактировал в Реке с... загрязнённой водой, надо на месте госпитализировать, изолировать... Ну, до выяснения... — пробормотала она.

Каржавин даже привстал.

— Да вы сознаёте хоть, что говорите?

— Мы взяли несколько проб из Реки, пока чистые... — заторопилась санврач, справившись в конце концов с растерянностью, выбивавшую её из колеи. — Пробы чистые, без особенностей. Но этого мало. Выплеск-то был. Брать надо постоянно, по всему ходу волны.

— Так и берите!

— Мы стараемся. Все на ногах. По Реке создаём карантины. Но нашей лаборатории нужен катер с мелкой посадкой... Глиссер. Хорошо бы с радиостанцией.

— Катера есть у гидрогеологов, у лесобазы. Рацию в геологоуправлении попросите.

— Юрий Иванович, — Перепёлкина посмотрела на него умоляющими глазами, — нужна команда сверху. Так не дадут.

— Анна Сергеевна, — проговорил Каржавин сдержанно-укоризненно, — какая команда, с какого верху?

— Понимаете...

— Не понимаю! Вы член штаба, у вас права. Пользуйтесь ими, действуйте, а не хнычьте! И установите определенно — да или нет, — он замолчал, с силой провёл ладонью по глазам, добавил: — Предупреждаю: пропустите... провороните... мы вас под суд отдадим! Вместе с дирекцией комплекса.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Перепёлкина медленно пошла к выходу. Едва за ней закрылась дверь, из комнаты позади Каржавина быстро вышла Зоя.

— Папа, я тебя никогда ни о чём не просила, — сказала она умоляюще, прижимая к груди сжатые в кулачки руки. — Первый раз пришла к тебе. Больше мне идти некуда. С Андреем несчастье. Я чувствую. Не мог он так вот, не позвонив домой. Понимашь?.. Тебе неправду сказали. Он больше полугода ездит в эту лабораторию. Он мне рассказывал. Как собирал по кусочкам...

Вспомнив гримасу озлобленности на её лице, поразившую его, Каржавин взял дочь за плечи и вполубоимку повёл назад в комнату. Силой усадил на кушетку, пружины пискнули.

— Ну вот что, подружка... Я знал, вернее, догадывался про твои... увлечения. Но не знал, что ты с ними стала истеричкой... Откуда в тебе? — крикнул он, не сдержавшись. — Что ты себе тут позволяешь?!

Зоя вся напряглась, оцетинилась:

— А что ты вообще про меня знал? И знаешь? — взгляд её снизу вверх стал презрительно-вызывающим, насмешлив. — Про нас с мамой... Что?!

— Всё. Что следует знать человеку о своей семье, — отрезал Каржавин.

— А что — следует?! — крикнула Зоя.

— Ты чего орёшь?

— А ты чего орёшь?!

«Что это с нами?» — мелькнуло у Каржавина. С тяжёлым чувством он отошёл к окну, обернулся на дочь. Она уже сидела, откинувшись на спинку, в небрежной позе, нога на ногу — перемена в ней происходила на глазах, мгновенно. Он постарался сказать тихо, убеждённо:

— Не хочу слов, но если бы вас с мамой у меня не было... мне было бы очень плохо. Поверь.

— Ха! — вскинулась Зоя. — А вот если бы тебя у нас не было, нам с мамой было бы всё равно!

— Ты серьезно?

— Вполне!

— Ну, дочь, ну, спасибо...

Каржавин с минуту смотрел в окно. Эту неожиданную обиду он скрыть не мог. Девчонка развинтилась, точно... «Нам с мамой»... Вот они, плоды материнского либерализма...

Зоя на кушетке за его спиной завопилась вдруг, завздыхала. Сказала сникшим голосом:

— Дура я набитая. Идиотка. Ненавижу себя. Прости...

Каржавин — сухо:

— Сейчас я вызову машину, отправишься домой. У тебя же сессия. Тебе отдохнуть надо. Смотри, на кого ты стала похожа. Глаза, как в яме.

Зоя — в ответ:

— Я ушла из института!

Каржавин обернулся. Он сразу поверил. В эти минуты он поверил бы чему угодно.

— Та-ак. Уже забавно. И давно?

— Не имеет значения. Порядочно.

— И мать не догадывается?

— Мама-то догадывается...

«Либерализм, либерализм... Далеко, однако, зашел. Где же она время проводит?» Спросил холодно:

— Чем собираешься заняться? Если не секрет, конечно.

Дочь, склонившись, угрюмо молчала, тщательно изучая носки своих плотно сдвинутых «адидасов». Эта её манера была Каржавину, слава богу, хорошо знакома и сейчас, как ни странно, даже вроде успокаивала. Он покачал головой:

— Знаешь, подружка, мы с мамой в твои годы...

Зою на диванных подушках аж подбросило:

— Знаю! Полком командовали! Надоело! И не зови меня подружкой!.. — Она обернулась к нему снова умоляюще прижала к груди руки. — Прости тебя, запроси ещё раз. Это какая-то ужасная ошибка. Они там всё перепутали.

Ее упрямство переходило уже, кажется, всякие границы. Но сейчас не время и — главное — не место заниматься терпеливым

исправлением её характера.

— Не ставь меня в глупое положение, — сказал он. — Дважды одного и того же вопроса я не задаю. Все знают.

Зоя заплакала:

— Умоляю тебя, измени своему правилу. Ради меня. С Андреем беда. Употребил всю свою власть — у тебя же её здесь больше всех! Я для тебя всё сделаю... В институт вернусь...

Каржавин направился к двери.

— Мне надо идти, — сказал он холодно. — Работа.

Уже вслед ему Зоя крикнула:

— Ну хочешь?.. Хочешь, я на колени перед тобой встану?.. Твоя гордая дочь!..

У порога он всё же оглянулся. Зоя действительно стояла на коленях. Тонкие руки в складчатых, вздернутых рукавах блузона висели, как пощипанные крылья.

По лицу текли молчаливые слёзы, она их даже не вытирала.

— Без Андрея мне не жить, — прошептала она.

Каржавину в мгновение вспомнился эпизод детства. Они с матерью едут к отцу в отдаленный гарнизон. Морозный вечер, степь. Они стоят на обочине, голосуют редким машинам. Ни одна не тормозит. Если их никто не подберёт, им просто околевать здесь, в этой пустыне. Но вдали ещё фары. Последние? И тут мать опускается на колени, заставляет и сына. Он упрямится. Мать сперва зло дёргает его за рукав, потом умоляет. И вот они — коленками в снег и оба плачут. Мать — от последней надежды на человеческую порядочность, а сын — от унижения (на груди у него под ватной фуфаячкой — пионерский галстук...)

И водитель, узрев посреди дороги две коленопреклонённые фигурки, дрогнул, притормозил...

Но тогда речь шла о жизни. О жизни двух! А тут-то чего?..

— Проживешь, — сказал он. — И в институт вернёшься. Как миленькая. Я за тебя возьмусь. Встань немедленно, дрянь такая! Умывальник — там! Приведи себя в человеческий вид... Машина будет ждать внизу.

Он взялся за ручку двери. И тогда Зоя, не поднимаясь с колен,

в отчаянии:

— У меня ребенок будет, ты понимаешь?!

16

— А вот и первый любитель раннего купания, — сказал Печорин.

Они снова летели вверх по течению, навстречу выбросу, который, по их расчетам, должны были встретить с минуты на минуту.

Было около шести. Солнце приподнялось уже настолько, что тень от высокого правобережья, укорачиваясь, открывала высветленную воду Реки местами до середины, а где и всю. Только что под ними проплыл остров, широкие галечные берега его были изрисованы вензелями следов трелёвочных тракторов. Кустарник посреди острова щетинился холмом молевого леса, замытого сюда полкой водой, и трелёвочники, спихнув в Реку крайние брёвна, ушли, бросив остальное до следующего половодья.

Выше острова тянулся многокилометровый плёс. Он был глубок. Глубину его подчеркивал цвет — густо-зелёный, отстоявшийся; лишь у самой кромки берегов, где просвечивали донные камни, — с кирпично-красным оттенком.

Посреди этого-то могучего плёса и бултыхался, пуская вокруг себя по зеркальной глади круглые морщинки волн, одиночный пловец.

Они прошли над ним метрах в двухстах, на большой скорости, и пловец, запрокинув голову, помахал им вслед.

— Общительный товарищ, — усмехнулся второй пилот Саша, оторвав взгляд от окна, и к командиру: — Оставим на потом?

Печорин хмуро показал вперёд. Плёс заканчивался, и вода, втекающая в него широким перекатом, стала стремительно, на глазах, из зеленовато-густой превращаться в серую и радужную до черноты, угрюмую.

Это шёл выброс. Голову его уже довольно сильно размыло, разжижило (что довольно отчётливо виделось с высоты), но основная масса продолжала нагло тяготеть к струям левого берега.

Разогнавшись на перекате, тяжёлые взвеси, клубясь, поднима-

лись ото дна — грязно-дымчатые, радужные, игривые, — вторгались в тихую воду плёса, и плёс зловещё мрачнел, точно на него наплывало тенью грозное облако.

Пролетев немного ещё, до широкой части поймы, Печорин плавно развернул машину, вывел опять на Реку, пригасил скорость. Когда они — теперь уже с другого конца — «подкрались» к плёсу, тень выброса щедро расползлась по его глянцево́й поверхности. Пловец, ни о чём, должно быть, не догадываясь, продолжал держать середину.

На этот раз они прогромыхали над ним совсем низко, тот обеспокоенно завертел головой, тут же повернул к берегу. В зарослях черемушника и тальника лётчики только сейчас заметили палатку.

— Как думаешь, успеет? — проговорил Печорин, готовясь пойти на разворот.

— Навряд, — пробормотал Саша, следя за пловцом и неожиданно оживился: — Командир, лопни мои глаза, если это не девушка!

Вертолёт, очертив крутой вираж, завис над плёсом.

— Девушка? Помаячь ей, чтобы держалась к правому. К своему ей явно поздно, — приказал Печорин.

Саша откатил дверцу, стал энергичными жестами показывать плывущей — к правому, к правому давай, к левому нельзя! Но та, явно не понимая и, должно быть, уже по-настоящему испугавшись странного поведения вертолёта, изо всех сил замолотила руками и ногами, торопясь к своему берегу.

— Вот дура, — разочарованно констатировал Саша. — Что будем делать, командир?

— Готовьте трап!

Механик скатился по ступенькам в грузоотсек, отстегнул дверную защёлку. Подтащил скрученный в рулон верёвочный трап. Закрепив конец, катнул рулон в двери грузоотсека.

Грохочущая машина с болтающимся хвостом трапа зависла метрах в десяти над водой, стала скользить боком, приближаясь к плывущей. От бешено вращающихся лопастей стелилась по плёсу мелкая густая рябь. Саша, высунувшись из кабины, вёл корректи-

ровку.

В машине стал чувствоваться резкий, удушливый запах фенола.

— Ни хрена себе ароматец! — Саша закрутил носом, заморщился. — Командир, чуть правее, ещё... Так, хорош!

Конец трапа чиркнул по воде, почти на пути плывущей; той оставалось только несколько взмахов, чтобы ухватиться за перекладину. Она даже не подумала этого сделать, проплыла мимо. Хотя уже не могла не ощутить накатившие отвратительные запахи и не заметить, как резко изменила цвет, побурела и почернела вокруг вода, заколыхалась грязной пеной.

— Она что, совсем уж того! — удивлённо протянул Саша, решив, что девушка с перепугу или не увидела брошенного трапа, или — скорее всего — просто не поняла его назначения. — Командир, сдвинемся ещё чуточку вперед, рыбка капризничает что-то, — минуту наблюдал за происходящим внизу, потом обернулся к Печорину своим возмущенным лицом: — Она оттолкнула трап! Психованная!..

Следом раздался в наушниках тревожно-весёлый, простодушный возглас бортмеханика:

— Братцы, да она, гляньте, голенькая!

Второй пилот Саша так быстро «глянул», что чуть не выпал наружу — ремни удержали.

Вертолёт по-прежнему висел низко над водой, и Печорин с большим напряжением сил держал машину в экстремальном режиме.

— Что, так и не желает? — сдержанно поинтересовался он, не сводя глаз с радиовысотомера.

— Нет! — в один голос дружно подтвердили второй пилот и бортмеханик.

— Тогда, значит, ничего не попишешь, женщина есть женщина. Она скорее на дно пойдет... — хладнокровно подытожил Печорин. — Хватит таращиться, жеребцы, отходим, не то ещё потопим воздушную струёй девку.

И вертолёт, задрав хвост, заскользил в разгоне вдоль плёса, устремился круго вверх. Девушка плыла, кажется, из последних

сил. Но вот она наконец коснулась ногами дна. Побрела к берегу. Остановилась. И вдруг села в пяти шагах от берега, на мелководье, ткнулась руками в песок.

И ещё летчики успели заметить: из одиночной в кустах палатки выскочил парень, ринулся к Реке, к сидящей в воде девушке.

— Здоров дрыхнуть гусь, — презрительно кинул второй пилот Саша, глянул на бортмеханика: — Поддай, Василий, чурбачок, я ему щас уж точно по темечку врежу...

17

В помещении аварийной дежурки, в пёстром окружении планов работы, рекламных плакатов и инструкций бригадир слесарей Тютиков разговаривал по телефону, косясь на аппарат в стиле «ретро» (из которого вместо звонков — писклявые вопли клаксона).

— Мотопомпу вам направил. И сварщиков двое... Чево?.. Ково?.. Эхма!.. А дороги туда щас какие? Вон с неба опеть хлещёт... Вобщем, ждите.

Осторожно положил трубку на высокий голенастый рычаг. Хмыкнул. Такой допотопный с виду механизм, а слышимость — прямо будто позвонивший в ухе сидит.

Показался Оськин, всё в той же, надетой прямо на майку брезентовке. Тютиков собрал на лбу морщины непреходящей озабоченности:

— Привез?

— Нету в общаге.

— А где?

Оськин прошёл к графину с водой на подоконнике, глотнул из горлышка.

— Откуда мне знать? Никто не знает. Может, у этой... у своей отлёживается.

— Отлёживается! Нашёл время! Кобелина! Ежжай к ней не медля!

— А куда? Куда?

Озабоченность на плохо пробритом лице бригадира сменилась искренней растерянностью:

— Да как же я теперь в сейф?.. Анохин щас тут будет... Ну Кошкин-Мышкин... без ножа, стервец, режет... Получит он у меня в этом месяце... ноль целых хрен десятых! Ежжай, приказываю!

— Куда?!

— Куда хошь, но чтобы с глаз...

— Пошёл ты! — Оськин сел в кресло, в привычной позе вытянув ноги на середину комнаты: — У меня ответственное дежурство, понял?

— Всё ж таки поедешь!

— Отвали. Не поеду. Хватит!

Вошёл Анохин, сразу взялся за телефон, стоя стал крутить диск.

— Что за шум, а драки нет? — взглянул на бригадира. — Журнал доставили?

— Товарищ Анохин, Александр Петрович! — Тютиков засуетился, глянул под рукав. — Щас доставим, щас, ментом! Заминка тут произошла. Вот Оськина посылаю, он надёжный парень... — приблизился вплотную к слесарю и — тихо, зловещё: — Ежжай, сделай милость, исчезни!

Оськин, кипя в душе, молча встал и, презрев бригадира взглядом, вышел из дежурки.

Тютиков, удовлетворённый, уселся на его место. Секретарь парткома говорил в трубку:

— ...На Дамбе только экскаваторы и самосвалы. Людей нет. Но с вас-то спрос особый, не обольщайтесь, — и резко оборвал разговор. Сел за стол, вынул из внутреннего кармана какую-то бумагу, стал читать.

Тютиков деликатно сказал:

— Я так своим умом кладу. За эти дела статья гласит, а? Как ваше мнение?

— За какие дела? — Анохин поднял голову.

— Это... за отвал. Беды нанёс сколь...

— Думаю, что да.

— А кому в первую голову?

— Это надо разобраться, — Анохин снова уткнулся в бумагу.

— Надо, надо! Ой, надо! — Тютиков энергично закивал, полностью соглашаясь. — Распустились люди, языками забрякали, — разговаривать с начальством такого ранга ему приходилось нечасто, и он не мог упустить момента. — Случай взять. Сижу в полуклинике. Женчина рядом, такая из себя... лахудреньякая. Ругается: «Полгода хожу лечу болячку — никакого результату. И ещё сиди под дверьми до посиненья!..» А я возьми и ляпни. Гражданочка, полгода — зато бесплатно, а вот, мол, за границами — читаете небось — лечение... ого! Помереть дешевле. Так-то!.. Она, лахудра, как разбрунделась тут: «Мне плевать, что за границей платное, мне чтобы в нашей полуклинике оно было качественным!..». Говорю же, распустился народ, надо бы уж и поприжать.

Писклявые вопли клаксона прервали Тютикова, заставили поморщиться Анохина. Он потянулся к трубке. Это был Каржавин.

— Выходит, лаборатория всё-таки была, — произнёс он. И неясно было по тону — спрашивает или констатирует. Но Анохин понимал: конечно же, констатирует — спрашивал-то два часа назад, через диспетчера. — Была! Но ни главный, ни водоснабженцы — никто о ней понятия не имеет. Невероятно!

— Какая там лаборатория? Фанерная будочка на поплавах. Просто никто всерьёз не принимал.

— А что принималось всерьёз, если речь шла о гидроотвале? — голос Каржавина уже гремел. — Что?

— Я все выяснил, — Анохин попытался деловым тоном пригасить секретарский гнев. — Копошился там один наш техник, студент-заочник. Опыты по очистке стоков проводил. Электролизным путем.

— Там же вонь кромешная, — усомнился, хмуро бросил Каржавин. — Вместе недавно дышали.

— В респираторе приходилось бедолаге работать, — сказал Анохин. — Его, говорят, так там и звали: Трёхнутый.

— А клоаку отвала — озером Рица?

— Остряки!

— Та-ак... — сказал Каржавин. — Куда же она могла деться?

— Кто?

— Будочка! Мать вашу-перемать!..

Анохин пожал плечами.

— Да куда. Наверное, штормом в проран вынесло.

— Там человек был!

— Не было никого. Что ему там ночью делать?

— Но ведь сам говоришь — Трёхнутый!

— Это не я говорю...

Трубка коротко запищала отбой, и Анохин кинул её на высокие рога аппарата.

* * *

Каржавин в своем кабинете перешёл к столику, на нём была установлена рация, стал щёлкать переключателями. Трубка сеяла треском разрядов, значит, грозовой фронт снова приближался.

— Командир... Командир... На связи Каржавин. Где находитесь? Приём.

Пересыпаемый разрядами, то всплывал, то как бы погружался в воду голос Печорина:

— Прошли турбазы, село Варюхино. Выброс расползся, как дерьмо, по всей Реке... За пастухов пришлось вот поработать, стадо из воды ракетами выгонять...

— Слушай внимательно, — сказал Каржавин. — Скоро вас сменит вертолёт областной ГАИ. Разворачивайтесь немедленно назад. Немедля! Ищите плот из заваренных труб, вроде понтонов. Будка на нём, домик такой... Там человек должен быть.

— Понял, Юрий Иванович. Будем искать человека на плоту...

Каржавин замедленными движениями отключил рацию, раздёрнул галстук. Глазок индикатора подмигнул последний раз и потух.

В комнате отдыха, позади кабинета, звучала тихая, тревожащая музыка. Зоя лежала на кушетке, укутавшись пледом. Время от времени её начинало трясти, но потом всё проходило.

Вчерашнюю ночь дома она спала плохо, тревожно. С вечера ещё громыхал свирепо гром, и сквозь залитые дождём стёкла вре-

менами было видно, как над решёткой ливневого колодца бешеной воронкой вьётся вода.

Среди ночи она проснулась. За окном спальни тихо. И когда снова задремала, на её веки легли чьи-то холодные пальцы. Она встрепенулась, открыла глаза. В окне висела Луна — только и всего. Правда, была она огромна необыкновенно и высвечена до последней жилочки. Такой большой и вызывающе яркой Луну Зоя видеть не приходилось. Сон окончательно отлетел, и она стала рассматривать светило, его расписанный каббалистическими письмёнами лик. Что бы они все значили?.. А вскоре пронзило её ошеломляющее предчувствие: она «непременно умрёт». Господи, от родов?!

Утром, едва рассвело, в квартире — звонок. Звонила сестрёнка Андрея, младшая школьница. Спросила дрожащим голосом, не знает ли тётя Зоя, где Андрей, он не пришёл ночевать, и маме очень плохо. Зоя прекрасно понимала, не вернуться Андрею на ночь нельзя, больная, в параличе, мать без его помощи не могла сделать шагу. Выслушав девочку, Зоя ахнула и похолодела. Сбылось проклятое предчувствие! Услышать такую весть было хуже, чем умереть самой, — без всякого сомнения.

...В комнату из кабинета вошёл отец, Зоя подняла голову, напряжённо села. Со страхом и надеждой ждала его слова.

Каржавин сказал:

— Его найдут. Обязательно. Летчикам дана команда. Наберёмся терпения, — он пристально посмотрел на дочь. — Кофе сварить? У меня тут всё есть. (Зоя отрицательно качнула головой.) Но ты вся дрожишь.

— Это, наверное, от другого.

— Всё же приготовлю, попьюм.

Каржавин открыл сервант, выставил на стол электрочайник, банку с кофе, две чашки. Он не знал, как теперь вести себя с дочерью, был растерян и удручён одновременно.

— Мать и здесь в курсе? — спросил он. Зоя молча стала кутаться в плед. — Прямо заговор какой-то... Выходит, я уже давно не отец?.. Чего набычилась?

Отдалённо звучала музыка — беспокоила Зою. Она смотрела, как отец включает в сеть чайник, насыпает в чашку кофе, перемешивает с сахаром, тщательно растирает ложечкой. Поймала себя на мысли, что видеть отца за таким занятием ей непривычно. С горькой усмешкой, тихо заговорила:

— С детства помню свои наивные вопросы: «Где папа?» — «Встречает делегацию». — «Где папа?» — «Готовится к отчетной конференции». То выбивает фонды. До сих пор фонды для меня — это такие пыльные перины, по которым надо бить палкой... И тут тоже вон — отгородился!

Каржавин приостановил свое занятие, недоуменно посмотрел на дочь.

— От кого? Чем?

— От меня! — сказала Зоя. — Постовым милиционером. Комнатой пропусков. Секретаршей, вооружённой до зубов оргтехникой и вежливостью. Двойными дверями. Сдохнуть! — усмехнулась, натягивая плед до самого подбородка. — Пришлось паспортом доказывать, что дочь... Теперь-то я понимаю: должность ответственная. Но когда последний раз ты был дома в субботу?.. Сейчас наговоришь, что работа твоя — долг... или что-нибудь такое... А мы с мамой — что?.. Да я теперь не о себе... Вы же с мамой разучились ходить в гости. Вот маму жалко. Как-то у неё вырвалось: «Сижу, — говорит, — все вечера у телевизора, как собака у костра...». Не пойму: или ты карьеру делаешь, или такой добросовестный...

— Между прочим, мой отец, а твой дед, был военным, — Каржавин отставил чашку, взялся за другую. — Мы с матерью его почти и не видели. Но я не помню, чтобы мы упрекнули его за это... И мы не стали с отцом чужими от того, что редко виделись.

Он умолк, а Зоя сказала:

— Господи, а как я не любила школу. Все неприятности дома, скандалы — из-за неё, подлой. Не так ответила, не с тем дружу. Не то написала в сочинении, что требует программа. А дневник! Записи: «Ваша дочь грубила...», «Ваша дочь читала постороннюю книгу», «Зайдите в школу». Не дневник, а ябедник! И обязательно в конце — «Учти все замечания». Я однажды сверху написала:

«Дневник закрыт на учет». Ой, что было!.. И с младших классов — всё строим, всё под команду. Чтобы все были гладенькие, одинаковые, как шарики в лотерейном барабане. Если в буфете заказ на обеды, то всем сорока — кисель! Так всем классом и в комсомол загнали...

Каржавин отставил чашки, сел в кресло, рядом с кушеткой, с тревогой и недоумением смотрел на дочь.

— Поражаюсь: откуда в тебе этот... винегрет.

Но Зоя, разволновавшись, ушла в дальний угол. Будто близкое присутствие отца мешало её вдруг прорвавшейся откровенности. Его самого она не услышала.

— ...И эти бесконечные «нельзя», — сказала она из угла. — Нельзя мне носить длинную юбку. Нельзя короткую. Нельзя слушать записи Высоцкого. Читать стихи: «Когда румяный комсомольский вождь на нас, поэтов, кулаком грохочет и хочет наши души смять, как воск, и вылепить свое подобье хочет...» Если сегодня верно одно, а завтра уже другое, — значит, нет ни истины, ни правды?.. — прошла комнату, остановилась перед отцом. — Я, папа, должно быть, заново учусь называть вещи своими именами. Вот откуда... Каржавин молчал. Зоя продолжала:

— Мучаюсь вот: за что погиб Игорь, соклассник? Не отвечай. Знаю. Сто раз слышала! Интернациональный долг. Но скажи — кому он в свои 19 успел так страшно задолжать? Кому — в этой чужой каменной пустыне?

Помнишь, был в городе суд над работниками рыбной базы. От жиру лопались. Икру поварёшками жрали. У директрисы дома четыре японских телевизора — по одному на комнату. Фантазия её, во что бы ещё вбить деньги, дальше не шла... А тут как-то захожу в кондитерский... Папа, от голода у нас вроде бы не умирают... Захожу и вижу своими глазами. Женщина, пожилая уже, скромно одетая, берёт конфет-подушечек на семь копеек. На семь копеечек! Ты можешь представить?..

Каржавин так расстроился, что не сразу нашёлся что сказать.

— Но пойми, Зоя, наша страна не столь богата, чтобы всех одеть и накормить по первому, так сказать, разряду.

— Нет, столь! — бросила Зоя. — А тут случайно услышала разговор двух наших доцентов. Мне, говорит один, сегодня некому ставить двойки: за всех просили!.. Скажи, как при этом сохранить веру, что надо жить по совести?

— Но за тебя же не просили.

Зоя остановилась у противоположной стены, молчала. И тогда Каржавин повторил настойчивее и уже с вопросом:

— Но за тебя, надеюсь, не просили?

— Просили. И за меня.

— Кто же?!

Зоя поморщилась от его голоса, ответила устало:

— Не возникай, не кипятись. Не ты, конечно.

— Кто, мама? Я же ей категорически запретил подобные вещи!

И ты знала?

— Узнала, когда уже ушла. И не жалею, что ушла. Потому что поняла: не сделаться мне у этих доцентов учителем.

Сквозь полуприкрытые двери комнаты из кабинета то и дело зуммерили прямые телефоны.

Это беспокоило Каржавина, не давало сосредоточиться.

— Дожил, называется. Мама знает всё, я — ничего!

— Успокойся. И мама не всё знает.

— Успокоила... А ты, оказывается, у нас злючка. И скрытная.

Зоя строго взглянула на отца:

— Это не злость. Ты, как всегда, во мне ошибаешься... Скрытная, — повторила она, и губы её некрасиво напряглись. — Попробуй перед вами раскройся. Сразу начнёте воспитывать. Тебе, правда, как всегда, будет некогда...

Каржавин потёр лицо, вздохнул:

— Тут ты в точку. Вон телефоны — на разрыв. Надо идти. Отправить тебя домой?

— Нет-нет, — быстро сказала Зоя. — Я тут подожду. Можно?

— Ну хорошо. — Каржавин поднялся. Чайник уже кипел вовсю, оба о нём забыли. Дёрнул шнур. — Выпей кофе, всё приготовлено. И приляг всё же. Во всяком случае, лежи тихо, не высовывайся. Будет результат — скажу.

— Пап, а как понять? Наступит время, когда женщина будет счастлива постирать мужчине рубашку.

— Откуда это ты?

— Вычитала. Слышится намёк на что-то тревожное, а?

Каржавин не нашёл, что ответить, потом проговорил:

— Может быть, ты и права. Тревожное...

Он задёрнул на окне плотную штору, вышел из комнаты. И тотчас же, как только Зоя осталась одна, невесть откуда, из какого источника, выплыла та же тихая, тревожащая мелодия. Зоя уткнулась в подушку.

19

Куклин припарковал свой старенький «Жигуль» на площадке позади горкома, рядом с чёрной «Волгой». Ни машины Ротова, ни машины Анохина ещё не было. Не торопясь прошёл к главному входу.

В лепных извилинах фронтона стрижи ухитрились наклепать гнёзд и теперь в паническом писке носились над входом, диссонировав со строгим ликом этого дома. Куклин с минуту понаблюдал за суматошными птицами. Усмехнулся: ведут себя, будто у них тоже прорвало Дамбу...

Постовой отыскал в списке его фамилию, кивнул. По ступеням, покрытым мраморной плиткой, Куклин поднялся на третий этаж.

В приёмной никого из приглашённых не было. Секретарша узнала его, предложила сесть, подождать — ещё рано. Куклин ответил: погуляю в коридоре.

Густой ворс дорожки мягко глотал шаги. Во внешности Куклина и в его поведении была разительная перемена. Строг, подтянут. Отличный с зеленоватой искрой костюм. Однако сидел он на нем мешковато, «провинциально». Что делать — нестандартная фигура, всю жизнь приносящая ему мелкие неудобства.

Появился главный инженер Ротов, в руке чёрная изящная папочка. Увидев Куклина, направился к нему. И — с ходу:

— Слушай, что там за лаборатория у тебя плавала?

— Да ну! — Куклин махнул рукой. — Анохин из меня душу

вынул. А я, убей, не соображу, о чём речь. Ну не врубаюсь. Туалет на два очка, а в нём гидролизная установка. «Лаборатория»!

— Слышал, брат, слышал, ты тут с дачкой лажанулся. Или языки приукрасили?

Куклин ироническим жестом поправил Ротову галстук:

— Слушай, Глебушка. Не забывай, мы же с тобой из одного студенческого котла кашу скребли. Где-нибудь уж я тебя знаю. В этой папочке — что?

Ротов не спеша убрал папку за спину.

— Твое «знаю», Паша, звучит так сакраментально, будто ты только что вылез из-под моей кровати.

— Полегче! Не погляжу, что начальство, — врежу... Под все твои кровати лазить — коленки сотрёшь.

Главный инженер засмеялся:

— Остёр как всегда. Но нервишки у тебя, Паша, ни к чёрту стали. Когда ещё тебе говорил — не связывайся с этой дачной заразой.

— Говорил, говорил, — фыркнул Куклин. — А хочешь знать, почему ты сам не связался, когда все тут повально с ума сходили, детей-жен закладывали, чтобы участок отхватить?

— Ну-ну?

Куклин поискал глазами урну, бросил окурок, вернулся.

— Не намерен здесь якорь бросать. А не потому, что дачная суетня отвлекла бы тебя от государственных дел, как ты тонко любишь подчеркивать.

Куклин наклонил голову, как бы желая заглянуть Ротову за спину. — Все-таки, что там? Голову на отруб — компромат на меня.

— Ну, Паша, да ты чистый экстрасенс!

— Ты мне мозги своими импортными словечками не пудри. — Паша был в своей истинной форме. — Знаешь, как одна потерпевшая давала показания? «И никакого насилования, гражданин следователь, промеж нами не было. Только он говорит, что это было в экстазе, а я точно помню, что в сарае...»

Ротов сдержанно засмеялся, но тут же нахмурился:

— Ты, друже, выходит, в местные патриоты вступил.

— Я родился здесь, — сказал Куклин хмуро, — здесь и подыхать буду. Во всяком случае, не на Ваганьковском.

— Что же ты тогда, патриот, Дамбу прокакал?

— А то, что ты мне воздуха не давал!.. Как на уборочную — так моих людей. Разгрузку вагонов — тоже Куклин изворачивайся. А потом чуть в водосистеме сбой — кого на ковёр?.. Я тебе что, в затылок дышу? Да на кой ляд ты мне сдался! — сказав это, Куклин стал не торопясь вынимать из карманов какие-то мятые, затёртые листки, расправлять, пробежать глазами. — Но учти, однокашник, если решил на мне тут отоспаться — просчитаешься. Мне терять вроде уже нечего. — Он снова бегло перебрал сложенные в пачку листки, вполголоса: — Так... Копия докладной о состоянии Дамбы главному инженеру... Ещё аналогичная бумага... Протокол комиссии... Хватает. Как видишь, твой покорный слуга — он тоже не в дровах найден.

— Паша, да с чего ты разбухтелся, бумажками затряс? Ты ли это?

— Я, я, можешь пощупать... В нашей жизни как? Одни служат делу, а другие — начальству. Так вот ты, Ротов, — из других.

— Да утихни ты, неврастеник! Вон на нас уже косятся.

Из приёмной выглянула секретарша, увидела их, позвала: «Входите!»

Они пошли бесшумной мягкой дорожкой в приёмную. Ротов шутиливо и примирённо положил на плечо Куклина руку:

— Но ты же согласен, что предшественник твой был специалист с куриными мозгами?

— С этим-то согласен.

— А взлетел! И куда! — воскликнул Ротов. — Вопреки твоей любимой присказке, что труднее всего взлететь с куриными мозгами...

За столом заседаний в кабинете первого секретаря сидели семеро: главный инженер завода Ротов, секретарь парткома Анохин, начальник цеха водоснабжения Куклин, главврач санэпидслужбы

Перепёлкина, двое заведующих отделами горкома и сам Каржавин. Он побывал в районе гидроотвала и теперь, удручённый всем, что увидел своими глазами, был мрачен, раздражён и даже не пытался скрыть этого.

Подъездной дороги практически не было. Подсыпанный когда-то в полотно горельник был втрамбован в грязь, так что и следов его не осталось. Ухабы, выбитые колесами тяжёлых машин, залиты водой. Делая вынужденные объезды, шофёры раскатали пойменный луг на пятьдесят метров в обе стороны. Грейдер здесь, похоже, никогда не гулял.

На вездеходном уазике Анохина им удалось добраться только до пульпоперекачивающей станции, сиротливо стоящей в этом унылом, в редкой щётке кустарника, краю. Анохин вытащил из багажника две пары резиновых сапог. Они переобулись и пошли дальше пешком.

В полутора километрах, под грядой сопок, дымилась городская свалка. Белесый дым стлался над землей ползучим шлейфом, достигая чаши гидроотвала, сливался с его влажным тяжёлым запахом. К месту промыва самосвалы с гравием шли по самой Дамбе. Один из них забуксовал на подъёме, и шофёр, матерясь, сыпанул груз под колёса.

Как тут в ночь прорыва работали сотни людей, что вынесла техника — можно только догадываться...

Каржавин раскрыл папку, стал медленно, внутренне сосредоточиваясь, перелистывать собранные по его распоряжению документы. Все они касались работы завода, главным образом его сточной системы, гидроотвального хозяйства.

Потом оглядел собравшихся.

Разговор предстоял трудный.

Ротов сидел, склонив голову, крутил в пальцах авторучку. Этот человек умел держать свои эмоции в узде. Нельзя было угадать истинное его душевное состояние: возмущен он или расстроен, или ему всё по барабану. Качество это Каржавин готов был признать в ряду несомненных достоинств специалиста, «технаря», лишь в том случае, если оно приходит к человеку с возрастом, в результате

делового и жизненного опыта. Ротов же был сравнительно молод — и по возрасту, и как руководитель. Поэтому стиль его поведения казался Каржавину, да и, возможно, всем окружающим, нарочитым, искусственным. А значит, не вызывающим особых симпатий.

Рядом с Ротовым, плечо в плечо, хотя свободных стульев было достаточно, облокотился о стол Анохин. Но эта «сплочённость» в данном случае — Каржавин отлично понимал — была чисто внешней, случайной. Главный инженер и секретарь парткома душевной близостью похвастаться не могли. Взаимоотношения их вполне вписывались в их деловые, служебные рамки. Анохин был постарше. В нём было больше открытости, что импонировало людям, в гуще которых ему приходилось работать, но что частенько приносило ему и неприятности. Открытость ценит открытый же человек. Иной другой видит в ней прежде всего чужую слабость. И поступает соответственно. Может быть, именно здесь, в столь очевидной разности их характеров, крылась причина того, что в определённой среде деликатно обозначается как отсутствие дружеского контакта.

Перепёлкина примостилась поодаль. Светлая кофта с длинным рукавом, глухой ворот, перламутровые горошины клипс. Она всегда старалась держаться особняком.

Ее вмешательства как санврача в производственные процессы предприятий мало кому приходились по душе. Чаше вмешательства эти ни к чему не приводили. Производственники имели богатый арсенал средств обойти, оспорить, а иногда и просто игнорировать её предписания. И это при всём том, что Перепёлкина, будучи санврачом, обладала большими правами. Если предприятие не выполняло её требований, она могла «запломбировать» его, остановить работу. Но тогда она должна быть готовой выдержать такой шквал звонков и протестов, такой натиск инстанций, что, прежде чем решиться на этот шаг, ей надо было крепко подумать.

Двойственное, а то и ложное положение, в которое попадала санврач Перепёлкина, накладывало на её деловые отношения печать отчуждённости, болезненной готовности принимать выпады

и одновременно самой наносить их — иначе «выжить» было бы трудно.

Каржавин захлопнул наконец папку, остановил свой взгляд на начальнике цеха водоснабжения.

— Павел Кузьмич, как получилось, что за последний добрый десяток лет дамба не ремонтировалась?

— Почему же? — возразил Куклин. — Латали ее. Только так... Кустарно.

— Кустарно?

— У нас же нет специализированной ремонтной бригады.

— Почему?

— Да таковой нету и на всей очистной системе завода.

— Но ведь в техническом проекте она заложена. Авторы его были, должно быть, не глупее нас.

— В проекте, — усмехнулся Куклин. — По проекту Дамба из гравия. А она — сами могли убедиться — из шлака. И гребень ниже проектной отметки. И защитного экрана во многих местах нету. Сигнализаторы не смонтированы... Многое можно перечислять.

— Опять же почему, чёрт возьми! — не выдержал, повысил голос Каржавин.

— Потому что к победному рапорту торопились, к орденам и премиям опаздывали... Да об этом лучше вон — главного инженера.

Ротов при его последних словах раскрыл было свою тоненькую сафьяновую папочку. Куклин, сидевший почти напротив, демонстративно вынул из кармана кипу потёртых бумажек. Ротов захлопнул папочку. Этой их пантомимы не понял никто.

— Я всё это готовенькое получил, — сказал Ротов. — По наследству, так сказать.

— Ну, Глеб Александрович, — протянул Анохин с укоризной. — Ну что вы — за предшественника? Он-то разве тут работал? Болел за эту землю? Он Москву высиживал, ваш предшественник. Теперь оттуда ценные указания шлет...

Каржавин полистал документы, взглянул на Ротова.

— Вот копия директорского приказа. Уже в ваше время. Вам

предписывалось в прошлом году нарастить Дамбу до проекта.

— Простите, каким месяцем он означен? — спросил тот.

— Какая разница? Августом, пятым числом, если угодно.

— Угодно, — сказал Ротов. — Ибо это ответ. В августе и сентябре люди и транспорт вспомогательных цехов были отправлены на сельхозработы... Приказ издать легко.

— Ну, а позже?

— Позже свалилась зима. А какая она была — все помнят. Вагоны с агломератом отбойными молотками разгружали.

— А пляжи — главная защита от волнобоя?

Ротов покачал головой:

— Для намывки пляжей нужен земснаряд. Министерство из нашей заявки его выбросило. Дорогая, говорят, для вашей ямы игрушка.

Тут уж не выдержал Анохин:

— А вы бы ещё раз включили. Да подтверже, понахальней. Не вас учить! Хватка-то у вас — ого! Ваши подчинённые её очень даже хорошо ощущают... Вы знаете, во что обошелся выплеск этой ямы? И во что ещё наверняка обойдется?

— Лучше, если бы это узнал наш министр, — не поворачиваясь к секретарю парткома, с которым они сидели бок о бок, хмуро бросил Ротов.

— Так за чем дело стало? Просигнальте — и узнает! Да в таких тонах, чтобы вам лично выговор пришёл, а заводу — земснаряд, — Анохин смотрел в упор на главного инженера. — У вас же нет ни одного министерского выговора! Как ухитряетесь?.. Директора ждёте, Храмова? Чтоб за его подпись спрятаться?.. — он перевел взгляд на сидевшего напротив Куклина. — Павел Кузьмич, вам бригадир Тютиков сообщал о состоянии Дамбы накануне прорыва?

— Не помню... нет.

— Но оперативный журнал читаете?

— Просматриваю.

— В нём об этом же — была запись?

— Не помню такой.

Анохин усмехнулся:

— Это, наверное, удобно — ничего не помнить?

Куклин сощурился, произнес с ответной усмешкой:

— О да. Французы говорят: счастье — это хорошее здоровье при плохой памяти...

Анохин повернулся к Каржавину:

— Юрий Иванович, разрешите? — И тут же секретарше: — Раиса Степановна, зови приглашённых.

Секретарша вышла.

— Как случилось, что к стокам завода подключилась обогатительная фабрика? — спросил Каржавин.

И тут Ротов впервые, кажется, не нашёлся что сразу ответить. На секунду заколебался, и это заметили все. Перепёлкина в другом конце стола нетерпеливо шевельнулась, сдерживаясь, но не сдержалась — нанесла выпад:

— А, как говорится, «по знакомству»! У фабрики засорились отстойники, и она стала гнать отходы в соседнее озеро, в старицу. Мы в судебном порядке добились приостановки работ. Тогда фабрика подключила свои шламы к гидроотвалу завода.

— Ну деятели... — зло усмехнулся Каржавин, с возникшей вдруг неприязнью покосившись на санврача, и снова, теперь уже напрямик обращаясь к Ротову: — Чьё это распоряжение?

Ротов на этот раз не отвел взгляда.

— Храмова, — сказал он. — И... ваше, Юрий Иванович...

— Моё? — с неприятным удивлением переспросил Каржавин. — Каким образом?

Он действительно не помнил, чтобы когда-нибудь вмешивался в дела завода, связанные с его гидроотвальной системой... Да и какое он мог давать распоряжение в этой сугубо производственной сфере, о которой он и понятия не имел!

— Могу напомнить, — сказал Ротов, — вам позвонил Храмов: у завода только трехсуточный запас концентрата, практически работаем с колёс. Если встанет обогатительная — остановятся наши печи. Вы ответили: этого — ни в коем разе! Но и озеро, имейте в виду — отпадает. Мол, вы инженеры — думайте!

Каржавин тяжело навалился на стол:

— И вашей инженерной думы только на это и хватило?..
Ему в ответ ледяное молчание.

21

Вошла в кабинет Рая, за ней бригадир Тютиков и слесарь Оськин. Оба остановились у самой двери. Тютиков зачем-то держал в руках защитную каску.

— А где журнал? — спросил Анохин. Бригадир пожал плечами. — Но я же вам напоминал!

— Вчера Кошкин замеры вносил, — забормотал тот. — А сёдни на смене нету... — повернулся к парню: — Оськин, подтверди!

— Нас не Кошкин интересует, — напомнил Анохин.

— Журнал... это... в сейфе. Как положено.

— А ключ?

— Обратно же у Кошкина. Он замеры вносил....

— Послать кого не догадались?

— Дома нету! — он ткнул парня каской в бок. — Оськин, подтверди... Разве можно с такой публикой работать? Они гуляй, а ты об деле нервничай.

— А с каской-то сюда зачем? — разозленный его хитрой простоватостью, спросил Анохин. — Думаете, тут по голове бить будут?.. — он кивком показал на Кукулина. — Вот начальник цеха не помнит, чтобы ему говорили о Дамбе.

— Как же! — искренне удивился Тютиков. — Позавчера. Как сейчас помню. По телефону.

— Позавчера в тоннеле главных водоводов задвижку выбило. Я оттуда весь день не вылезал, — сказал Кукулин.

— Значит, запозавчера!

Каржавин не выдержал, оборвал этот дурацкий диалог:

— Так была запись или её не было? Или, может, взорвем сейф?!

— Товарищ секретарь! — Тютиков вытянул вперед руку. — Вот этой самой рукой!.. Как мне Оськин доложил... я тут же!.. Кошкин, сволочь такая, в загуле... Фиволет жрёт, а я тут выстаивай... Оськин, подтверди! Чего молчишь, как тюрьма?

Анохин подбодрил парня:

— Дима, в самом деле, скажи.

Слесарь запахнул на груди брезентовку, скопился на Тютикова, сказал угрюмо:

— Бригадир, не забивай тут баки. Не делал ты в журнале никакой записи.

Тютиков аж оторопел.

— Ты чё?.. Нет, ты, Оськин, чё? Как так — не делал? А кто? Может, ты?

— Нечего Кошкина топить, — так же угрюмо пробубнил парень. — Ты весь тот день тяжбу со студентом вёл. У него понтон потёк, и он попросил вытащить на берег, чтобы заварить. Пообещал четвертную. А потом вместо четвертной десятку протянул. Говорит, больше нету. И ты её — забыл уже? — швырнул ему. И скомандовал трактористу спихнуть понтон обратно в воду.

Тютиков сморщился, горестно покачал головой.

— Эхма, рожа твоя фиолетовая. Ни стыда ни совести. Всё дотла пропил.

— Стоп-стоп, — перебил Каржавин. — Так вы что, знаете этого студента?

— Студента-то? Трёхнутого которого? Как не знать! За какой-нить железкой — к Тютикову. За какой-нить резинкой — обратно же к Тютикову. А Тютиков не собес...

Узкая дверь комнаты отдыха за спиной Каржавина внезапно распахнулась. Зоя! Она буквально ворвалась в кабинет, короткие волосы встрепаны. Захлопнула дверь, прижалась спиной.

Появление её было для всех полной неожиданностью, в том числе и для самого Каржавина.

Минута обоюдного молчаливого созерцания. Слышно стало, как мягко, умиротворяюще жужжит в окне кондиционер.

Зоя смахнула со лба прядь, сказала тихо, сдавленно:

— Это кто — трёхнутый?.. Кто?.. Это Андрей? Трёхнутый?.. — и вдруг губы её исказились в крике: — Да вы тогда сами — знаете кто? У вас уже, наверное, глюки полетели?!

— Зоя! — попытался остановить её Каржавин.

— Господи... — как бы враз остыв от крика, Зоя покрутила головой. — Ну о чём вы тут все... Протоколы пишете! Толчёте в ступе: была запись, не была запись! Насыпали Дамбу, не насыпали Дамбу! Какое это щас имеет значение! Там человек! Понимаете?.. Ему в эту минуту помощь нужна! Чума по Реке! Вы это-то хоть понять можете? — она снова нервно ударила ладонью по чёлке. — Кто из вас Тютиков?.. — остановила взгляд на бригадире с каской в руках. — Вы?.. — и тут же подтвердила самой себе, торжествуя: — Вы! Откуда вы беретесь, хищники мелкие, недострелянные! Вы же должны были ещё в революцию вымереть! Учебники нас так учили!.. У Андрея зарплата сто пять. Половина в ваш подлый карман уходит. За «железячки»!..

Тютиков, уязвлённый этим выпадом, но прекрасно понимая, где он находится, со сдержанным достоинством на лице сказал:

— Ты, девка, не знаю уж, кем ты тут доводишься, покультурному сказать, галиматню несешь... Учебники её, слышь, учили. Чему? Оговорам? Оскорблениям старших?.. Какая зарплата, какие сто пять? Кто это тебе в уши навертел?

— Если из-за вас... — заплакала Зоя. — Если вы... Андрея... за десять рублей... — повернулась и скрылась снова в комнате, пристукнув крепко дверь.

Тютиков недоуменно развел руками, забормотал, засуетился:

— Она чё ко мне вяжется, а? Девка эта, а?.. Да у меня самово дома таких заполошных — целых три штуки. И ещё Гавриловна — перва змея по Расее! Тоже чуть чево — сразу горлом!..

Каржавин сидел каменно-молчаливый, обескураженный Зоинной выходкой. Поднял на суетящегося Тютикова взгляд, кинул:

— Оба! Вон!

Тютиков, а за ним и слесарь исчезли из кабинета. Наступила пауза. Все смотрели — кто на Каржавина, кто мимо.

— Это моя дочь, товарищи, — сказал он. — Уж не судите строго... такое тут дело... — потёр лицо, с усилием заставляя себя вернуться к прерванному. Вспомнил, взглянул на Перепёлкину. — А что всё же с озером?

— Озеро мертво, — сказала санврач. — Поздно мы... Сейчас

они к другому подкрадываются.

— Мертво! Поздно! — он снова ударил ребром ладони о стол. — Вашей службе вмешиваться бы не когда «мертво» и «поздно», а когда только «подкрадываются»... Сидите там, ждёте... дождётесь!.. — Нервы секретаря горкома, натянутые выходкой дочери, нашли, кажется, повод, сорвались.

— Мы сидим? — воскликнула Перепёлкина и вскочила с места. — Это мы-то ждёмся? — причём она так резко мотнула головой, что её короткая жёлтая причёска прыгнула зонтиком. — Да вы хоть знаете, чего стоит добиться судебного решения? Или хотя бы штрафа из личного кармана?..

— К чему это сейчас? Сядьте! И придержите ваши эмоции! — прервал её Каржавин, ощутив на мгновение сладость чувства от своей власти над этой крикливой и упрямой женщиной. — Я дам слово, когда надо будет!

Перепёлкина растерянно села, слепо зашарила в сумочке. Повисла тяжёлая, всех придавившая пауза. Кое-кто отвел глаза к окнам, за которыми густо чертили воздух стрижи.

И тут Анохин тихо, но достаточно твердо проговорил:

— Юрий Иванович, так нельзя. Анна Сергеевна дело говорит. Каржавин бросил исподлобья:

— Может, ты, Александр Петрович, займешь моё место? Раз уж взялся за меня решать!

— Она женщина, — сказал Анохин, — и эмоции ей простительны. Не будем рабами регламента. Я настоятельно прошу дать ей высказаться... Как член бюро прошу.

— Сейчас не бюро, — буркнул Каржавин. Потянулась свинцовая пауза. Наконец он переборол себя. — Продолжайте! — бросил, не глядя на почти раздавленную Перепёлкину.

Та, поколебавшись, заговорила сухим, осевшим от обиды голосом:

— ...У нас есть законы. Но почему они такие беспомощные? Взять тот же завод. Сколько заступников, высоких покровителей. Ну как же — «промышленный гигант». «Железная держава». Секретарши в приемных — на козе не подъедешь! Был сброс в лив-

невую систему завода. Оттуда всё в Реку. Рыба серебром плыла! Моя сотрудница три дня просидела с актом в приёмной Ротова. Три дня! Он её так и не принял. А она государственный врач. Понимаете, Ротов, государственный!..

— Было тяжёлое положение с конвертерным. Потом иностранная делегация, — бросил Ротов, не отрывая взгляда от своих сцепленных на столе рук. — Ей же объяснили.

— Объяснили! — снова вскинулась Перепёлкина, и в голосе её опять зазвучали утраченные было после грубого окрика первого секретаря прежние твердость и непримиримость; она как бы воспарила над склонённой шевелюрой главного инженера. — А когда мы добились судебного рассмотрения, вы нашли-таки время! И на целый день отложили ваши неотложные дела, чтобы отсудить штраф, наложенный на вашего директора Храмова, — она нервно выхватила платочек, приложила к носу, углы губ её в блёклой краске мстительно опустились. — И штраф-то по сравнению с ущербом — копеечный...

— А именно? — поинтересовался Каржавин.

— Сто рублей. Сумма стандартная.

— И что — отсудили? — оживился тот.

— Отсудили!.. Если хотите, непогода, шторм только ускорили то, что должно было случиться. На заводе вообще никто ничего не хочет знать. Снег с территории цехов весной надо в отвал — не вывозится. Хуже того. Чтобы таял быстрее — поливают водой, жгут паром, а это категорически запрещено. Отработанные масла должны на базу сдаваться — никто не сдаёт. Льют где приспичит. Станешь требовать порядка — «нужды производства»... Скажешь просто, по-бабы: мужики, гегемоны, дьяволы чумазые, стыд у вас есть? «Откудова! — гогочут. — С ним наработаешь!» Взять тот же отвал. Отнесли куда подальше — и шабаш. С глаз долой — из сердца вон! И ничего — ни инструкции, ни приказа, которые бы чётко сказали: кто? За что?.. Поди разберись...

Перепёлкина села. На тонком, остроскулом лице её рдели пятна.

...Чёрт побери, думал Каржавин, глядя на эту желтоволосую женщину, одетую в жаркий день в кофту с рукавами, прикрываю-

щими веснушчатые руки (веснушки аж на запястья высыпали). Он ещё помнил того сытого мужика с плечами штангиста, которого она сменила на посту руководителя санэпидслужбы. Фамилия его уже выветрилась из головы, но вот стиль работы его помнится: никому не создавать неудобств, быть гоголевской «дамой, приятной во всех отношениях». Он умел выступить на каком-нибудь активе с речью, не приведя ни одного серьёзного факта, не назвав ни одного имени, и при этом ещё каламбурами вызвать «оживление в зале», а то и «аплодисменты». Директора предприятий здоровались с ним за руку. Но именно при нём резко подскочила кривая выбросов в атмосферу, а районные очистные, перегруженные «партизански» подключенными стоками, пришли в бедственное состояние.

Каржавин нахмурился, посмотрел на Ротова.

— Опять хотите отмолчаться? Обвинения-то серьёзные.

— Нет, — отозвался главный. — Теперь, пожалуй, скажу... Теперь-то уж — скажу, хотя и не открою Америки. — Он встал, от привычной сдержанности его, кажется, и следа не осталось. — Известно давно: в тысячу раз легче строить, чем перестраивать. Особенно такую материю, как психология. А она у нас, у наших, как выразилась главврач, гегемонов, как бы слегка деформировалась. Не знаю, правда, отчего это произошло. От нашего сибирского дефицита рук или?.. На работу — заманиваем! Приходи, пожалуйста, получи зарплату, коэффициенты!.. Тут как-то иду по цехам, на ступеньках ремонтник развалился, такая мордень, «отдыхает!». Говорю: дай пройти, подбери ноги. Глаз не открыл, **через губу: «Перешагнёшь, не споткнёшься...»**.

Всё, в чём тут меня обвинили, — это не техническая проблема. А я инженер, технарь. Меня в вузе учили, в **какую сторону гайки крутятся**, а не как вдолбить взрослому человеку, **что он человек**, не свинья... Нету приказов и инструкций? Бросьте! Уж этого-то добра сколько угодно, ещё не на одну Дамбу хватит. Разве они панацея? Никто не мочится, прошу прощения, в штаны, хотя инструкции, это запрещающей, нету!.. На заводе тысячи вентиляей, заслонок, масляных пробок. И я не могу возле каждого поставить стражника с алебардой. Чтобы чуть чего — **по рукам р-раз!..** Да, был сброс

фенолов в канализацию. Кто это сделал? Я даже следователя пригласил: кто конкретно? Не нашли!.. Что ж, давайте теперь за каждый тайком открытый вентиль — директора в суд! Разве в ста рублях дело? Дело в принципе. В глубокой порочности системы...

Он ещё хотел что-то сказать, но, вероятно, сообразив, что и так слишком поддался порыву обиды, махнул рукой, сел.

На этот раз тишина в кабинете была продолжительной и всеобщей. Первым нарушил её Куклин, проговорил задумчиво, как бы про себя:

— Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь...

Каржавин покосился на него, ничего не сказал, долгим взглядом обвел присутствующих. Заговорил. И чувствовалось: слова эти даются ему нелегко, непросто:

— Сибирь нашу со времен Ермака подтачивали два недуга: дороги и временщик в губернаторском кресле... Который мог не моргнув дать долгосрочное обещание, уверенный, что ответ держать уже не ему... Но вот от чего по-настоящему страшно становится, так это... Многие знали — Дамба в аховом состоянии. И никто, ни одна живая душа не забила тревогу. Не забила аврала!.. Кто-то знал — и не ударил пальцем о палец. Кто-то не знал — потому что не хотел знать! Выходит, всё равно нам — какую воду пить, каким воздухом дышать. Какую землю топтать ногами... А теперь ещё и Реку убили...

* * *

Первым вышел из приёмной Ротов, поправил на ходу по привычке узелок галстука. Каблуки его туфель чётко и одиноко застучали вниз по мраморным ступеням пустынной в эту минуту лестницы. Следом за ним вышли два заведующих отделами — свернули вглубь бесшумного коридора.

Куклин остановился на площадке, закурил, стал медленно спускаться, скользя ладонью по перилам. Его нагнала Перепёлкина. В руке она держала пачечку потертых бумажек.

— Павел Кузьмич, вы документы на столе оставили.

Куклин оглянулся:

— Спасибо, Анна Сергеевна, — взял протянутые ему бумажки. — Это мои старые заявки в Госснаб, — усмехнулся, подошел к урне в углу. — Всё как-то недосуг было выбросить...

Из дверей горкома вышли вместе. На крыльце, обведённом парпетом, остановились.

В воздухе пахло нагретым камнем, заводскими, прибитыми к земле неустойчивой погодой дымами.

— К грозе идёт, — сказал Куклин.

Перепёлкина оглядела засмурневшее небо.

— А я опять зонтик забыла.

Помолчали.

— А девочка эта, кажется, кстати ворвалась. Не считаете? — сказала Перепёлкина.

— Может быть... может быть... — покачал головой Куклин. — Во всяком случае, мы в её возрасте на такое не были способны, это уж точно, без булды, как говорят нынче.

Перепёлкина улыбнулась грустно. Они кивнули друг другу и разошлись.

22

Больница бревенчатая, одноэтажная, но по сельским меркам вместительная, с новой пристройкой. Стояла в центре посёлка, отгороженная от улицы палисадом. Пихты, березы, высаженные в унылом порядке, росли густо, однако из окна всё же видно кое-что, а именно: угловая часть пристройки, за ней — штакетник и жилой дом с синими ставнями, дальше — огороды, огороды и километрах в двух — затянутый хвойной тайгой склон горы.

Под горой Река, хотя отсюда о ней можно только догадываться — по вырубленной на склоне проплешине с белеющими многоугольниками навигационных знаков.

Когда Алёшу и Виду поместили сюда, в эту крохотную комнатку, наскоро приспособленную под лечебную палату (мест не хватало), и они остались вдвоём, Алёша подошёл к окну с двойной рамой и мутными квадратами стёкол, окинул сквозивший в них вид, сказал бодро:

— Ну вот, накупались, теперь будем тут загорать, пока не облезем.

Фраза эта так понравилась Вике, что она предложила написать её на открытке и с помощью медсестры отправить домой, в город.

Однако по прошествии долгих суток во многом непонятного, всё более пугающего и совершенно бессмысленного, как им стало казаться, сидения в этих стенах настроение их резко пошло на спад. По шумам, сквозь двери и дощатые стены, по обрывкам разговоров медперсонала они понимали: больница переполнена. А сознание того, что не одни они влипли в эту кошмарную историю, утешало слабо.

Первой стала проявлять беспокойство Вика. Вернулась с утренних процедур хмурая, молчаливая, и когда сестра привычно щёлкнула за ней ключом, Вику передёрнуло, точно щелчок ударил ей между лопаток; прошла и тихо легла на свою койку.

От ужина она отказалась, встала на минуту только чтобы хлебнуть из стакана киселя. Глоток этот вызвал на её лице такую гримасу отвращения, что Алёша не выдержал, спросил обеспокоенно:

— Что с тобой?

У Вики прыгнули губы, она не ответила, снова влезла с ногами на койку, отвернулась к окну. А там — тот же дом с ядовитосиними ставнями, те же чахлые подсолнухи по краям огородов, бор на дальнем берегу, грязно-зелёный, как стенная панель. Ветер болтал макушками пихт, и сквозь пасмурное небо, грозившее снова пролиться дождём, нет-нет да и промелькивало, подмигивая, злобное око Луны.

Была Вика в своём пляжном халатике из набивного яркого ситца, и когда она ложилась так, поджав под себя ноги, ситчик туго облегал, обрисовывал её бёдра, талию, и Алёше в такие минуты она особенно нравилась.

Он сел рядом. Становилось сумеречно. Лампа на гибком кронштейне бросала из-под абажура грубое, желтовато-расплывчатое пятно. Вика прислонилась к мужу спиной. Он обнял её, касаясь подбородком её затылка.

Минуты протекли в молчании. Две-три капли туго ударили в

оконное стекло. Глядя, как следы их напиткиваются отраженным светом, Вика заговорила тихо:

— Помню, в детстве, мне было лет десять, мы с моей подружкой купили арбуз. Причём выбрали самый большой, я еле подняла. И тут пошёл дождь. Арбуз стал выскальзывать из рук. Чтобы не уронить, я опустила его на мостовую, и мы его покатали! Прохожие бегут под зонтиками и смеются, а мы катим. Представляешь, как два жука-скарабея... — она вздохнула. — Сейчас думаю: господи, детство — какое искреннее, какое простодушное время...

Из коридора проникали какие-то глухие, казавшиеся Вике загадочными шумы. Будто против них двоих тайно готовился заговор. Кто-то шёл, шёл — и внезапно остановился, замер. Тележка прокатилась. Звякнули ключи на связке...

— Чем так воняет? Чувствуешь? — спросила она.

— Да ничем вроде, — сказал Алёша.

— Нет, воняет! Точно, луком жареным. На сале! Фу, как гадко... — она шевельнулась в его руках, вздохнула обиженно: — Я уколов боюсь, а эта мне уже четыре всадила. Больно, ужас. Уколоть толком не может! Спрашиваю: на ком училась? На себе, говорит, а что? А я думала, говорю, на покойниках... Так обиделась! Подумаешь... — Вика с капризной гримасой вдруг оттолкнула его руку. — А ты на неё всё таращишься. Что в ней, кроме мордашки? Хотя удивительно даже, что в такой дыре... Ты о чём с ней вчера шептался?

— Да ни о чём. Хотел узнать, надолго ли нас сюда.

— Так она и сказала! Да она сама ни фиги не знает. К тому же глупа. Обиделась — и сразу: «Больная, не напрягай ягодичную мышцу, иголка не лезет...» Какая я ей больная?

— Ну, раз мы в больнице, значит, для них больные. Так принято, — сказал Алёша примирительно. — А ты, между прочим, ей понравилась.

Вика усмехнулась недоверчиво:

— Так уж...

— Точно. Она сама мне сказала: какая славенькая у вас жена.

— Правда?.. Гм. — Вика задумалась. — А ты знаешь, кто-то верно заметил: когда дурак похвалит нас, он уже не кажется так

глуп... — засмеялась, теснее прижимаясь спиной к Алёше.

Тот прикоснулся губами к её затылку.

— Э, да ты, кажется, трусишь?

— Ни капельки, с чего взял? — Вика окинула глазами комнату.
— Вот только сидеть тут арестанткой противно... Эти отражения в окне... Эта лампа, как кобра. Луком воняет! — она прислушалась.
— Кто-то всё ходит. К нам что, в самом деле охрану приставили?

— Это дежурная прошла, — успокоил её Алёша.

— А почему всегда на ключ?

— Ну... наверно, чтобы кто случайный не ввалился.

— Так всё серьезно?

— Просто такой порядок. Да ты не думай об этом.

— Лёш, а Лёш, у тебя голова не болит?

— Нет.

— А температуры не чувствуешь, не лихорадит?

— Нет, нисколько.

— И не тошнит?

— Абсолютно. А что?

Вика потрогала рукой горло.

— У меня что-то немножечко тут... подступает.

— А голова? Температура?

— Это нормально, — она затихла, как бы прислушиваясь к себе, вздохнула затаенно: — Знаешь, самое ужасное, что я ни фиги не понимаю. Что все-таки произошло? Ты что-нибудь понимаешь?

Алёша не ответил.

— Почему ты все молчишь? Это же твой завод.

— Да, мой, — сказал Алёша. — И я бы дорого дал, чтобы оказаться сейчас там. И увидеть своими глазами... Тому, что тут кругом говорят, я не верю. Какая-то обывательская чепуха... Тошнит?

Вика кивнула.

— Ага... — поднялась, прошла к тумбочке, на которой стоял их транзистор. — Может, поймать что?

Алёша внимательно посмотрел на Вику, с ней что-то происходило — непонятное, тревожное. Неожиданно в глазах её заблестели слёзы.

— Я обманула тебя, Лёшенька, что не боюсь... Мне страшно...

— Да какая ерунда. Что страшного-то?

Вика обхватила себя за плечи, сжалась:

— Я вдруг подумала: а что, если мы больше не выйдем отсюда?

— Ну ты даёшь!.. Да почему? — Он опустился на колени рядом.

— Не знаю. Тогда в палатке, на берегу, совсем ведь не страшно было. Это я так. Чепуху всякую молотла. Просто я была такая счастливая, а ты дрыхнешь. Я всё спрашивала себя: да за что мне такое счастье, это неспроста... Лежала и думала: мы будем старенькими, и я всё равно буду любить тебя, страдать, если ты не рядом... И даже не так страшно было в Реке, когда она вдруг запенилась, заблестела чёрным, как змея. И я из сил выбилась, и ты ко мне кинулся. А вот тут сейчас... — она склонилась к нему, обняла за шею. — Скажи: с нами ничего не случится?

— Абсолютно. Ты веришь мне?

— Ещё спрашиваешь!

— Вот и всё, — сказал Алёша. — И не надо больше. И успокойся... забудь. Смотри, ты вся дрожишь. Что с тобой? Ты ж была молодцом. Мы оба смеялись над этим приключением. Весёлую открытку домой сочинили...

Он на полуслове умолк, поймав на себе её встревоженный взгляд. С нарастающей подозрительностью Вика вглядывалась в Алёшу:

— Ты врёшь... Ты что-то знаешь.

— То же, что и ты.

— Нет. Ты шептался! А теперь скрываешь, — оглянулась на дверь, помяла рукой горло. — Я не могу больше здесь... этот отвратительный лук!.. Открой окно!

Ничего не понимая, обескураженный, Алёша послушно прошёл к окну. В стёкла уже давно били струи косого с ветром дождя.

— Не открывается, — проговорил он растерянно. — Глухая рама.

Вика скорчилась на койке, заплакала:

— Разве здесь тюрьма?! Меня тошнит!

Алёша быстрыми шагами вернулся. Присев рядом, привлек к

себе:

— Сейчас это пройдет... Ты переволновалась.

Вика с силой, которая неизвестно откуда взялась у неё, оттолкнула его, кинулась к двери. Ударила в неё кулаком, навалилась плечом — раз, другой.

— Откройте!.. Выпустите нас! Мы не больные... и не преступники! Я не могу больше здесь!..

Алёша схватил её за плечи, затряс, пытаясь хоть как-то привести её в чувство.

— Не надо... не смей! Успокойся, прошу... Мне стыдно за тебя! Ты всю больницу на ноги...

Вика — сквозь спазмы рыданий:

— Не трогай меня... Не прикасайся! Не могу больше... — притиснутая к двери, изо всех сил долбанула в неё пяткой. — Откройте нас!

— Спят же! Ну Вика!

— Пускай спят... ненавижу... — отбиваясь, выдыхала она. — Пусти руки... этот твой завод... Сколько помню, только и делает... дымит... отравляет воздух.

— Замолчи! — в бессилии остановить этот дикий, непонятный ему взрыв, Алёша вдруг хлестнул её по щеке.

Вика, ошеломлённая, враз смолкла. Глазами, полными слез, потрясённо уставилась на мужа.

— Наш завод в войну страну спас! А ты!.. — добавил тот в запале.

Вика — шепотом, в ужасе, ещё не до конца веря:

— Ты?.. Меня? — и дрожащим пальцем ткнула себя в щеку. — За что?

— За то!.. Не знал, что ты такая... истеричка.

С тихими всхлипами Вика спиной сползла по косяку, села на порожек, уткнув лицо в ладони. Бугорки позвонков на её оголившейся худенькой шее отрезвили Алёшу, явили ему всю боль её беззащитности, всю неоправданность его собственного проступка.

— Ну пойми, не одни мы здесь. Полная больница. Почему другие могут, а ты нет...

Вика — плача:

— Выходит, я для тебя всё равно что другие? Да?

«Час от часу...» Алёша, окончательно обескураженный, обнял её:

— Вика... родная. Ты сама не понимаешь, что кричишь. Кругом же люди... больные. Ну прости. Ударь меня, если хочешь... — повел к койке, усадил на одеяло. Она молчала в трансе, безучастно подчиняясь. — Успокойся, всё будет хорошо. Я идиот. Сейчас попытаюсь поднять дежурную, у неё что-нибудь найдется...

Вика болезненно сморщилась, затеребила ворот халатика.

— Никого ты не подымеешь, все спят. А мы под замком. Лёшенька, — сказала она вдруг глухим, изменившимся голосом. — Мне плохо... мне в самом деле плохо. Задыхаюсь... тошнота... Я умру тут... — и уже с отчаянием: — Да сделай же хоть что-нибудь!

Алешу снова охватила растерянность — что? Что, чёрт побери? Оглядел лихорадочно комнату — ничего не попалось. Схватил с тумбочки транзистор. Размахнулся и с силой, как кирпич, швырнул в окно. Зазвенели стёкла. Вместе с ночной свежестью на подоконник, на половицы вихревой ветер бросил пригоршни дождя...

23

Отпустив людей (и попросив задержаться Анохина), Каржавин некоторое время ходил по кабинету. Раза три подошел к окнам, взглядывал вверх, где опять насупливалось небо. Много выпало ему передумать и перечувствовать за последние сутки, на многое, что представлялось прежде очевидным, взглянуть по-иному — не напрасно, как выясняется. Но неужто для этого надо платить столь высокой ценой?..

Анохин продолжал сидеть на прежнем месте, за длинным столом заседаний, опустив голову, явно расстроенный; курил, тщательно сбивая пепел о ребро пепельницы.

Телефоны странно молчали.

Перестав наконец ходить, Каржавин подошел к Анохину.

— Ах, дьявол, занесло, — сказал он и поморщился. — Знаешь, Саша, слушаю Перепёлкину, смотрю на её веснушки, а сам думаю. Ведь она — одна из немногих, кто болеет за дело сердцем. Но как

же неудобно, должно быть, живётся ей. Не раз ловил себя: чем-то задевает, больно царапает, вызывает... душевный уют, что ли? Да и просто иногда раздражает. Вот как сегодня. Чем же? Неуж этой самой прямоотой?.. Неуж, Саша, стареем?. Душа уют просит? Покой? А давно мы распевали: «Только нам по душе непокой!» — он отодвинул по столу дымящуюся пепельницу. — Ладно, замнём. Скажи лучше, как твои близнецы-короседы? Седьмой закончили?

— Юрий Иванович! — протянул Анохин укоризненно. — В техникуме уже!

— Фу, черт! Как чужие-то растут... Женихаются, поди, уже во все лопатки?

— Это, брат, скрытый процесс.

— Скрытый — это уж точно, — засмеялся Каржавин. — Ох, какой скрытый. А потом — ох, какой раскрытый... Кем захотели быть?

— Программистами. Не тят-ляп!

— Оба? Ну молотки. Трудные — честно — ребята?

— Да как тебе... Бывают, конечно, сбои с курса, но — в пределах... Они у нас с женой, считай, с самого детства — как самонаводящиеся ракеты. Только общего направления требуют, — усмехнулся он.

— Завидую. Как вам удалось?

Анохин прищурился, затягиваясь сигаретой.

— Тут больше жена.

— Вот и у меня — жена... — Каржавин покачал расстроено головой. — А в результате?.. Эх!..

— Я уже понял, — сказал Анохин. — С дочкой что-то. С Зоей...

— Побеседовали мы тут... по душам. — Каржавин с силой провел ладонью по столу, будто пытаясь стереть что-то. — Ты же меня знаешь. Могу два часа держать любую аудиторию. С родной дочерью — спасовал. На какие-то её откровенные вопросы не смог... ну честно — не знал, как ответить. На какие-то — напрямую — не решился. Инерция проклятая. Как стронций в костях.

Анохин тщательно мял в пепельнице окурок.

— Просто мы ещё самим себе не прояснили правду прошлых лет... — сказал он. — Что всё-таки случилось?

Каржавин — с горькой усмешкой:

— Дома-то — измена...

— Чего-чего?

— Да не в том смысле... В тылах-то — прорыв. А силёнка-то уже не та!.. И я — веришь, нет — запаниковал. Элементарным образом... Возьмём мотор. Самую большую нагрузку испытывает он — когда? В пусковой момент! Именно тогда горят предохранители... Меня временами охватывает ощущение, что все годы моей тут работы — это сплошной пусковой момент...

Он умолк. Анохин длинно вздохнул, и неясно было — согласен или просто по-товарищески сочувствует.

— Ты случайно не знаешь, — спросил вдруг Каржавин, — что это значит: наступит время, когда женщина будет счастлива постирать мужчине рубашку.

Анохин поднял на него озадаченный взгляд, подумал — усмехнулся:

— Наверное: берегите мужчин!

— Я серьезно.

— А если серьезно — что-то библейское, иносказательное. Аллегория, словом.

— Библейское? Ты хочешь сказать, что ты читал Библию?

— Читал.

— Библию?!

— А почему тебя это удивляет?

Каржавин встал, пошел вдоль стола, сосредоточенно поправляя стоящие вкось и вкривь стулья. Потом так же молча вернулся, будто важное дело сделал, покачал головой:

— Да нет, ничего. Это я так.

Анохин тоже поднялся — чтобы идти. Сказал сдержанно-ободряюще:

— Не казись. Перемелется.

Каржавин, идя с ним до двери, взял его за локоть.

— В гости бы с женой заглянули когда, — сказал он.

— Скоро День металлурга, — поколебавшись, ответил Анохин.

— Да нет, ты не понял. Просто так. Без дня.

— Просто так?.. Гм... Лады. Созвонимся.

— А если без звонка?

Анохин засмеялся:

— Чтобы твоя жена нас за сумасшедших приняла?

Зашуршал динамик переговорника, и голос Раи, как всегда спокойной, с легким придыханием:

— Юрий Иванович, прошу извинить, но это очень важно. Возьмите трубку радиотелефона.

Каржавин пожал руку Анохину, вернулся, поднял трубку.

— Командир?.. Алё-алё! Слушаю, командир. Да-да, Каржавин... Так... Так... Даже двоих? А кто второй?.. Ясно. Понял. Какая больница?.. Хорошо. Молодцы, парни. Экипажу — моя личная благодарность. Камень с души, — нажал клавишу переговорника, наклонился: — Рая, мне главврача больницы гидростроителей.

Через минуту Рая сказала:

— Линия на гидрострой на повреждении. Пообещали минут через тридцать-сорок.

— Хорошо.

24

Каржавин посидел, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза. Потом встал, прошел в комнату, где на кушетке полулежала, поджав ноги, Зоя. Одним ухом в подушку. Другое ухо зажимала крепко ладонью.

Он присел к ней на край кушетки, она повернулась к нему с гримасой на лице, убрала от уха ладонь. Тотчас же комната тихо наполнилась беспокоящей Зою загадочной мелодией. Звучала она из самых стен, из мебели, из свисающей с потолка стеклянной люстры.

Каржавин сказал хмуро, но с явным облегчением:

— Нашли твоего химика-изобретателя. Живой, живой... Воды нахлебался. Летчики передали в больницу гидростроителей.

Зоя торопливо села, прислонила голову к отцову плечу.

— Папа, дай машину!

— К нему всё равно не пустят.

— Значит, всё-таки серьезно?

— Он в изоляторе, — пояснил Каржавин. — На карантине теперь посидит.

— На чем? Какой ужас. Опасность заражения?

Каржавин приобнял дочь одной рукой:

— Сейчас меня соединят с больницей, и всё выясним. Потерпи.

Возникшая пауза снова наполнилась мелодией, мягкой, синкопической. И это уже было выше сил. Зоиные губы жалобно искривились.

— От одной музыки спятишь. Дураки какие-то! Остолопы!..

— Музыка? — удивился Каржавин. — Откуда?

— Да вот же! Через улицу. Из кафе, — она капризно передёрнулась. — Позвони им, козлам, пусть заткнутся... Два часа пият одно и то же, кретины.

Каржавин, недоумевая, подошел к столику с телефоном, взял трубку, но тут же положил:

— Но я не слышу никакой музыки.

Зоя вскочила на ноги. Откинув с окна тяжёлую штору, захлопнула форточку. Вернулась. Однако мелодия продолжала звучать с той же силой.

Каржавин спросил:

— Он у нас хоть дома-то бывал?

— Нет, — сказала Зоя. — Ни разу.

— Что, тоже гордость мешает? Обмануть тебя — не помешала... Узнаю молодых да хватких.

— Папа, не впадай в занудство.

— Как ты всё-таки огрубела.

— Не обижайся. Я просто, наверно, изменилась. А ты проглядел...

Зоя положила ладонь на руку отца:

— Только честно. Есть в твоей работе место, ну... вдохновению? Скажем так. Испытываешь ты хоть иногда душевное удовлетворение? Какое испытывает, скажем, художник, изобретатель?

— Я удовлетворение своё, дочь, испытываю в другом. Я радуюсь, когда удаётся снести барак, а людей переселить в новый район...

Ответ Зою не удовлетворил, но всплывшая пауза чем-то счастливо сблизила обоих.

— Я, знаешь, чего боюсь? — сказала она. — Остаться на всю жизнь серой. Одеваться, как все. Думать, как все. Выйти замуж, а потом сидеть на лавочке и нянчить детей... Боюсь страшно равнодушия, недоброты. Рыбьих глаз из-за прилавка... С кем бы я могла делиться всем этим? С мамой? С тобой?.. А он меня понимает. Что я хочу многое увидеть, прочитать, сделать открытие...

— У тебя ребёнок будет, а ты — увидеть, сделать открытие. Дорожку между детской кухней и консультацией скоро открывать будешь... Идеалистка.

— Папа, да обманула я тебя. Не будет у меня никакого ребёнка. Не беременна я...

Каржавин от этого её признания оторопел. Совсем сблажала девка. И посмотрел на неё таким взглядом, что она поспешила объяснить:

— А чем я ещё могла тебя пробить?.. Скажи!..

— Пробить, — буркнул он. — Словечко откопала. Я что же — крепостная стена?.. — он вздохнул, убрал руку из-под её руки. — Ну ты и артистка! Выходит, всё остальное — тоже обман?

Возникшая после этих слов пауза теперь уже чем-то опять их отдалила. Сидя рядом с отцом на краешке кушетки, Зоя обхватила себя за плечи, сжалась.

— Всё остальное?.. — сказала она. — Я люблю Андрея. Не было в моей жизни ничего счастливее и больнее его. И если с ним что-то... я не переживу... Поверь, это самое серьёзное из всего, что я тут нагородила, — она провела по горлу ладонью, призналась: — Мне как-то беспокойно сейчас, нехорошо. И ещё идиотская музыка эта. Знаешь, я, пожалуй, пойду. Ты мне позвонишь домой? Только сразу-сразу, ладно?

— Погоди, вызову машину.

— Нет, хочу пройтись, подышать воздухом.

Он проводил её до дверей кабинета.

25

На приставном столике коротко гуднул красный аппарат. Каржавин отвел взгляд от окна, в стёкла которого постукивали первые капли. В голове у него тяжелело, и глаза были точно запорошены песком. Если он сейчас же не приляжет, он просто-напросто уснёт за столом.

Взял трубку, услышал:

— Ну-ка признавайся, какому сейчас богу молишься?

Каржавин — с той же ироничной интонацией:

— Да уж на этот случай, Андрей Андреич, у меня один остаётся — бог везения. Выходит, ему.

— По-русски он называется «авось»? — уточнил Первый. — А надо бы молиться матушке Реке. Опять она нас, грешных, выручает. Мы её хлещём, родимую, а она выручает.. В горах хлынули ливни, притоки выносят в Реку массу воды. Это, к счастью, разжижило ваш подарочек. Но всё равно — танки наших водозаборов работают на износ. Город как в осаде. Городской пляж, берега пустынные. Ещё один такой залп — и нас тут нету. Ты понял, Юрий Иванович? Нас с тобой... Всё. Меня Москва по прямому... Ты, кстати, не подскажешь, как мне ей отвечать?

Каржавин молчал.

— Вот то-то и оно... Виновных выяснили? Разобрались?.. Что в молчанку играешь? Имей в виду, всех в шеренгу построю. Лицом к области. И глаз не дам опустить! Всех, начиная с тебя.

Каржавин почувствовал: кровь прихлынула к лицу. Этот тон с **безапелляционностью хлестких**, накатанных фраз вместо дельного совета (их и в **каржавинском** арсенале было предостаточно)... Ещё вчера он воспринимал этот тон как **должное**, почти что **ритуальное** в их иерархии отношений. Иного вроде и не дано было.

Но сегодня...

Он снова глянул в окно, дождь полоскал уже **всерьёз**, грозя **новыми** пакостями. И проговорил в трубку с **тяжёлой, непривычной, слегка пьянящей раскованностью**:

— Если всех — слишком длинная шеренга получится. Аж до области... А то и до самой Москвы.

— Что-что?! Как это понимать?

И Каржавин — уже твёрдо, решительно, будто беда, вставшая за его плечами, не пригибала, а наоборот — выпрямляла его:

— Так и понимать — один буду!

Первый на том конце неожиданно замолчал, засопел — прикидывал. Как же он сейчас прореагирует, какое словцо ввернёт? Похлещё, почувствительней, что означало бы: всё привычно, ничего не произошло. Или всё же попытается всерьёз оценить «нештатность» ситуации? Во всяком случае, заминка эта работала на него, на Каржавина.

Однако Первый произнёс самое непредсказуемое:

— Упористый ты тип, Каржавин. Один так один. Выстрою одного!..

В мембране раздался щелчок брошенной на рычаг трубки. Каржавин медленно положил свою.

26

И в этот момент в кабинет без стука вошла секретарша Рая. Остановилась у дверей. Глядела на него строго, как бы ждала. Каржавин поднял голову. Разве он вызывал? Что это сегодня у всех женщин такие стылые лица?

Рая сказала:

— Сейчас позвонили, просили передать... Ваша дочь, Зоя... подобрана на улице «скорой помощью»...

— Зоя?.. — Каржавин ничего не мог понять, сообразить. — Она же только что... Да что с ней?!

Секретарша — с запинкой:

— Сказали: обморок... на почве беременности...

Первое, что мелькнуло сделать, — крикнуть: враньё! Откуда ты взяла?! Но это было бы глупо.

Он был потрясён, обескуражен.

Рая у дверей не уходила, медлила.

— Машину! — кинул он и шагнул к гардеробу, сдёрнул с ве-

шалки плащ.

На сердце было тяжело, недобро.

Ещё час назад он слышал другое... другие слова. И он поверил им. Не потому ли, что хотел, болезненно желал поверить? Что это желание написано на нём?.. За что же его так-то вот, наотмашь?..

Едва только просунул руку в рукав — на пороге Анохин. Мокрые от дождя, сплюснутые на лбу волосы, тёмные пятна на груди, плечах. Вымок, пока, должно быть, бежал от машины до дверей горкома.

— Юрий Иванович, дежурный пост на гидроотвале подаёт тревогу. Через тело Дамбы снова угрожающая фильтрация в двух местах.

Каржавин отступил от гардероба, продолжая одеваться.

— Та-ак... Гляжу, не Дамба у вас, а тришкин кафтан, — он остался перед Анохиным, ловя болтающийся сзади пояс. — Что с подсыпкой?

— Идёт работа. Медленней, правда, чем хотелось бы.

— В чём же дело?

Анохин смахнул с бровей капли, глянул на ладонь, полез в карман за платком.

— Мост и дорога к карьеру разрушены потоком. Самосвалы вынуждены делать большой крюк.

— Добавьте машин.

— С транспортом сверхнапряжёнка: конец квартала.

— Та-ак... — снова протянул Каржавин. — Выходит, заткнули дырку на скорую руку и опять — российская тишь и благодать!

— Почему же сразу — благодать, — нахмурился Анохин. — Делается всё, что в силах...

— Далеко не всё! — оборвал Каржавин. — Где Ротов?

— На Дамбе. Принимает меры.

— А именно?

— При мне дал команду — часть воды, её верхний осветленный слой, сбросить через сифоны за пределы отвала. Чтобы ослабить давление на Дамбу и выиграть время... Считаю, он прав. Иного выхода нет.

Каржавин насторожился:

— Что значит — «за пределы»? Ты что тут передо мной дипломатничаешь? Это значит — опять в Реку?

Анохин крепко вытер платком лоб, шею, скомкал в крупном своём кулаке, вздохнул:

— А куда там больше...

Шум дождя за окнами нарастал, где-то мягко, перекастисто громыхнуло.

— Мать вашу!.. — не выдержал Каржавин, дёргая перекрутившийся за спиной пояс. И после напряжённой паузы, тоном ниже, что, впрочем, не обещало ничего хорошего: — Александр Петрович, уважаемый. Я не хочу в тебе разочаровываться. Не хочу, понимаешь? Но ты — прости меня — вынуждаешь к тому... Запомни: Дамба сейчас — наш фронт. Днём и ночью... Наша честь и совесть наконец!.. Или и тут вспомнишь наставника?!

Анохин, хмурясь, зашуршал сигаретной пачкой.

— Катер карантинной службы, — сказал он, — обнаружил на речной отмели тело. В спецовке заводской пропуск, но в нём всё размыто... Привезли к нам на опознание.

Оба помолчали. Стучал по карнизам дождь.

— Значит, говоришь, из ваших? — переспросил Каржавин, глядя в пол.

— Из наших, Юрий Иванович, из наших. Как видишь, вина наша — и расплата наша.

— Опознали хоть?

— Опознали, — Анохин, морщась как от боли, вытряс из пачки сигарету, но та оказалась подмоченной; с ожесточением, ломая, стал запихивать обратно, повторил: — Да, опознали. Тот самый. Андрей. По прозвищу Трёхнутый...

Каржавин вскинул голову.

— Что?! Не может быть!!

— Андрей Васильевич Наймушин. Я заглянул в личное дело. Двадцати шести лет... не женат... не судим... не имеет... не состоял...

Каржавин был потрясён.

— ...Развернул я пропуск, а в нём десятка... Каржавин смотрел

на Анохина, не понимая его.

— Саша, дорогой ты мой, да как же так?!

— ...Денежная купюра достоинством в десять рублей... Боюсь, та самая...

Каржавин с усилием отошел к окну, за которым нависла густеющая сетка дождя. Рая с порога: «Машина у подъезда». Он не услышал.

Стоял, клоня плечи, сцетив за спиной побелевшие пальцы. Смотрел.

Ломающиеся сквозь водяную плёнку контуры проспекта. Зыбью плывущие по сторонам чёрные кроны тополей. Истекающие матовым блеском округлые спины автомобилей. Качающиеся пьяно по стеклу «дворники». Мокрые суетливые зонтики прохожих. Дрожащий в зеркале асфальта красный огонь светофора. Неуклюжий рогатый троллейбус, сыпанувший на повороте горстью белых тяжёлых искр...

Всё неустойчиво, зыбко, и в то же время за всем этим — деловая, будничная жизнь города, в каменном лике которого вряд ли можно было угадать его напряжённые, болевые точки.

Его города...

27

Июльские ливни, пришедшие на смену затянувшемуся зною, освежили никлую зелень полей, обморочно дремавшую в мареве тайгу. И Река в яростной своей самоочистительной силе, подпитавшись ожившими бурно притоками, стала заполнять древнее, исконное русло, заново просасывать усохшие в завалах плавника проточки, захлёстывать угнетённые болотным ржавцом старицы.

Косяки смытого сплавного леса заблестели ободранными боками, игриво закувыркались в бешено кипящих каньонах.

Вечерами сквозь пелену промышленных дымов прорывалось Солнце, опоясывая небо огненными лентами закатов.

Водозаборный канал Завода сыто ворчал, всхлюпывал, отбрасывая на загрязительные решётки ошмётки вздувшейся пены, прихваченный с речных берегов хлам и мусор.

Стоически расчищая пробки замытых родников, нешумливо, робко крался к Реке ручей Есаулка — трепетная жилка на теле Земли...

К перелому влажной и душиной ночи заволок туч вдруг рассекся, и оцепеневшему под обвальными ливнями Городу явился лик Луны — безмолвно-насторожённый, холодно мерцающий, расписанный тайными каббалистическими знаками.

И долгую минуту, как тучи сомкнулись, воздух продолжал полниться этим зыбким мерцанием.

ПЕЩЕРА

Повесть

Знаменитый Чуйский тракт вьёт и вьёт свои бесконечные петли. От этого однообразного кружения клонит в сон. Лида, привалившись к соседке, дремлет. Открывает она глаза оттого, что автобус, замедлив ход, ныряет в ущелье. Они едут по бому — узкой каменной полке, вырубленной в отвесной скале. Внизу шумит вспененная Катунь. Смотреть туда страшновато.

Далеко впереди в тесный коридор дороги втягивается стадо. Шофёр тормозит впритирку к каменному барьерчику, отделяющему дорогу от пропасти, глушит мотор. Ничего не поделаешь, такой порядок, надо ждать, пока пройдет стадо.

Первыми идут сарлыки. Маленькие горбатые животные косятся на машину, раздувают ноздри, хрюкают, как свиньи. На брюхе шерсть, длинная, до земли. Они жмутся к скале, однако, подгоняемые бичами погонщиков, галопом проносятся мимо машины.

Потом пошли овцы. Впереди вожак — крупный, с мощными рогами баран. Рога оттягивают голову назад. Шагах в двадцати от машины он останавливается, испуганно озираясь. Вместе с ним стоят, как загипнотизированные, передние овцы. Отара сзади напирает, и вожак упрямо бороздит копытами дорогу. Погонщик далеко. Его лошадь, затертая живой массой, не может ступить шагу.

У сидящих в автобусе в недобром предчувствии сжимается сердце.

— Дурак! Трусливый дурак! — наивно тараторит Лидина соседка. — Рога нажил, а ума нет! Трус рогатый!..

А отара всё напирает. Погонщик спрыгнул с лошади и по спинам животных пытается пробраться вперёд. Овцы испуганно блеют, задирая морды. Баран затравленно вертит рогатой башкой, глаза его наливаются кровью. Шофёр запоздало нажимает на стартер, чтобы сдать назад.

«Не надо!» — кричит погонщик.

Но уже поздно.

Баран, испуганный взрывом мотора, кидается влево к скале, потом вправо к барьеру и неожиданно, с коротким пронзительным блеянием, перемахивает барьер, исчезает под обрывом. Лидина соседка вскрикивает, закрывает руками лицо.

И тут начинается самое страшное. Овцы, фанатично следуя за вожакom, начинают одна за другой перемахивать барьер.

Из-за шума реки и рева ошалевшей отары падений не слышно; от этого трагедия происходящего становится особенно отчётливой.

Погонщик наконец добрался до головных. Рискуя быть спихнутым вниз, в пропасть, он вскакивает на каменную стенку и с искажённым от крика лицом бьёт рукояткой бича по тупым орущим мордам.

Овцы шарахаются от барьера. Потом мало-помалу заполняют узкую щель между скалой и автобусом. Когда отара проходит, погонщик тяжело взбирается в седло, подъезжает к машине.

Вытерев шапкой лоб и скулы, просит закурить. Крепкими зубами прикусывает папиросу, глубоко, жадно затягивается. Лида видит, как дрожат его пальцы, перебирающие поводок уздечки.

И потом всю дорогу до Горно-Алтайска перед её глазами стояло молодое, блестящее от пота лицо погонщика и его сильные руки, вздрагивающие от пережитого напряжения.

Тётка не высказала большой радости по поводу приезда племянницы. Однако и не выразила неудовольствия. Приехала, ну и живи, тем более что племянница — девушка вполне самостоятельная, закончила курсы швей и на чужой шее сидеть не будет.

Она устроилась в мастерскую и тут же написала матери, что дела у неё идут хорошо и город ей нравится. В конце все же оговорила, что готова вернуться домой, как только там найдётся работа по специальности.

Днем она трудилась в мастерской, а вечерами дома шила, продавала на рынке. Тётка целиком была занята хозяйством и семьёй, и Лида жила сама по себе. Подруг у неё не было, да она и не цыгалась их заводить. В детстве она после неудачной операции долгое время страдала пухотой. В играх со сверстниками не участвовала — её дразнили. И как все дети с физическими недостатками, была замкнутой и впечатлительной.

В один из воскресных дней Лида познакомилась на рынке с пожилой женщиной, торговавшей вязаными кофточками, шарфиками, беретами. Ей очень понравились кофточки. Женщина, участ-

ливо поговорив с ней, предложила научить этому нехитрому делу — вязанию кофточек.

Они стали встречаться.

Сидя где-нибудь в скверике или на скамейке чужого двора, Мирония (так звали женщину) обучала Лиду приёмам вязания. Сама она вязала очень ловко, почти не глядя накидывала петли. Костяной крючок так и мелькал в её сухих цепких пальцах.

Так же ловко и плавно она умела говорить. Из-под тёмного, наглухо повязанного платка на Лиду смотрели острые пронизательные глаза. Дряблое, со старческим блеском лицо Миронии всегда было печально, и, слушая её ровную, как вязание, речь, девушка мало-помалу проникалась к ней доверием.

— Ты, сестричка моя, — говорила Мирония, — очень молода. Но ты познала уже, что повреждает душу. Ты повинешься во всём воле своей, а это уже нехорошо.

— Почему — нехорошо? — спрашивала девушка.

— Потому, что это противно воле нашего Спасителя.

— А кто ваш Спаситель?

— Я говорю о Боге, — Мирония поднимала глаза к небу, крестилась двумя перстами. — Бог — он, сестричка моя, невообразим по своему существу и непостижим для нашего разума. Он вызвал к бытию всё видимое, создал человека и ввел его в рай. А человек, по зависти диавола, впал в преслушание. Спаситель наш, победив смертью своей диавола, восшёл на небеса и нас призывает туда же...

— Вы так странно говорите...

— Не я так странно говорю. А ты, сестра моя, живущая по своей прихоти, так странно смотришь на истины жизни духовной...

Мирония, собрав в кошелку вязание, уходила. А девушка ещё долго сидела на скамейке, наедине с охватившими её чувствами.

После этих ласковых и тихих бесед на душе оставался лёгкий осадок грусти. Хотелось почему-то вспоминать трудные моменты своей жизни — гибель отца, полуголодное детство, ужас и стыд глухоты, одинокие игры с тряпичными куклами, все большие и маленькие обиды; вспоминать и кому-то жаловаться, жаловаться...

Жизнь в Горно-Алтайске среди чужих людей, работа в мастер-

ской давали мало радостных минут. И перед Лидой постепенно встал тяжёлый, как глыба на тропе одинокого путника, вопрос: для чего живёт человек?

В самом деле, для чего? Чтобы есть, спать, работать, дать жизнь детям и безропотно дожидаться старости? А дети начнут всё сначала? Но зачем это? Кому это нужно?

Сидя над стрекочущей машинкой, Лида до головной боли думала: зачем? зачем? зачем?..

Встречи с Миронией продолжались. Девушку смущало лишь одно: почему новая знакомая встречается с ней где угодно, только не у себя дома. Однажды она осторожно спросила об этом. Мирония, смиренно взглянув на девушку, сказала, что у неё нет дома.

— Как нет? Но вы же где-то живете, ночуете? — удивилась Лида.

— Нету дома у меня, — повторила Мирония, и лицо её сделалось скорбным и даже в чём-то несчастным. — Есть только пристанище.

— Пристанище?

— Владыка наш — терпеливо пояснила Мирония, — провёл земную жизнь странником, не имея дома. Если он, творец наш, не имел, где приклонить голову, то я, несчастный человек, почему должна высокомудрствовать о себе?

«Действительно, почему?» — подумала Лида, и с этого момента тетушка Мирония с её набожностью и непривычно ласковыми речами стала расти в её глазах. «Что у неё за вера такая, что она на всё имеет готовые ответы, ни над чем, кажется, не мучается и ни о чём не переживает?»

...В этот небольшой южный город поезд пришёл ночью. Среди немногих пассажиров на перрон вышли две укутанные в платки женщины — старая и молодая. Они торопливо перешли площадь, сели в такси, которое давно ожидало их. Машина помчала по широким пустынным улицам.

Стояла глубокая осень. Ветер гулял по опавшим садам, приносил в машину запахи прелой листвы, фруктов. Таксист в расшитой

тюбетейке и с перстнями на пальцах, не спросивший ничего, не проронивший за всю дорогу ни слова, после долгих петляний остановился возле дома на одной из окраинных улиц города. Дом был обнесён глухой оградой-дувалом, а во дворе гремела, бегая вдоль проволоки, как трамвай, огромная собака.

Через минуту щёлкнула калитка. Две женские фигурки, словно две тени, исчезли за высоким дувалом.

Дом, в который так неожиданно попала Лида, порастил царившей в нём тишиной и загадочной умиротворённостью. С улицы, отгороженной дувалом и стеной деревьев, не доносилось ни звука. Редкое шарканье ног, разговор вполшёпота глохли в коврах, в бесчисленных складках занавесей, шторок, покрывал.

Тишина была тем более удивительной, что дом кишел людьми.

В первые дни, бродя по дальним комнатам, Лида то и дело наталкивалась на молчаливые коленопреклоненные фигуры. Женщины в чёрных до пят платьях были похожи на ожившие тени. Были тут и мужчины. Их аскетически-скорбные лица пугали. У неё было такое чувство, словно где-то за стенкой лежит покойник.

Поместили её в крохотную полутемную комнатку с голыми стенами и тремя железными кроватями. Здесь уже жили две девушки: Августа и Катерина.

Августа — маленькая и толстенькая, вечно в пимных калошах на босу ногу, с круглым и невыразительным лицом, не понравилась Лиде. С самого утра, истово помолившись и пожевав постный завтрак, садилась она переписывать в тетрадку всяческие мудрёные изречения святых отцов. Или учила наизусть молитвы. А их была тьма, на все случаи жизни. При этом полные губы её шевелились, а на висках выступал пот — так она старалась.

Катерина же — была её прямая противоположность. Тоненькая и смуглая, как южанка, неусидчивая. Большие глаза Катерины были всегда тревожны, будто она постоянно жила в ожидании какой-то опасности. Когда, ложась спать, девушка сбрасывала тяжёлое и грубое платье послушницы, Лида любовалась её стройной фигуркой, завидовала её красоте.

У Катерины были прекрасные волосы, она заплетала их в косу, а вечером, перед сном, расчесывала большим, похожим на полумесяц гребнем. Тугой блестящий ливень падал на голые плечи; под гребнем синими искрами бушевали крохотные грозы.

Однажды Лида не выдержала, простодушно сказала ей, всплеснув радостно руками:

— Ой, Катенька, какая ты красивая...

Но Катерина, сделав вдруг испуганное лицо, пробормотала:

— Что ты, Лида, что ты. Ведь так говорить — грех. — И почему-то оглянулась на Августу.

На следующий день тетушка Мирония, зайдя в комнату, положила перед Лидой раскрытую книгу и как бы невзначай ткнула пальцем в строчки. Лида прочитала: «Любострастное осязание своего и чужого тела есть нечистота».

Господи, подумала она, склонив вспыхнувшее краской стыда лицо, какая я, оказывается, порочная! Что же будет?..

Лида чувствовала благоговение перед тетушкой Миронией. Может быть, именно поэтому она ни разу всерьёз не задумывалась о столь быстрой перемене своей судьбы. Если тетушка говорит, что так надо — пусть будет так. Она добра и ласкова и — главное — бескорытна... Она даже билет купила Лиде на свои деньги.

— Самое важное для истинного православного, — втолковывала Мирония, — стяжание вечного спасения. Ему нужны в земной жизни одежда, питание и другие подобные потребности. Но спасение! — Голос её при этом переходил на свистящий шепот, а глаза сухо и пронзительно впились в Лидино лицо. — Но спасение нужнее всего! А обрести вечное спасение можно только праведной жизнью!

Ее гладкие, гипнотически страстные речи ошеломляли девушку; из мира простых и привычных понятий они медленно, но верно уводили в иной мир — таинственный и тревожный. «Небесный Дух», «Вознесение», «Божья Благодать», «Вечное Блаженство», «Таинство Души» — все эти слова почти ничего не говорили уму, зато от них сладко щемило сердце и на глазах невольно выступали слёзы.

В этой чистенькой полутёмной комнатке-келье, пропахшей сладковатым запахом стеарина, отгороженной от внешнего мира высоким забором и неусыпным оком инокини Миронии, для Лиды начались дни, заполненные чтением священных текстов, молитвами, душеспасительными беседами сестёр и братьев.

— Ум молится словами, а сердце — плачем, — говорила Мирония. — А плачем доставляется совершенство и безгрешие.

И Лида молилась и плакала. Плакала искренне и тяжело, до сердечных болей и полной потери сил. Мысль её словно оглохла, и она жила в этой вязкой глухоте, выполняя всё, что от неё требовала инокиня.

Но вскоре произошел случай, в котором характер Миронии проявился по-иному.

Поздними вечерами девушки выходили во двор и в большой фруктовый сад вокруг дома. Эти короткие, точно украденные, прогулки по тропкам тёмного осеннего сада утомляли Лиду не меньше, чем зубрёжка и бесконечные бдения.

Запахи увядших растений, палой листвы кружили голову, составляли тревожно, взволнованно биться сердце. Оставаясь одна, она садилась и смотрела на подсвеченное небо, перечерченное решёткой ветвей. Больше смотреть было некуда. Жизнь, оставшаяся по ту сторону глухого дувала, казалась зыбким, далёким сном. Но думать о ней как об утерянном благе было приятно: это было хоть маленьким, но страданием. Ведь страдая, она приближает себе вечное спасение!

Бродя по шуршащей тропинке вдоль забора (поверх которого густо росли какие-то колючки), она однажды наткнулась на тёмную фигурку, прильнувшую к щели, в том месте, где камень лопнул. Это была Катерина. Несколько мгновений они молчали. Лида испуганно сказала:

— Ведь это же грех, разве не знаешь? Что ты там на улице рассматриваешь?

— Ничего, — ответила Катерина и, помолчав, вдруг проговорила злым прерывающимся голосом: — Что, доносить теперь пойдешь? Иди, Мирония любит, когда доносят!

— Катя, что ты? Что ты? — забормотала Лида.

— А разве нет? Сказано: обличи ближнего своего и не понесёшь за него греха!.. Иди, иди! — бросала ей в лицо Катерина. — Августа доносчица, хотя и дура, ты, видать, тоже. Все вы тут доносчики и шпионы!

Она прислонилась к камню забора и заплакала. Лида, обескураженная, стояла рядом. Катинo откровение было слишком неожиданным, чтобы сразу понять и принять его.

Она стала успокаивать девушку, уверять, что никому не собирается доносить. Постепенно Катерина затихла. Возвращались они вдвоем, чувствуя, что с этого момента стали чем-то ближе друг другу.

Ночью, когда уснула, засопела Августа, Катя перебралась к Лиде и шёпотом рассказала ей о себе.

...Лет до семи Катя жила с родителями в Барабинске. У них был свой дом с маленьким огородом, засаженным огурцами, помидорами, корова в сараюшке. Хозяйство вела мать: поливала из длинного шланга гряды, провожала корову в стадо, перегоняла через сепаратор молоко. Отец, инвалид труда, не работал на производстве. У него был красивый, каллиграфический почерк, и он целыми днями занимался перепиской каких-то книг. Ему, кажется, неплохо за это платили, потому что деньги, насколько помнит Катя, у них водились, и немалые. В доме бывали посторонние люди, чаще это были женщины, тихие, молчаливые, одетые во всё тёмное.

Мать была верующей, но верующей как-то несерьёзно, и дочку к вере не приобщала, говоря: пусть она идёт своей дорогой. Отец на это сердился, отчего между родителями часто вспыхивали ссоры.

Всё началось со смерти матери.

Вскоре после похорон отец продал дом и увёз Катю в посёлок, на берегу одного из бесчисленных барабинских озёр. Здесь девочка поступила в первый класс, но школа была начальная. После четвертого класса Катя осталась дома: отец посчитал, что для девочки уметь читать и писать — вполне достаточно. Катя охотно шла с отцом в молеальный дом, воспринимая всё это как забавную игру, в которую с серьёзным видом играют взрослые.

Но, должно быть, материнская кровь в ней была сильнее. Девочка могла посреди молитвы или песнопения вскочить с колен и, засмеявшись, запрыгать неизвестно отчего, просто так, от избытка жизнелюбия. О наказании, которое за этим последует, она в такие минуты как-то забывала.

Потом она стала помогать отцу в переписке текстов. Ей нравилось выводить буквы со старославянским начертанием. Она сразу разделила их на мальчиков и девочек. Девочки были капризные, с завитушками, а мальчики тощенькие вроде буквы «і». Так переписывать интереснее, получалась снова игра.

Как-то зимой (когда Кате было уже 15 лет) отец, возвращаясь из соседнего поселка, куда он относил переписанные тексты, попал в пургу и простудился, слёг в постель. Позвать поселкового фельдшера он не захотел. Уже на третий день от высокой температуры потерял сознание, бредил. Многочисленные тётушки и дядюшки, вдруг неизвестно откуда заполнившие их тесный домик, стали настойчиво внушать девочке, как можно усерднее молиться за отца. Может быть, Бог смилостивится.

Катя так была напугана всем этим — возможной смертью отца, уговорами, уверенным хозяйничаньем в доме чужих людей, — что упала на колени и стояла коленопреклонённо несколько часов, пока не случился с ней обморок.

Организм отца сам справился с болезнью, отец встал на ноги. А к девочке верующие стали относиться с благоговением: ведь она обладает силой молитвы!

Женщины стали брать её с собой в странствия, и куда бы она ни приходила, её там знали, старались угодить, ждали слова.

Кате это нравилось, и, чтобы поддержать в верующих чувство благоговения, пришлось ей тщательно соблюдать уставы духовной жизни. Выучила она несколько проповедей святых отцов. Их образный строй, старинные русские обороты, музыкальность фразы трогали её. И когда она произносила их перед верующими, у неё самой мурашки пробегали по телу — так многозначительно и непонятно, так завораживающе звучал язык проповедей: «Какая твёрдая, какая непоколебимая оборона, какая небесная помощь для

обладания вечными благами заключается в том, чтобы быть свободным от сетей лукавого мира!...»

Росла среди верующих Барабинской степи слава юной и веле-речивой «подвижницы».

Но случилось совершенно непредвиденное, что резко поломало привычный ход Катиной жизни, нарушило так удачно начавшуюся «духовную карьеру»...

Возвращаясь из очередного «странствия», Катя и её спутница, пожилая женщина, задержались, вечер застал их посреди степи.

Их обгоняли редкие машины, но женщины, шагая в стороне от дороги, даже не оглядывались. Перспектива заночевать в степи была малопривлекательной, но что делать, они привыкли терпеть «за веру» не такие невзгоды.

Один из грузовиков, уже обогнав их, вдруг затормозил. Шофёр крикнул:

— Эй, бабоньки, садись, подброшу! — потом, взглядевшись, спросил: — Катя, что ли?

Это оказался их поселковый шофёр, обслуживающий рыболовецкие бригады. Катя его тоже немного знала (встречаясь, здоровались). Звали его Павлом.

К знакомому можно и сесть, тем более — сам приглашает.

Не проехали они и получаса, как мотор застрелял, зафыркал и наконец заглух. Павел, чертыхаясь, полез под капот и надолго застрял там. А женщины отошли, присели на бережок маленькой речушки, мимо которой проходила здесь дорога.

Вскоре подошел Павел, он был расстроен. Отладить мотор не удалось, у него что-то там «сгорело», придется ждать, кто-нибудь проедет, выручит.

Они насобирали хвороста, разожгли костер, у Павла нашлась банка консервов, у женщин хлеб и чай. Разогрели консервы, вскипятили чай, стали ужинать.

У Павла хватило такта не задавать женщинам «крамольных» вопросов, они разговаривали на самые отвлеченные темы: об урожае, о черной буре, пронёсшейся весной по полям Барабы. Говорил больше Павел, рассказал несколько весёлых историй из своей

недавней армейской жизни. Когда заметил, что Катину спутницу клонит в сон, ушёл куда-то в темноту и вернулся с огромной охапкой сена. Женщина поблагодарила и легла, Катя и Павел остались вдвоем.

Ночь была июльская — тёплая и светлая. Серебрилась речная трава, звенели кузнечики, под берегом плескалась рыбёшка.

Некоторое время они сидели молча. Катя украдкой посматривала на парня. Розоватый свет зари, который уже заливал небо, освещал Павла, его взъерошенную голову, руки с крепкими запястьями, охватившие колени. Он смотрел на темнеющие угли, потом, не говоря ни слова, встал и спустился на берег, к воде.

Катя подождала его, потом тоже встала и пошла следом: спать ей совсем не хотелось! Павел был далеко, на конце узкой косы, ползал по галечнику на четвереньках. Катя окликнула его:

— Что ты там делаешь?

— Клад ищу, — засмеялся тот.

Поколебавшись минуту (всё-таки ей не следовало забывать себя), она пошла к нему вдоль дымящейся воды, по чистому хрустящему песочку.

— А ну-ка, держи! — Павел высыпал ей в руки горсть холодных окатышей. Это были необыкновенные камушки — полупрозрачные, дымчатые, золотистые. Они были влажны от росы и точно излучали свет.

— Ой, какая красота, — сказала Катя, пересыпая их из ладони в ладонь. — Где собирал? Неужели всё здесь?

— А ты думала!

Катя окинула взглядом косу, посмотрела под ноги.

— Да они все тут серые, одинаковые!

— Это на первый взгляд, — сказал Павел. — А ты вот присядь, взглядишь внимательней.

Слегка смущаясь, но уже заинтересованно, Катя присела на корточки. Вскоре она подняла какой-то камешек, и Павел с серьезным видом похвалил ее:

— Молодец, делаешь успехи. Погляди-ка на свет. Видишь, внутри точка. Может, это песчинка, а может — древний жучок!

Заря полыхала уже во всё небо, в кустах проснулись и заперекликались птицы, а они все бродили по косе, радуясь каждой удачной находке.

Странно, Катя чувствовала себя рядом с этим в общем-то малознакомым ей парнем совершенно свободно. И Павел — какой умница! — не замечал ни её тёмного глухого платья, ни платка до бровей. Он, казалось, вообще не смотрел на нее. Когда коса была исследована, Павел разулся, закатал штаны выше колен и стал бродить по мелководью.

Было часа четыре утра, горбинка солнца выгнулась над горизонтом, и речка наполнилась розовым дымом. В придорожной траве зашелестели, запересвистывались суслики. От ног Павла текли мерцающие волны, ломая устоявшееся стекло плёса. Он позвал её, и Катя, не колеблясь, пошла, сбросив на ходу туфли. Она забрела по щиколотки, и низ платья сразу вымок, стал тяжёл. Катя засмеялась чему-то и стала вглядываться в переливающееся дно.

— Катя, дай-ка платок, — попросил Павел.

Она легко, послушно сдернула с головы платок, и он ссыпал в него камни, связал концами.

Потом сели на бережок, на травяной обрывчик; выгрузив добычу, стали отсортировывать. Павел был строг в отборе, безжалостно отбрасывал «брак», а Кате наоборот — всё нравилось, и они даже немножко поспорили.

С высокого берега против них свешивались белесые от росной влаги гривы кустарника. Капли звонкими гвоздиками падали на воду, и глинистый берег, точно раковина, отражал их тончайший перезвон.

Боже мой, красота какая, чудо, думала Катя, с необыкновенной душевной остротой вглядываясь в окружающее.

Где-то рядом раздался тревожно-лихой посвист. Суслик «попиком» стоял возле норы, мерцая бусинками глаз. Павел кинул в него камешком, и суслик выюркнул в нору, с трудом протиснувшись толстым задом.

Они оба рассмеялись. Павел предложил:

— Хочешь, я его сейчас вылью?

— Не надо, мне его жалко.

Сказав это, Катя опустила лицо. Отчего-то радостно застучало сердце. Павел как будто впервые за всё утро внимательно посмотрел на неё. Волосы её, скрученные слабым узлом, скатились на плечи, были матовы от росы; гребень, косо заколотый на затылке, едва держался.

— Гребень потеряешь, — сказал Павел и протянул было руку.

Катя вскочила на ноги, и с таким трудом собранные ею цветные камешки резво запрыгали с коленей под травяной бережок, в воду. Не поглядев даже на них, она пошла в обход прибрежных кустов к машине, покрывая на ходу голову.

Она шла и никак не хотела признаться себе, что её испугал не жест Павла. Даже если бы он обнял, она, кажется, не пошевелилась бы — наваждение какое-то, господи. Испугала её вдруг легкость, с которой «отлетела» от неё с таким трудом накопленная в молитвах лет душевная «оборона». Это ошеломляющее открытие надо было пережить наедине.

Несколько дней после поездки Катя не выходила со двора, занималась домашними делами. Она старалась не думать о Павле, но постоянно ловила себя на том, что думает о нём. Когда за окном раздавался шум проезжающей машины, она вся цепенела.

Однажды автомобильный требовательный гудок послышался у самой калитки. Катя тихонько отогнула занавеску. Из кабины выглядывал Павел, он был в синей футболке с закатанными рукавами, сидел, щурился от солнца, ждал... Ждал её!

Из соседней комнаты появился отец. Передвинув на лоб очки, посмотрел в окно.

— Чего это он?

— Не знаю, — прошептала Катя.

Отец вышел за двери, они о чем-то поговорили. Павел тут же отъехал; а отец, вернувшись, сказал:

— Едет в район, ты, говорит, тоже собиралась. Говорит, мог бы подбросить.

— Нет, я не еду, — ответила Катя, отворачиваясь, боясь, как бы

отец не догадался о её душевном состоянии.

— Я так ему и сказал, — отец строго и внимательно посмотрел на дочь и ушел в комнату.

«Никуда я не собиралась и ничего ему не говорила, — со страхом, с трепетной радостью думала ночью Катя, сидя на постели, комкая на коленях одеяло. — Он сам это придумал, чтобы встретиться со мной. Господи, дай мне силу...»

Она тихонько зажгла лампу, достала тетрадку и, найдя нужные страницы, стала читать о том, как глава женских побед и трофеев всехвальная Фёкла, как огонь возгоревшись среди волн страстей, приплыла в безопасную пристань...

Тут же почувствовала, что читать ей о поучительных похождениях Фёклы стыдно. Потому что у неё, у Кати, совсем другое! Никто её не «обольщает», и никакого она не испытывает «нападения желаний», и тем более не искушают её «сны сладострастия», чему так мужественно противостояла «всехвальная Фёкла»...

Она отбросила тетрадку, подошла, держа у лица лампу, к висевшему на стене зеркалу. Эх, Катька, Катька! — сказала мысленно своему отражению. — Никакая ты не «подвижница», пусть не выдумывают. Вот увидела Павла сквозь занавесочку — и всё. И поняла: нет тебе и не будет никого дороже. И носить в душе это открытие невмочь, и поделиться не с кем. Что же будет?

Дня через три-четыре, когда она ходила по двору, кормила кур, кто-то за спиной кашлянул. Она оглянулась: у ограды стоял Павел, улыбался. Всё в ней затрепетало, и она едва нашла в себе сил в ответ улыбнуться ему.

— Может, выйдешь? — спросил Павел.

Продолжая разбрасывать корм прямо на спины курам, Катя отчаянно замотала головой: нет!

— Катя! — сказал Павел, и лицо его стало серьезным. — Приходи в десять часов к озеру, за дальние мостки. Буду ждать.

И ушёл не оглянувшись.

Остаток дня Катя не находила себе места. Кое-как приготовила ужин, позвала на кухню отца, а сама вышла на крыльцо, боясь каким-нибудь движением выдать себя.

От их дома видна была озёрная гладь. Краски закатного неба сливались со своим отражением в озере, едва разделённые ниточкой далёкого берега. От одного взгляда туда, в сторону озера, у Кати холодели губы; десять часов неумолимо приближались, и надо было решать.

Нет, он, наверное, не добрый, неужели он не знает, что ожидает меня, если нас увидят. Он просто не представляет...

А в десять часов, уже в сумерках, слабо заливавших посёлок, бежала она по огородной тропке к озеру. В руке держала ведёрко. Ведёрко фальшиво позванивало, будто поддразнивало. До дальних мостков, где когда-то разгружались рыболовецкие катера (а потом озеро обмелело, и мостки оказались на суше, не у дел), было около километра. Катя раза три останавливалась, порываясь вернуться. Радости уже не было, был один страх: а вдруг он просто посмеялся над ней? Тогда лучше не возвращаться с озера вовсе...

Склонённую спину Павла, сидевшего на мостках, она увидела издалека, на фоне тёмной сверкающей воды. Он тоже увидел, встал и пошёл навстречу. Когда он приобнял её, ведёрко выпало из её рук, со звоном откатилось. И вместе с ведром откатились, покинули её последние колебания.

...Расстались они глубокой ночью, у калитки Катиного дома. Катя не дыша пробралась в свою комнатуньку, быстро разделась и легла, — впервые легла без молитвы.

Она лежала, улыбаясь в темноту, трогая кончиками пальцев свои припухшие губы. С этой улыбкой она и заснула.

Утреннее пробуждение было мучительным...

В первые мгновения она ничего не могла понять. Над ней нависал отец, костистое лицо его в сером свете утра было искажено, он что-то настойчиво спрашивал. Нет, просто кричал. Какие-то страшные слова. Катя видела его таким впервые. Это был не её отец, кто-то другой — в гневе и злобе принявший обличье отца.

«Видели, донесли» — обожгла мысль. Он схватил её за руку и так дернул, что она, соскользнув с постели, едва устояла на ногах.

— Блудница! Как ты могла! Ты!.. — отец хватал воздух ртом,

руки его метались, точно ища опоры и не находя её.

«Он убьет меня, такой, — подумала Катя с каким-то опустошающим равнодушием, прижимаясь полуголой спиной к стене. — Если не теперь, то ночью».

— Ты... лежала с ним?! — на его редких ощеренных зубах заплырилась слюна. — Сознаться, растленница!..

Катя ахнула в душе. Чувство слепой покорности никогда не было сильно в ней. Она оттолкнулась от стены и пошла мимо беснующегося отца, стала размеренно одеваться. Тот вырвал из её рук кофточку, швырнул на пол. Потом вдруг выскочил из дому. Через минуту ставни на Катином окне захлопнулись (до этого ставни были всегда открытыми).

Вернулся он тяжёлыми шагами обессиленного человека, хрипло повторил:

— Лежала? Сгною, если не сознаешься.

Весь день просидела Катя в тёмной комнате, ничего не ела, а за дверной занавесью, как в те дни, когда болел отец, снова зашаркали таинственные гости, забормотали таинственные голоса. Такое впечатление, что божьи люди держали совет. А ночью случилось ужасное...

Легла Катя рано — в ставнях закатно золотились щели. Сон был неглубок, тревожен, и ещё во сне она почувствовала: в комнату вошли.

Страх ударил в грудь, она рывком поднялась, села.

Перед ней в желтоватом пронзительном свете внесенной лампы стояли четыре женщины; трех она знала, встречались в молельном доме, четвертую — крупную женщину с нездоровым, одутловатым лицом — видела впервые.

— Что вам надо?... Зачем? — прошептала Катя, съеживаясь; её потихоньку заколотило.

Три женщины молча, не произнося ни звука, деловито взяли её за руки и за ноги, повалили, придавили к кровати. Катя порывалась крикнуть, но голоса не было: ужас чего-то неизбежного словно вязкой глиной забил рот.

Незнакомка с одутловатым лицом откинула одеяло, крепкими уверенными движениями вздёргнула к голове, взбила на Кате рубашку. И только когда холодные пальцы скользко коснулись её тела, Катю потрясла, оглушила догадка. Она рванулась, выгнувшись всем корпусом — от чувства гадливости, грязи, куда внезапно окунулась с головой.

— М-м-м! — замычала она, задыхаясь.

Сквозь взбитую на лицо рубашку она ухитрилась кого-то укусить, потому что одна из женщин вскрикнула. Но силы быстро иссякли, и всё последующее время, пока её осматривали, Катя лишь вздрагивала...

С этого дня жизнь потеряла для Кати свои былые краски. Встретиться с Павлом было бы мучительно. Отца она не могла видеть. Две женщины остались в их доме жить, причём одна всегда, в любое время суток, была рядом с Катей.

Через несколько дней, ночью, её вывели, посадили в легковую машину и увезли. Кате уже всё было безразлично.

Трудно в шестнадцать лет привыкнуть к мысли о неизбежности смерти. Её холодное дыхание — это скорбные, потухшие лица окружающих, чёрные платки до бровей, трепетное потрескивающее мерцание свечей, это долгое, хватающее за сердце пение псалмов (Лида не поверила своим ушам, когда услышала псалом на знакомую с детства мелодию песни «Катюша»), это тихие истерические плачи послушников и послушниц в цементированном подвале божьего дома.

Лида стоит на коленях перед раскрытой книгой. «Стяжай вечное спасение! — безмолвно кричит книга. — Спасение, спасение!.. Всё вещественное, что мы приобретаем в земной жизни, мы оставим в день смерти. Всё: родственников, друзей, богатство, почести, тело наше! Вечное спасение и вечная погибель — вот что пребудет нашим достоянием и доставит нам или нескончаемое блаженство или нескончаемое бедствие!... Уверь себя, что ты умрёшь, умрёшь непременно...»

Лида с силой сжимает ладонями виски. Она не может уверить себя в этом. Не может! Ей страшно оттого, что всевышний не даёт веры. Слёзы текут по её щекам. «Когда, окончив земное существование, — бормочет она, — вступишь на грань, отделяющую временное от вечного... от вечного...»

Поодаль бьет поклоны Катя. Стоя на коленях, она почти касается лбом пола и при этом шепчет молитву.

В руках лёстовка — тесёмка с нашитыми костяными бобóчками для подсчёта поклонов. Поклон — бобóчек под пальцами долой, ещё поклон — ещё бобóчек. Голова не должна отвлекаться от молитвы, пусть счёт ведут пальцы. А бобóчки эти — не просто круглые костяшки. В каждом ряду их — свой ритуальный смысл. Двенадесать бобóчков — Двенадесать Апостолов с Господом по земле ходили. Кланяйся! Тридесать семь бобóчков — столько недель Богородица во чреве Христа носила. Кланяйся! И ещё ряд, и ещё. Кланяйся, кланяйся! Круг бобóчков замкнулся — начинай снова, следующий круг. И кланяйся, кланяйся!..

Лицо Кати бледно, а в глазах обречённость и тупая невыразимая тоска. Пятьсот поклонов во искупление греховных помыслов. Пятьсот, когда уже после сотого деревенеет спина, и сердце стучит в самом горле, и отвратительным песочным звоном наполнена голова! «Да просветится Свет ваш пред человеки... да прославят Отца вашего иже на небеси...»

Августа забилась в угол и там зубрит стихи. Слышны тихие, слёзные повизгивания:

«Когда Христос выходил из храма

Пред крестною смертью своей...»

Внезапно Катя, прервав поклоны, несколько мгновений туло глядит перед собой. Потом судорожно всхлипывает и с криком валится на бок, отбросив лёстовку.

— Не могу-у! — кричит она, и крик этот в благодатной тишине дома подобен удару бича. — Не могу! О Господи! О-о!..

Лида в растерянности пятится. Прижавшись к стене, она глядит на бьющуюся в истерику девушку, часто-часто крестится. Августа медлит лишь секунду и выскальзывает за двери, Лида подбегает к

подруге, обнимает её, пытается успокоить.

— Мама моя!.. Мама моя! — всхлипывает Катя. Голос, перехваченный спазмами, хрипит.

Она, задыхаясь, рвёт на груди рубашку и иступлённо, страшно бьётся об пол головой.

В дверях вырастает Мирония. За её спиной мелькают бородастые лица послушников, показывается и вновь исчезает перепуганная Августа.

Инокиня с несвойственной возрасту живостью семенит к Кате, пытается поднять, оттолкнув при этом Лиду. Катя отбрасывает её руки, точно они ожгли её, кричит:

— Уйди! Ненавижу! Всех ненавижу! О-о!

— Господи Иисусе Христе, дочь моя, опомнись, — тараторит инокиня.

Девушка отползает в сторону, пытается встать.

— Не хочу... дайте мне уйти... — бормочет она, — уйти... сгнуться...

Инокиня кидается к ней и неожиданно, размахнувшись, сухой жесткой ладонью бьет её. Голова девушки мотается, как тряпичная; мотается за спиной растрепавшаяся коса.

— Демон! — шипит инокиня, и щеки её трясутся от ярости. — Демон вселился в неё. Изydi, нечистый!

— Бейте! Бейте! — кричит Катя, срывая с головы покрывало. Пряди гусых волос липнут ко лбу, она всхлипывает: — Лучше... в пустыне со зверьми... жить...

Инокиня делает знак послушникам. Путаясь в полах, они подхватывают под руки отбивающуюся девушку, волокут к дверям.

— Это у неё от гордости! — шипит вслед Мирония. — А гордость презренна перед Богом и святыми его!.. Изydi, демон!

Катя исчезла. По крайней мере, никто в этом доме больше не видел её...

Лида от пережитого потрясения слегла в постель. Мирония каждый день навещала её. Приближалось крещение девушки, и это больше всего беспокоило инокиню. Но она и виду не подавала. Присев на Лидину постель, гладила она рукой больную и говорила тихим проникновенным голосом:

— Ты, дочь моя, одержима телесною болезнью. Но малодушествовать по этой причине не надо. Если господу Богу угодно, чтобы ты немоществовала по телу, то кто ты, чтобы огорчаться этим? Переноси болезнь терпеливо и безмолвствуй в терпении. И пусть свершится над тобой воля его...

Лида слушала, смежив веки. А перед глазами стояла простоволосая красивая Катя и рядом — перекошенное злобой лицо Миронии. Она пыталась осторожно вытащить свою руку из-под холодной сухой ладони — ведь эта ладонь только что хлестала Катю.

— Скоро ты вступишь в высокий сан, — продолжала Мирония. — Помни, наша обязанность — не допускать братьев и сестёр наших заблуждаться и жить по своей прихоти. Мы должны подавать им верную помощь... — И, словно прочитав мысли девушки, она минуту молчит и потом, поджав губы, скорбно добавляет: — Не тот несчастен, дочь моя, кто терпит, а тот, кто наносит оскорбления...

Обряд «спасительного» крещения Лида помнит смутно. Полубольная, оглушённая слезами и молитвами, она безропотно отдала себя в руки многочисленной братии.

Ее одевали и обряжали, потом вели по гулким каменным ступеням. Она шла, и одной мыслью её было: устоять на ногах, не упасть! В смутном мерцании свечей мелькали какие-то лица, от белых и черных одежд рябило в глазах. И только раз, когда в хорошем тягучем пении псалмов ей почудился Катин крик, она остановилась, но сзади на неё наткнулись, и она снова пошла.

Потом — громадный чан, сшитый из кожи и наполненный водой. Когда её погрузили трижды с головой, она захлебнулась. Выбравшись из чана и отдирая от тела рубашку, она почувствовала ледяной озноб.

Она не видела, как сжигали её документы, хранимые ею письма матери, мирское платье — все, что связывало её с суетным житейским миром.

Так из жизни исчезла, перестала существовать девушка по имени Лида. Зато ряды секты «истинно православных христиан странствующих» пополнились одной молодой послушницей по имени Нина.

Ночью Лида-Нина металась в жару, бредила. Она разговаривала с Катей, плакала, жаловалась ей, осуждала инокиню Миронию — теперь свою крестную мать, — бормотала молитвы, стонала.

А рядом у постели, прикрывая свечу рукой, стояла на коленях сама Мирония. Она напряженно смотрела в лицо больной и слушала её бормотания. Возле неё ёжилась полураздетая Августа. Прошло уже немало времени, как она позвала инокиню. Ей уже хотелось спать, она украдкой зевала, крестилась. Но уйти и лечь не решалась — вдруг она ещё понадобится инокине?

Когда Лида выздоровела, матушка стала ласково, но настойчиво внушать ей, что она поражена земляным тлением и что спасти себя может только одним — удалением из мира житейского, долгим постом и молитвами

...По вечерним улицам города мчится такси. Боковые шторки задернуты. Лида видит только летящую под колеса дорогу, яркие вспышки реклам да в пятнах электрических светильников редкие фигуры прохожих.

Рядом в машине — матушка Мирония. Она сидит, строго собрав сухие губы, вперив недвижный взгляд в расшитую тюбетейку шофера. Лида замечает поблескивающие на пальцах шофёра массивные перстни — и узнает его. Шофёр тот же самый, значит, он не настоящий таксист, а под видом таксиста работает на Миронию.

Как давно это было! Кажется, целое тысячелетие отделило её от того времени, когда она, полная смутных надежд и волнений, обласканная незнакомой женщиной, ехала в этой же машине, и мимо так же стремительно проносился чужой для неё город. Он так и остался для неё чужим. Она даже не смогла бы сейчас найти дом, в котором прожила долгую и такую мучительную зиму.

Машина шла всю ночь. Лида несколько раз засыпала. Просыпаясь, видела рядом качающийся безмолвный профиль Миронии, точно вырезанный из черного креста. И ей от этого соседства впервые стало по-настоящему страшно. Почему они так долго едут?

Утром Лида увидела горы. Серые расколотые громады — настоящий каменный океан — тянулись до самого горизонта, утопая в рассветной дымке. Таких гор она не видела даже на Алтае.

Это было так неожиданно и необыкновенно, что Лида, выйдя из машины, в первую минуту забыла всё: и ночные страхи, и то, зачем её сюда привезли.

Такси тут же уехало, а они с Миронией по травяному склону, усыпанному камнями, пошли в сторону от дороги. За выступом скалы их ждал человек. Лида увидела лохматую баранью шапку, сросшиеся брови и скобку чёрной бородки на скулах. Поодаль два ишака жевали колючки.

Женщины сели на ишаков. Мужчина, взяв в руки уздечку, пошёл впереди.

Ехали почти весь день, всё глубже и глубже в горы. Только когда животные начинали спотыкаться от усталости, делали остановку. В полдень пообедали хлебом и полдюжиной яблок, запив водой из горного ручейка.

Под вечер впереди сверкнуло озеро — точно осколок зеркала, брошенного в каменный хаос. Маленький караван прошел по его берегу и стал карабкаться вверх по гранитным террасам.

На одной из площадок они наконец остановились. Лида увидела пещёру. У её входа сидел человек. Вид его ошеломил девушку, потому что сначала она приняла его за мертвеца. Это был глубокий старик с маленьким пергаментным личиком, заросшим поределой, какой-то прозрачной бородкой, грудь едва прикрывали лохмотья.

Так вот он какой — отец Виникий, с которым ей предстоит жить вдали от суетной славы и очищать свою душу! Она немало слышала о его святости, живя в сектантском доме и готовя себя к крещению.

Религиозный фанатизм Виникия не ведал пределов. Шестилетним ребенком, не зная отца и матери, пошел странствовать с чужими людьми. Бездомная жизнь верующего бродяги была несладкой. Но чем больше обрушивалось на его голову бед и несчастий, тем смиреннее принимал их удары инок Виникий.

Мир сотрясался от войн и революций, наука делала великие открытия, рождались государства. Разрушенная гражданской войной страна восстанавливала свое хозяйство, свою промышленность, строила города, каналы, возводила плотины. Истекая кровью, от-

бывала фашистское нашествие. И снова вырастала из руин.

Но далек от всего этого был Виникий. Он смиренно странствовал, плача и молясь, он обретал утешение, обетованное Спасителем. Он странствовал, чтобы по окончании земного пути попасть в горную страну вечного блаженства, называемую небесным царством.

Он молился двумя перстами и отвергал все религии, кроме собственной. На своем покаянном пути он искал таких же шатких духом людей и заражал их своим фанатизмом.

Он ненавидел всякую власть, не хотел работать и жил милостыней. Когда однажды за бродяжничество и проповедь мракобесия суд приговорил его к тюремному заключению, он и это воспринял как новое испытание, ниспосланное ему Богом, и смиренно отсидел положенное.

На склоне жизни своей он в глазах верующих совершил подвиг — удалясь от бренного мира в горы, всецело погрузился в покаяние. Инок Виникий во что бы то ни стало хотел попасть в небесное царство. И там, как обещает святое писание, «вечно блаженствовать блаженством внутренним, а также наружным».

Сумерки в горах накатывают быстро.

Лёжа на тощей травяной постели, девушка с трепетом душевным прислушивалась к многочисленным ночным звукам. В пещёре было сыро, затхло, где-то постукивали капли; в расщелинах потолка попискивали летучие мыши; ветер у входа трепал кусты; из угла неслись старческие вздохи и бормотания Виникия.

Поднимались рано — с первыми холодными проблесками рассвета. В своем религиозном рвении инок был неутомим. К этому он приучал и послушницу. Он заставлял её читать молитвы, делать выписки из священных текстов, пересказывать учения святых отцов, которых было такое великое множество, что она безнадежно путалась в их именах, чем доставляла Виникию невыразимые огорчения.

Между молитвами пела она псалмы или учила наизусть стихи, которые, как ей казалось, сочинял сам Виникий. В стихах этих,

слёзных и тоскливых, инок прославлял Бога, уничижал себя и призывал братьев своих безропотно идти уготованным путем: «Бывают дни, пленит и давит тоской измученную грудь. Не верь! Премудрость миром правит. Свершай безропотно свой путь...»

В усердии своём он часто доводил себя до иступления, валился на землю, хрипел и царапал себе лицо и шею, выл. И испуганная послушница не смела в это время приближаться к нему, ибо на инока в такие минуты «проливался» сам небесный дух...

Еду готовили на керогазе — этот закоптелый кухонный инструмент был единственной уступкой цивилизации. Костер разжигать старец не решался, боясь привлечь дымом случайного человека. В дни поста — а они бывали очень часто — не готовили вообще, питались фруктами и сухарями («Постом умиряется тело», — твердил старец).

Раз в месяц или в полтора приезжал от Миронии посланец, хмурый неразговорчивый парень, привозил запас продуктов, керосина. Случалось, его подолгу не было, продукты иссякали. Тогда Лида уходила в горы собирать ягоды барбариса. От слабости у неё кружилась голова. Если это происходило за молитвой, она не могла даже подняться с колен и, уронив голову, бессильно плакала.

Виникий принимал эти слезы как проявление усердия.

Лида спустилась к озеру за водой.

Стоял ясный безоблачный день. Мягкими порывами подувал ветер. Озеро, запрятанное природой в глубокую каменную чашу, слегка волновалось; мириады солнечных бликов рябили дно — так чиста и прозрачна была вода.

Она немного посидела на берегу, наслаждаясь солнечным теплом. Потом решительно разделась и вошла в воду.

Купалась она недолго, вода была холодна. Но когда вышла на берег, почувствовала, как освежило и взбодрило ее. Ведь не купалась с самой школы! Она легла на горячую, замшелую по краям каменную плиту, закрыла глаза.

Солнце жгло плечи, ветер трепал рассыпавшиеся волосы, остро пахло нагретым мхом, у ног шуршали и всхлипывали волны. Ощущения эти были так глубоки и необыкновенны, что она никак не

могла пересилить себя и встать. Не хотелось вставать, не хотелось натягивать на себя черное и душное платье послушницы!

Были мгновения, когда Лида с трепетом думала: для чего весь этот кошмар — пещёра? молитвы? этот дряхлый старец со своими заупокойными стихами? Но это — только мгновения.

Уже в следующую минуту мысль эта показалась дерзкой и кощунственной. («Почему я осуждаю? Потому что не познала самоёсебя!») Она тут же отогнала её и, вскочив, начала одеваться. Зачерпнула котелком воды и, сгорбившись, торопливо зашагала к пещёре.

Виникий, узнав, что девушка искупалась в озере, был обеспокоен. Он долго молился за неё, потом встал и изрёк: «Нельзя, дочь моя, пройти по жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого бы не перенёс человек, укрепляемый силой Божьей!»

— Отец Виникий! — решила возразить Лида (купание на неё подействовало, что ли?). — Сказано: не осуждай! А вы меня постоянно осуждаете...

Это страшно не понравилось Виникию. Слепив губы в ниточку, он долго смотрел в лицо послушнице своим надлобным взглядом, сдержанно сказал:

— Я не осуждаю, дочь моя, а обличаю. Обличаю же — чтобы исправить. А исправляю — чтобы спасти.

Нет, старец Виникий знал своё дело тонко!

Послушнице, не устоявшей перед соблазном и искупавшейся в озере, было положено наказание — тысяча поклонов во искупление греха.

В поисках ягоды Лида ушла далеко. Она спускалась по крутым склонам, переходила каменные реки осыпей, продиралась сквозь жёсткий и колючий кустарник.

Она так привыкла к безлюдью и тишине здешних мест, что, увидев человека, вздрогнула и отступила назад.

Человек был далеко. Он стоял на краю скального обнажения и что-то писал в тетрадку. На нём были сапоги и белая парусиновая шляпа с откинутаю назад сеткой.

Девушка хотела было уже незаметно повернуть назад, но в этот момент человек поднял с земли молоток с длинной ручкой и, опираясь на него, пошел в её сторону.

Путаясь в полах платья, Лида побежала. Она спряталась за громадный, расколотый надвое валун. Геолог прошел совсем близко. В расщелину она увидела его лицо — молодое, белобровое, с коричневыми от загара скулами. Он что-то пел вполголоса и щурил глаза.

Удивительно знакомые глаза! Где она уже видела похожее на это лицо? И тут же вспомнила: дорога на Горно-Алтайск, бушующий внизу поток, отара и молодой скуластый погонщик с папирсой в дрожащей руке.

Она так заволновалась, стоя за валуном, что едва геолог скрылся, поставила корзину на камни и сама опустила рядом. «Господи, что же это? Я уже пугаюсь живого человека!..» Чтобы успокоиться, она стала перебирать собранные ягоды. Несколько ягодок положила в рот. Но их кислый вкус вызвал тошноту. Она вдруг поднялась, постояла — и так поддала корзину, что та покатилась, разбрызгивая на камнях ягоды.

Весь вечер и всё утро следующего дня она думала об этом геологе. А к полудню, недомолившись, что с ней случилось впервые, схватила корзинку и пошла в горы. Она долго искала тот расколотый валун. Наконец нашла, присела рядом, стала ждать. Ей почему-то казалось, что геолог должен пройти именно здесь.

Она ждала долго и терпеливо, и когда геолог в самом деле появился из-за скалы и прошёл поодаль мимо, она опять так разволновалась, что позабыла спрятаться. Но геолог всё равно не заметил её. По-видимому, этой дорогой ходил он всегда.

Потом она стала часто бывать здесь. .

Если геолог почему-то не проходил, Лида возвращалась как потерянная, и никакие молитвы и псалмы не шли в голову. Старец Веникий, должно быть, заподозрил что-то, потому что всякий раз, заглянув в полупустую корзинку, недоверчиво и пристально смотрел послушнице в лицо. Но запретить ходить по ягоду не мог. Последнее время они питались исключительно ягодой и сухарями:

хмурый посланец от Миронии задерживался.

Однажды, когда она сидела у валуна и ждала, геолог прошёл, сильно хромая. Брюки на коленке разорваны. Она подумала, что могла бы хорошо заштопать, ведь она швея! Однако на следующий день брюки на геологе оказались починенными, и заплатка пришита так аккуратно, что в этом сразу угадывалась женская рука.

Девушку так огорчило это открытие, что она ушла и не приходила несколько дней. Потом не выдержала, прибежала снова. Прождала день, а геолога так и не увидела. Не приходил он и на второй день, и на третий.

Лида забеспокоилась. Просидев однажды с полдня впустую, она пошла в ту сторону, куда уходил геолог. Спустилась в одну из ложбин и увидела на полянке следы лагеря: вбитые колья, кучи консервных банок и чёрное пятно давно остывшего костра...

Как-то подметая пещёру, Лида в одной из расщелинок вымела обломок женского гребня — и оторопела. Чтобы не закричать, она стиснула рот ладонью: у Кати был точно такой!

Она выбежала на площадку. Виникий, сторбившись, сидел возле плоского валуна, заменявшего им иногда стол. Зажатым в прозрачном кулачке камешком расщёлкивал на валуне орехи. Аккуратно собирал раздробленное ядрышко, отправлял в рот. Потом долго, вдумчиво жевал, подняв глаза к небу, и выражение лица было таким, будто он не желудок насыщал, а общался с самим Господом Богом.

Задохнувшись от омерзения и только что пережитого испуга, Лида торопливо пошла по тропинке вниз — так, без цели, чтобы только прийти в себя. Теперь под каждой кучей наваленных камней мерещилась ей Катина могилка...

Она разжала ладонь, стала внимательно рассматривать кусочек гребня: Господи, неужели всё-таки Катя?..

В этот вечер, лежа в холодной пещёре и слушая тяжкие болезненные вздохи спящего за пологом в углу Виникия, она впервые с колотящимся сердцем подумала: надо бежать. Во что бы то ни стало бежать — от этого выжившего из ума старика, от его заклю-

нявленных до лоска книг, именуемых святыми. От его страшной, постоянно напоминавшей о смерти религии. И ещё одна запоздалая догадка терзала: для «спасения» ли, в самом деле, упрятана она сюда? А не для того ли, чтобы прислугой быть немощному Викикию?

Прежде, ещё живя у тётки в Горно-Алтайске, она непрестанно мучила себя мыслью: для чего живём? И не находила ответа. Если видела она людей с весёлыми смеющимися лицами, весёлость их казалась неискренней, фальшивой. Грубость, корыстолюбие людей, забота только о собственном благе представлялись ей обычными. И только воспоминание о молодом погонщике, так самоотверженно, с риском для жизни спасшим на её глазах отару, смущало. Для этого случая она готова была сделать исключение.

Религия, которая сулила разрешить её сомнения, отвечала на мучивший её вопрос так. Человек — изгнанник неба, а земля — страна его ссылки. Кратковременное пребывание на земле дано ему для наказания. Если он удовлетворит Бога своей жизнью, значит, вернётся на небо. А если же сгубит положенное ему время, употребив на занятия суетные и служение греху, то низвергнется навечно в ад. И поэтому, живя на земле, кайся, очищай себя от грехов и думай, думай о смерти.

Но она не хочет думать о смерти. Она хочет жить, ведь ей ещё так мало лет! Теперь она не ставит себе вопроса — для чего жить. Просто жить, находиться среди людей, работать, не истязать себя постом, носить лёгкие красивые платья, рвать цветы, купаться и загорать, любить...

С тех пор как она поселилась здесь, не раз подолгу смотрела она на небо. Но не видела там ничего, кроме облаков, да иногда тонких серебристых полос, оставляемых в синеве высотными самолётами.

Она поднялась со своей лежанки, тихо вышла. Тёмное осклизлое небо было без единого просвета. Ветер, холодный и стремительный, ударил в глаза, рванул из рук накидку. Глухо и тревожно прогрохотало эхо каменного обвала.

Куда бежать, если на дворе декабрь, а кругом на десяток километров только угрюмые горы, скалы, колючие заросли — и ни единой живой души.

...Зима прошла для Лиды как дурной нескончаемый сон. Сухие песчаные ветры, дующие с высокогорных степей, сменялись затяжной изморосью. Мокрый снег вперемишку с дождём покрывал блестящим панцирем камни. Постели и одежда, пропитанные сыростью, леденили тело. Запах керогаза вызывал головную боль и тошноту.

Инок Виникий со сморщенным, как печёное яблоко, лицом подолгу сидел перед огнем, кутаясь в лохмотья... Сухой отрывистый кашель валил его на пол. Лишения, которым он себя подвергал, губили его тело, но не трогали, казалось, его дух. Бормотания его все больше походили на бред.

— Три вещи века сего страшат меня! — поборов очередной приступ кашля, хрипел Виникий. — Не вем, когда умру... Не вем, как умру... И не вем, что ожидает меня по смерти!.. А тебя, — оборачивался, ища воспалёнными глазами послушницу, — тебя что страшит? Огонь адский, отступница!

И он начинал церковным языком длинно и путано излагать происхождение греха или рассуждать, какие подвиги важнее в деле спасения: внешние или внутренние...

Наступил апрель. С востока подуло теплом. Долины окутались дымкой зелени. Зацвели кусты дикой акации. От щедрого весеннего солнца таяли, сжимались снежные шапки на хребтах.

Однажды вечером над горами собрались тучи, и с наступлением ночи разразилась первая гроза.

Со скрежетом и треском разламывалось небо. Громовые раскаты эхом метались среди гор, словно чугунные мячи. Всплески молний обжигали глаза.

Виникий выполз из-за своего полога, руки его подламывались. Лида, свернувшись на лежанке, увидела, как старец попытался встать, но тут же упал, и чепец с головы погнало залетевшим по-

рывом ветра. Она вскочила и подбежала к нему.

— Зажги... лампадку... — захрипел Виникий. — Читай... на исход души...

Девушка хотела помочь, но старец оттолкнул её руки и уполз назад, за полог, пробормотав:

— Небо ужасается... земля трепещёт, читай, умираю...

Порывы ветра колебали пламя. Ожившие тени наполнили пещёру движением. Лида, испуганная и оглушённая, опустилась на колени и стала читать. Собственный голос казался чужим, а смысл слов до неё не доходил.

Вдруг лампадка погасла. Ломая спички, она долго зажигала трепещущий язычок. А когда зажгла, старец стоял на нетвёрдых ногах, хватаясь за полог, и хрипло, с трудом дышал.

Ощувив внезапно весь ужас своего положения, она замерла...

— Читай! — проговорил тяжело Виникий.

Молнии рвали темноту, в их мертво-белесых всплесках взгляд старика каменел.

— Почему замолчала? Или Бог не даёт тебе силу молитвы, отступница?..

Отпустив полог, он с усилием подошёл к ней. Не спуская лихорадочного взгляда, протянул в обвисающем рукаве руку, точно слепец.

Лида невольно отступила, но сзади была стена.

Костистые ладони скользнули по её покрытой голове, плечам, коснулись груди. Безгубый чёрный рот Виникия прыгал в гримасе, и непонятно было — то ли плачет он, то ли так жутко смеётся.

— Молодая... здоровая... — стонал он и вдруг, ухватившись цепко за вырез, рванул холст, обнажив ей плечи, грудь.

Лида вскрикнула, инстинктивно прикрываясь книгой, которую держала в руке; она была на грани обморока.

— Я умру, — стонал, корчился в бессильной злобе Виникий, — а ты... это тело будет жить... искать наслаждения... насыщения...

Его качнуло от приступа кашля, он опёрся о стену, стал сползать, потом потащился, как летучая мышь, на свою лежанку и там затих. Долго ещё слышался его кашель, свистящее дыхание.

Лида бездумно и отупело читала молитву, не решаясь даже взглянуть в сторону инока. И только когда книга выскользнула из онемевших рук и гулко ударилась о землю, она вздрогнула, подняла глаза.

Инок был недвижим. Он лежал, вытянув руки, задрав включенную бороду. Девушку охватило отчаяние. Тёмные закоптелые своды пещёры навалились на неё своей тяжестью. Дрожа и всхлипывая, она стала пятиться к выходу.

Гроза уже прошла. Моросил редкий пронзительный дождь. Западная половина неба была наглухо заложена тучами, и там время от времени вспыхивало и грохотало.

На востоке светлело. Сломанная грань далёкого хребта чётко выделялась на горизонте.

Несколько минут она стояла в мучительном смятении, со страхом глядя в чёрную дыру входа. Никакая сила теперь не заставила бы её войти туда снова!

Потом, оскользаясь, падая, побежала вниз, мимо озера и дальше — где за гранью хребта перемелькивались звёзды и белела узкая холодная полоска утренней зари...

ПРЕКРАСНАЯ МОЯ ТУНГУСОЧКА

Повесть

Из диспетчерской грузоперевозок Виктор Рассохин вышел в хорошем настроении: предстоит рейс на Модуйку. Правда, диспетчер долго ломался, все подсовывал Пашкино озеро, где тоже гора рыбы — неделю погоды не было, — а с Модуйкой с утра нет связи: какая там обстановка, чёрт знает. И полётную подписал только после того, как Рассохин пообещал: если перевал закрыт, он с ходу поворачивает на Пашкино.

На метеостанции, куда Рассохин заглянул мимоходом, его слегка охладили: ветер северо-западный, ожидается усиление, к вечеру, возможно, до штормового.

Выйдя на берег, он остановился. Глинистый скат был крут и высок. Ветер дул ровно, упруго, густо синил, взъерошивая, водную гладь. «Балла два. Ничего, терпимо», — отметил Рассохин.

Тоненько дымил на фарватере буксирный катерок, волоча за собой гирлянду барж-коробочек. Обгоняя их, легко скользил белый и узкий, точно лепесток ромашки, пассажирский теплоход. Голые вершины Северного Камня по горизонту были подрезаны облачностью.

Внизу под береговой кручей, на тесном клинышке воды, отгороженном от стрежня каменной насыпью, по-местному — коргой, покачивался на якоре «Ан-2» с оранжевым хвостом. И ещё гидроплан с таким же вызывающе-ярким оперением стоял у берега, принайтованный к причальному плоту капроновыми верёвками.

Второй пилот Шура и техник Пухначёв были уже возле машины, копошились на плотике, просовывали в дверь грузового отсека трап, а трап кособочился, сползал — с залива шла крупная зыбь, и плотик качало.

Раскурив сигарету, Рассохин легко сбежал по длинной расшатанной лестнице с ещё сырыми от ночного дождя ступенями, ощущая свежевыбритым лицом, как похолодел здесь, у самой воды, воздух, а запах тины и мокрого камня стал ещё острее, навязчивей.

— Командир, — крикнул Шура, увидев подходившего Рассохина, — в баках шестьсот кэгэ, хватает?

— Нет, — сказал Рассохин, — дозаправиться надо, идём на Модуйку.

— Суду всё ясно,— ответил Шура своей обычной присказкой и заметно, враз похмурил, обернулся к технику: — Давай, Лёша, зови бензушку, да в темпе. — И стал сосредоточенно, зло даже попинывать всё ещё шатающийся трап.

Был Шура невысок ростом, но плотен в плечах и груди, руки при ходьбе держал нарастопырку. Однако ходил он мало, всё бегал, торопился, самое мучительное для него было — сидеть без дела. И ещё Шура не любил замечаний, даже подсказок, краснел при этом, надувался и, чтобы скрыть обиду, начинал насвистывать, сложив полные губы вороночкой.

Но Рассохин был доволен своим вторым, замечаниями старался не злоупотреблять.

Он знал, отчего вдруг похмурил сейчас Шура, — не от предстоящих хлопот, конечно, по дозаправке, а оттого, что летят на Модуйку. «Ну, давай и ты ещё», — усмехнулся он снисходительно-ласково и, притопывая для крепости, пошёл по вихляющему трапу в машину.

Пухначёв успел прокрутить двигатель, в кабине было тепло, и не только от двигателя. Утреннее солнце, то и дело прорывающееся сквозь скользящие раздёрганные облака, успело пригреть дермати́н сидений.

Задёрнув шторы под прозрачным куполом фонаря, он сел в свое кресло слева. Не оборачиваясь, повесил позади фуражку, пробежал взглядом иконостас — так он называл приборную доску; прикоснулся к штурвалу, тоже теплomu от солнца. И сразу стало ему уютно и покойно, и полёт на Модуйку предстал как дело само собой разумеющееся. Ему даже странным показалось, что ещё полчаса назад он нервничал, волновался, выпрашивая у диспетчера этот в общем-то нелёгкий рейс.

Желание это накатило утром, как только он проснулся и по привычке первым делом глянул в окно. Было солнечно, ветер сквозь форточку пузырил занавеску, меж стёкол вяло, обессиленно зудели слепни, попавшие туда ещё с вечера. Жена Лия спала, отвернувшись, из-под туго затянутой косынки выпирали бигуди.

И от этого долгожданного солнца, шелестящей свежо занавес-

ски, а может, просто оттого, что прекрасно выспался и впереди был лётный день (а значит, возможность побывать на Модуйке), он ощутил вдруг, как в груди рождается и растёт маленькая тоска.

Именно так — маленькая тоска, подумал он, косясь на женины бигуди. И определение это, как ему показалось, счастливо осенившее его, сразу привело в равновесие и утвердило в решении — лечу на Модуйку.

На берегу о чём-то беззлобно перебранивались Шура и Пухначёв, басово гудела струна лучевой антенны, из грузового отсека наносило застарелой рыбной сыростью. Заурчал автомобильный мотор, к мосткам пятился бензовоз, стреляя из-под баллонов галькой. Рассохин взглянул на часы, потом на зеркало залива.

Зыбь покрупнела, и оградительные буйки прыгали, как водяные блохи. Он раздвинул форточку, крикнул обеспокоенно:

— Шура, Шура, долго копаться нам климат не позволяет. А ну — раз, два и поехали!

Шура вскоре влез в кабину с надутыми губами, стал с молчаливым сопением прикрывать за собой дверку — он тоже не переносил рыбного запаха.

Полтора километра до рыбозавода прошли глиссированием, вздымая фонтаны брызг. Машину трясло, будто под поплавами не вода, а булыжная мостовая.

На разгрузочном плоту, против склада, рабочих не было; не было и тарной посуды. Только комом горбился, шевелил углами брошенный брезент. Они причалили и, заглушив двигатель, постояли в ожидании — надо было прихватить тару.

Рассохин не выдержал, связался с диспетчерской: «Двадцать пять минут стою! — пожаловался он, слегка подзагнув. — Они что, вымерли там, копильщики!».

Однако берег продолжал пустовать. Только пара чаек деловито бродила в прибойной полосе, куце взлетая, когда накатывала особенно крутая волна.

— А ну дай ракету, — приказал Рассохин.

Шура достал из кобуры на стене ракетницу, просунул руку в форточку, выстрелил вверх.

Чайки с галдением вскинулись, их притиснуло ветром, и они бочком полетели вдоль прибоя. Рассохин проследил за ними взглядом, сказал:

— Вот что, Шура, ждать нам недосуг. И так уйму времени потеряли. Давай захватим брезент — и пошли.

— А может, лучше не ходить? — проговорил вдруг Шура, и в его округлившись от внутреннего напряжения глазах Рассохин почувствовал вызов. — Вдруг и там такая волна — зря слетаем.

— Нет, ничего, — сказал Рассохин сухо. — Ветер северо-западный, значит, от посёлка в озеро, волны там под берегом не должно быть. Тащи брезент.

2

Когда поднялись в воздух и набрали режимную высоту, Рассохин передал управление Шуре, а сам, усевшись удобнее, вынул из портфеля газету. Но читать не хотелось, и он стал глядеть вниз. Внизу тоже было всё привычно, знакомо. Они как раз проходили поймой притока Енисея, сам Енисей оставался далеко влево.

Длинные пойменные озёра, все выпуклостью в одну сторону, четко обозначали границу древнего, может быть, тысячелетней давности, русла этого матёрого притока. Буро-радужные концентрические круги болот за ними были, вероятно, также следами русла — но уже такого древнего, что и воображения не хватало.

Ещё со школьных лет Рассохин знал: по реке этой когда-то прошёл с экспедицией писатель Вячеслав Шишков, а позже она вдохновила его на создание знаменитого романа «Угрюм-река». Первые пролетая здесь три года назад и глядя на ртутно поблёскивающую внизу реку, Рассохин удивлялся, как безлюдны её берега и как сонно-недвижимы воды.

Не верилось, что здесь могла бушевать шумно-скандальная, яростная жизнь героев шишковской книги.

Гидроплан качнуло — штурвал перед Рассохиным закивал суетливо рогами, дублируя Шурины движения: вёл Шура слишком напряжённо, как, впрочем, все новички. Впереди выросла, чётко обозначилась Столовая гора, одна из вершин хребта Северный Ка-

мень; правее горы открылся перевал. Ломаный корытообразный горизонт был слегка задернут дымкой, однако свободен от облачности.

Шура вопросительно оглянулся на командира, тот подбадривающе кивнул. Шура заметно подобрался, ещё пуще посуровел и стал осторожно потягивать штурвал на себя, накапливая высоту.

Рассохин включил радиостанцию, передал диспетчеру: перевал свободен, они идут на Модуйку: «Вас понял», — буркнул тот, видимо всё ещё недовольный тем, что дал утром уломать себя.

Миновали перевал.

Близко под крыльями проплыли тупоголовые каменные столбы с бахромой стланика, в глухих карах северной стороны лежал так и не растаявший за лето снег.

Впереди заблестело озеро, сразу стало расходиться вширь, до куда хватало глаз, синеть и приобретать чёткую извилистость берегов.

Минут пять летели над водами озера, из синевы всплыл остров, похожий сверху на разваленный стог. Гребни волн то там, то тут вспыхивали белым, и только сбоку острова, с подветренной стороны, вытянулся клин тихой, успокоенной воды.

Показался посёлок — два десятка домиков вразброс, из них выделялся один, с белой разлапистой крышей из асбофанеры и белым же сигнальным флагом — рыбозасольный цех.

Вдоль берега тянулась такая же, как под островом, полоса сравнительно гладкой воды, и Рассохин, взявший, снова управление в свои руки, круто наклонил машину, прицелился на эту узкую полосу. Почти у самой воды машину вдруг придавило ветром, и она скользнула на крыло, теряя под собой спасительную затишь.

— Газ! — крикнул Рассохин и, рванув штурвал на себя, мгновенно всютел, ему даже показалось, что левый поплавок чиркнул по макушке волны. Пришлось делать второй заход, что уже само по себе было чепэ. Он разозлился, понял, что лучше садиться с озера, прямо в волну. Теперь ветер был встречным, и он был союзником.

Рассохин мельком взглянул на Шуру. У того то ли от напря-

жения, то ли от серьезности момента оттопырилась нижняя губа; он завороченно смотрел на приближающуюся вздыбленную воду. Рассохин засмеялся, Шура резко, недоумевающе повернул голову, не поняв, что в их ситуации смешного. Но губу подобрал и стал смотреть не в окно, а на приборную доску, как ему и положено..

Сели они благополучно, только в грузовой кабине от бешеной тряски оборвался и загремел огнетушитель. Из-под винта летела, затуманивая окна, водяная пыль.

Рассохин отпустил тормозную гашетку, подмигнул Шуре:

— Как ни болела, а померла, а?

3

На причальных мостках, выдвинутых в озеро, топтался парень в брезентовой куртке и резиновых сапогах, держал в руках кольцо швартовочной веревки. У дверей рыбозасольного цеха — бревенчатого дома с узкими бойницами окон — толпились пять-шесть рабочих в обвисших, корбящихся от соли синих халатах, наблюдали за причаливанием.

Рассохин выскочил на мостки. Волны били снизу в доски, вода сквозь щели пузырилась, блестела. Пока добежал до берега, в туфли налилось. Он весело ругнулся, подошел к рабочим.

Из цеха вышел грузный низкорослый мужчина лет пятидесяти, в таком же синем халате, но почище, в красном берете с хвостиком; из верхнего кармана торчала шариковая ручка. Рассохин поздоровался с ним персонально, за руку. Это был мастер цеха, фактический начальник рыболовецкого посёлка, а значит, и всего озера — Софрон Софроныч, по национальности селькуп.

— Та, та, та,— сказал радостно Софрон Софроныч, изо всех сил хлопнув себя по широким бедрам. — Эдакая волна, эдакий ветер, кто летит? Виктор летит — мы разве ждем, мы рыбу солим.— Узкие миндалины глаз на его смуглом от природы, лишённом растительности лице исчезли в улыбке.

— Ветерок нормальный, — сказал Рассохин, которому было неловко за неудачную посадку. — Как раз от гнуса. А то небось заели тут?

— Засели, засели, — охотно подтвердил Софрон Софроныч, и рабочие тоже закивали.

— Груз-то хоть есть? — спросил Рассохин (спросил просто так, прекрасно понимая, что груза в эти дни накопилось достаточно). При этом он мельком оглядел берег и тропинки кверху, к поселку. — Только учтите, мы без тары, — добавил он.

— Есть, есть, много есть. Бочки есть, всякий груз есть!

— Бочки — это дело. Нам ждать, сами видите, не с руки. Катите бочки.

— Бочки, бочки, бочки, — запел тонким голосом Софрон Софроныч и, растопырив руки, пошёл на рабочих, загоняя их, точно кур, в широкие двери склада.

— Доктор дома сидит, что ли? — спросил Рассохин минуту спустя, отступая с настила, по которому рабочие сноровисто, с шутками и гиканьем покатали стокилограммовые бочонки, набитые пелядью.

— Рыбачит доктор, с Юркой. — Софрон Софроныч сморщил лоб и погрузился: понимал, что сообщает неприятность, и, чтобы хоть как-то смягчить ее, сказал: — Связи нет, погоды нет, кто знал, что прилетите?

— Какая рыбалка в такой ветер?

— Они в протоке, баловство там, не рыбалка. Ещё утром ушли.

От мостков донесся высокий Шуринов тенорок:

— Девятьсот кгэ и ни грамма больше! И никаких пассажиров. Ни грамма!

Рассохин поднялся по пригорку, сел на шершавый валун, лицом к озеру.

Несмотря на июль, камень был холоден, даже леденящ, должно быть глубоко увяз в землю, до самой мерзлоты. Берег сплошь, по кромку прибоя, зарос высокой грубой травой-дудкой; по тропинкам в траве лохматыми шарами катались, закруглив хвосты, лайки.

Рябые полотнища сетей на покосившихся шестах вздрагивали под ветром, гирлянды поплавок дробно постукивали друг о друга.

Рассохин был расстроен — настолько, что забыл, для чего присел на камень: чтобы разуться и выжать носки.

В нём вдруг снова, как утром, всколыхнулся и стал расти комочек тоски, подкатил к горлу. Как всё великолепно складывалось с утра! Надо же было столько преодолеть — службистский каприз диспетчера, сдержанное упрямство Шуры, риск посадки в предельно допустимую волну — и всё для чего? Чтобы вывезти лишних девятьсот кэгэ пеляди?

Снизу семафорил руками Шура: погрузка заканчивается, можно лететь.

Нет, сказал себе Рассохин, подымаясь. Они наверняка видели гидроплан, слышали нас, должны вернуться. Надо подождать ещё хотя бы полчаса.

Однако злая мысль из какого-то трезвого кусочка мозга вопрошала: ну хорошо — полчаса, ну хорошо — дождётся пятнадцатиминутной встречи при посторонних понимающих глазах. Что это будет значить? Что решит? Ровно ничего. И что вообще собираешься ты решать?

4

Он спустился медленно со взгорка, зашёл по трапу в отсек, где Шура и двое рабочих громко стучали сапогами в переборки и пыхтели, выравнивая груз.

Рассохин окинул взглядом отсек и, презирая себя, свой голос, в котором он не мог скрыть раздражения, сказал:

— Так не пойдёт, надо перекантовать. Эту сюда, а вот эту — сюда. И закрепить наново, прочнее. Чтобы на взлёте не сдвинуло.

Шура молча сбил щелчком рыбью чешуйку с рукава и, судорожно вздохнув, полез по торцам бочек к выходу: любые слова были мелки и ничтожны для выражения вспыхнувшей в нём обиды.

Рассохин тем же манером пробрался к пилотской кабине, прыгнул в неё, с треском захлопнул дверцу.

Гидроплан показывало. Сквозь стёкла кабины был виден поселковый берег, уходящий по дуге вправо. Ветер гнул высокие лиственницы, трепал кусты, и там, где он бил порывами, кусты становились седыми, точно подпаленными.

Вода вдоль берега помутнела, чёрные ленты водорослей зазме-

ились с мелководья в озеро. Остров вдаль, который походил сверху на стог, сейчас казался перевернутой лодочкой — мгла от сорванных брызг сплющивала его, размывала очертания.

Рассохин с упавшим сердцем понял, что взлетать уже нельзя — ни сейчас, ни тем более через полчаса.

Кто-то возился в грузовом отсеке, звякая железом, было ясно: рабочие наново закрепляли эти идиотские бочки. Он туго помял ладонями лицо, стал медленным, обременяюще тяжёлым движением готовить рацию к работе. Пока скользил по эфиру, отыскивая свою станцию, прозвучал кусочек чьего-то диалога: «Ты жив, старина? — Жив, а что толку?..». Он усмехнулся: да, действительно.

Ответили ему сразу, ждали. Он доложил метеообстановку и свои соображения на этот счёт. На связи был сам командир авиатряда. Он приказал подготовить машину к штормовой погоде и ждать улучшения.

Голос его был сух, официален. Должно быть, диспетчер всё-таки съябедничал, сукин сын.

Шура стоял у рыбозасольного цеха, держа губы вороночкой, свистел. Он был без фуражки, шевелюра на затылке по-петушиному вскидывалась и опадала. Рассохин отодвинул форточку, громко позвал его.

Когда тот пришёл и уселся в свое правое кресло — молчаливый и отчужденный, с твердо сжатым ртом, — Рассохин сказал примиряюще:

— Вот так, Шура. Мы предполагаем, а судьба располагает. Зря мы с тобой расшумелись...

— А я не шумел, — сказал Шура, глядя в окно. — Это, наверное, вы шумели.

«Вы» было явной демонстрацией, наивной, раздражающей.

— Зря потому, — повторил с нажимом Рассохин, сразу потеряв свой примирительный тон, — что лететь нельзя.

— Да, — уже безучастно сказал Шура.

— Что — да?

— Да, нельзя. Сюда можно, а отсюда нельзя.

— Но ведь в самом деле нельзя! — почти крикнул Рассохин.

— На, слушай, штормовое предупреждение! — и стал, срываясь пальцами, щёлкать включателями радиостанции. Хотя этого как раз и не надо было делать — несолидно всё выглядело, не покомандирски.

Шурины наушники покачивались перед ним на рогах штурвала, он даже не протянул за ними руку. Встал и пошёл из машины на берег.

— Стой! — сказал Рассохин. — Приготовить якоря, резервные тросы, будем закрепляться.

От злого бессилия перед обстоятельствами, а может, просто от неловкости перед Шурой, искренним, старательным, всегда моторным Шурой, который, как ни крути, оказался в чём-то прав, — Рассохин окончательно сник, расстроился.

5

Дом Софрона Софроныча выгодно отличался от всех домов посёлка. Был приземист и прочен и стоял в окружении редких лиственниц над озером, так что в сумерки, особенно зимой, окна его служили рыбакам ориентиром.

Просторные сени, и кладовые, и сарайчики, примыкавшие к нему, несколько уродовали вид, напоминая наседку, собравшую под крыло своих великовозрастных цыплят. Зато морозными и выюжными зимами пользоваться всем этим хозяйством было легко и доступно.

Жил Софрон Софроныч с двумя сыновьями — семнадцатилетним Юрием и Генкой тринадцати лет.

После школы Юрий стал рыбаком, членом бригады, нынешней осенью ему идти в армию. Младший Генка зиму жил и учился в районной школе-интернате, на лето возвращался к отцу и был неплохим ему помощником по части техники — командовал бригадой рацией, а в свободное от связи время садился за подвесной мотор.

Жена Софрона Софроныча умерла четыре года назад, в районной больнице. Там, в районе, её и похоронили, потому что была нелётная погода, а по земле до Модуйки ехать много дней.

Она была русской, и сыновья, взяв от отца лишь смуглоту кожи, всем остальным были в мать: светловолосые и рослые, голубоглазые.

Долгое время посёлок жил без своего медика. Правда, район присылал время от времени людей. Однако они, пожив месяца два-три и хлебнув «озёрной тоски», под всякими предлогами уезжали.

В позапрошлом году приехала фельдшерица Тоня, по распределению Красноярского медучилища, да и осталась.

Квартировала она в доме Софрона Софроныча, в боковушке с пологом из палаточной ткани вместо двери, жила как член семьи, питалась за одним столом, была во многом за хозяйку. Софрон Софроныч относился к ней, как к дочери, а мальчишки слушались её лучше, чем отца.

6

Тоня вышла замуж девятнадцати лет, но неудачно. Муж оставил ее, и она по этому поводу не сильно убивалась. Ей казалось, что ушёл он несерьёзно и скоро вернётся: ведь она не сделала ему ничего плохого. Но он не вернулся, а пока она ждала его — любовь незаметно иссякла.

Как-то, возвращаясь из командировки за медикаментами, она в Красноярском аэропорту встретила своего бывшего. Ничто в ней не дрогнуло, не затрепетало, и она, украдкой глядя на мужа через стеклянную стену касс, сказала: хорошо, что не вернулся, умница.

И с этого дня перестала о нём думать.

Случилось у неё ещё одно знакомство, но такое мимолётное, что даже обидно.

На дне рождения у замужней подружки её познакомили с неким Гурьяновым. Был он речником, каким-то по счёту штурманом. В первые минуты он ей не понравился, держал себя скованно и всё искал занятие своим рукам: то вертел спичечный коробок, то скручивал из салфеток фантики.

Он часто выходил на площадку покурить, и Тоня случайно слышала его разговор с мужем подружки-именинницы. Муж только что вернулся из Москвы и небрежно похвастал: достал

жене модное тогда пончо. Гурьянов на это ответил: женщин надо одевать после тридцати — до тридцати их надо раздевать. И они оба рассмеялись, и муж, войдя в комнату, с удовольствием, как свежий анекдот, пересказал это всему застолью.

Застолье тоже смеялось, потому что не было здесь женщин старше тридцати и все они были румяны от вина и хорошего настроения. А Гурьянов как-то сразу стал центром компании, забыл свои фантики и шутил — всегда остроумно, а потом первым предложил открыть танцы.

Само собой получилось, что он пошёл Тоню провожать.

Они шли по бетонированному берегу Енисея. Выше вокзала, у набережной, дремал пассажирский теплоход; он был светлый, огромный и серебрился от береговых огней, как дирижабль; серебрились выпуклые буквы: «Композитор Бородин».

Гурьянов сказал: «Зайдём, познакомлю со своим бытом». Тоня решила, что он всё шутит, засмеялась: «Даже если у вас здесь знаковый капитан, он уже дрыхнет».

Гурьянов принял это как согласие и повернул вниз, по каменным ступеням. Они прошли мимо полусонного вахтенного — мальчишки в матросской робе — и в самом деле очутились на теплоходе, в длинном, пустынном коридоре. Через минуту Гурьянов уже отпирал ключом дверь с медной табличкой «3-й штурман».

Только увидев раскрытую дверь, Тоня поняла — на этот раз Гурьянов не шутил. Она готова уже была повернуть назад, но вдруг подумала: что я волнуюсь, пока ничего страшного не произошло; и потом — этот третий мне как будто нравится.

Войдя, Гурьянов усадил её на диван, сам сел напротив и стал, напряженно улыбаясь, глядеть на Тоню.

«Ну вот, всё как по маслу, — с тоской, вдруг охватившей её, подумала Тоня. — Сейчас начнёт осуществлять свои лестничные принципы».

Она невольно бросила взгляд на дверь: ключ, слава богу, торчал в двери.

— Хотите чаю? — спросил Гурьянов. На столике у окна поблескивал маленький никелированный самовар.

Тоня насторожённо кивнула: да, хочу. Ей ещё ужасно хотелось сбросить тесные туфли, дать отдохнуть ногам, но она не решалась.

Гурьянов выставил две чашки, налил из самоварчика тёмно-розовой жидкости. Тоня поняла, это не чай, и отказалась.

К её удивлению, он не стал настаивать, выплеснул «чай» обратно и тут же снова полез в тумбочку, достал кофеварку, принялся заправлять водой, кофейным порошком, сахаром.

В каюте горел низкий приглушённый свет, полированные стены и мебель шоколадно отсвечивали; сквозь деревянную решётку окна слышался плеск воды. Тоня вдруг пожалела, что ни разу до сих пор не прокатилась на таком теплоходе.

Запищала, забрызгала кофеварка.

— Знаете, — сказала она, — а у вас неплохой быт.

— Ещё бы! — с готовностью откликнулся Гурьянов, наливая и протягивая ей чашку с вкусно пенящимся кофе. — Быт вполне современный, и, главное, всегда со мной... А может быть, я при нём? Вы не считаете, что нам пора переходить на «ты»?

— Современный быт диктует вам современные темпы? — рассмеялась она. — То есть тебе...

— Спасибо, — сказал Гурьянов без улыбки. Отхлебнув глоток, он брал чашку обеими ладонями, точно цыплёнка. — А туфли можешь снять, я же вижу, тебе хочется.

Тоня внимательно поглядела на его склонённую, с короткой стрижкой голову, на руки с крепкими пальцами, крутившие чашку, — тихо, затаённо сказала:

— Серьёзность тебе не к лицу. Тебе лучше идут шутки. Вроде той... Про тридцатилетних женщин.

Гурьянов посмотрел на неё долгим взглядом — она ойкнула в душе, так стало ей тревожно и весело. Он сказал:

— Достоинство шутки в том, что её можно пропустить мимо ушей. Давай налью ещё.

Она, смешавшись, протянула чашку. И пока он выцеживал кофейные остатки и при этом рассказывал что-то, разулась, села в уголок дивана, подобрала ноги. В какой-то момент она посмотрела на себя со стороны, посмотрела ясным и трезвым умом — сказала: ну, девонька, ходишь по лезвию.

«Минуточку посижу и пойду. Только минуточку...» — пробовала она обмануть себя.

Гурьянов тут же сел рядом и странно замолчал, и она, уже слегка паникуя, ничего не нашла лучше, как поставить полную чашку на диван, между собой и им.

— А я о тебе что-то знаю, — быстро сказала она, опасаясь интуитивно, что молчание сейчас, в эту минуту, может вернуть того, прежнего Гурьянова.

— Что именно знаешь? — спросил он.

— Что ты... работал в тайге.

— Информация в компании?

— Нет, сама. Ты чашку держишь в ладонях, как будто отогреваешь их. Таёжная привычка. — В самом деле? — поразился он. — А ты глазастая. Он пристально посмотрел на Тоню.

— Ага, стоп. Значит, и ты тоже? А?

— Немножко, — сказала Тоня. — После школы. Поварихой в сейсмопартии. На Подкаменной.

— Ну молодец! — Гурьянов оживился. — А я, знаешь, мерную ленту по всей Сухой Тунгуске протащил. С геофизиками. А уж после — в штурманское. Тоже — история вышла. Слушай, — перебил сам себя, — ты, конечно, Матьяша знаешь!

— Кто это?

— Матьяш-то? Ну, даёшь! Вертолетчик, знаменитость. Он и на Подкаменной летал.

Тоня добросовестно подумала и сказала виновато:

— Нет, не знаю. Я же всего сезон... А что?

— Ну, чёт с ним... Во ас — два раза на своей мельнице в снег падал.

— Да что ты! И ничего? — удивилась Тоня.

— Ага, как огурчик. Но ты не думай, я это не ради эффекта: интересно общего знакомого найти. Так, для разрядки напряжённости!

Гурьянов рассмеялся и потянул из-под воротника надоевший ему порядком галстук. Тоня тоже улыбнулась — своей маленькой, важной сейчас победе.

— Уф, извини, — сказал он, с решительностью комкая и бросаая галстук на кресло. — И убери, пожалуйста, из-под меня свой кофе: Не за себя боюсь, за казённое имущество!

Теперь они смеялись оба и оба понимали, что случилась между ними счастливая минута. И что бы ни стало — сейчас или потом, — всё будет освящено этой редкой минутой душевного единения.

Сердце у Тони прыгнуло — даже губам стало сухо: смеющиеся глаза Гурьянова были так близко, что спасти от них могло только чудо.

Утром «Композитор Бородин» ушёл в рейс, в низовья Енисея, и вернулся только через двенадцать дней, когда Тони в городе уже не было.

7

Когда после ненастных дней прилетал гидроплан, или, как, подражая авиаторам, говорили — «борт», на берег выходил весь посёлок. Стояли и сидели на сухом бугре, смотрели, кто прилетел, что разгружают: продукты, почту, которую раздают тут же. С особенным удовлетворением наблюдали, как грузят рыбу — результат их труда. Все были отлично осведомлены, сколько рыбы скопилось на складе и сколько требуется рейсов, чтобы вывезти на рыбозавод.

Вот почему жители Модуйки старались не портить отношений с лётчиками, даже слегка заискивали перед экипажами, выполняли все их требования, а иногда и прихоти. Что поделаешь, договор договором, а личная инициатива пилота тоже кое-что значит.

А что делать, если слетать в район захочется — за покупкой там или по другой личной надобности? На этот счёт правила были строгие, особенно в летнюю горячую пору, когда на озере вводился сухой закон.

Попасть пассажиром на самолёт можно было лишь в двух случаях: по вызову из района или по справке, выданной поселковым фельдшером.

Это-то последнее было для Тони сущим наказанием.

Обычно накануне рейса к ней прибегал какой-нибудь посыль-

ный, мальчишка, и с тревогой в голосе сообщал: с дядей Васей (или дядей Ваней) плохо.

Тоня брала свой чемоданчик и спешила к дяде Васе. Тот лежал на кровати, поверх одеяла, задрав к потолку заросший кадык. Выяснялось элементарное: он «чего-то такого съел» и теперь «кишка кишке долбит по башке». А у него застарелый гастрит, и, словом, ему давно пора показаться районным врачам...

Тоня осматривала, ощупывала дядю Васю, мяла его крепкий, мускулистый живот. Дядя Вася умеренно стонал, а на загорелой небритой физиономии его было написано одно: смертельное желание выпить. Тоня хмурилась, оставляла ему какие-нибудь безобидные таблетки и уходила.

Дядя Вася догонял её у порога, заправляя на ходу рубаху, загораживал дверь грудью и начинал умолять. Он прекрасно знал: от крика и скандала Тонины глаза становились холодными как лед. А просительный голос, страдающий взгляд, клятва «в последний раз» могли ещё возыметь действие.

Выслушивая сбивчивый страстный дяди Васин монолог, Тоня испытывала душевные муки не меньше, чем сам дядя Вася.

Она знала, как укоризненно посмотрит на неё Софрон Софронич, как рассердятся пилоты. Но рядом дышал дядя Вася, и она, не подымая глаз, выписывала ему направление.

По этой причине Тоня редко выходила на берег, когда прилетал «борт».

Особенно переживала она, если прилетал экипаж командира Виктора Рассохина. Почему-то перед Рассохиным ей было особенно неловко за свои липовые справки.

И когда ей самой приходилось по делам летать в район и угадывал его борт, Тоня старалась держаться как можно незаметнее и, во всяком случае, первой не заговаривать с лётчиком. Да и он не особенно к этому стремился, она была для него обычным, как все, пассажиром.

В один из весенних дней, когда озеро очищалось от льда и был особенно большой перерыв в полётах, произошло следующее.

Тоня, как обычно, не устояв перед натиском очередного «дяди Васи», выписала направление в район. На этот раз совесть её мучила не слишком: на руках дяди Васи действительно обнаружили гнойнички, признак лимфангоита — профессионального заболевания рыбаков. Она решила, не будет вреда, если дядя Вася покажется врачам. Хотя вполне могла обойтись своими средствами.

Перед самым рейсом она вдруг узнала: молодой рыбак Сёма Моисеев третий день лежит дома на животе и не позволяет звать доктора. Она пришла к нему и, бегло осмотрев, потребовала припустить штаны. Алея от смущения и морщась от боли, Сёма снял штаны, и Тоня обнаружила на ягодице карбункул, причем в такой запущенной форме, что требовалось хирургическое вмешательство. Обработав отёк, перевязала рану и тут же выписала направление в районную больницу. В сложившейся ситуации дядю Васю следовало задержать: два человека на грузовой рейс — это слишком. Но, представив, какую сцену закатил бы на берегу уже настроившийся на полёт дядя Вася, Тоня только рукой махнула.

Прилетел борт Виктора Рассохина.

Тоня сидела у окна и видела, как подруливала машина и как бегал по поплавку второй пилот Шура, ловя чалочный конец.

Началась погрузка, и Рассохин в меховой куртке нараспашку вышел на берег, стоял, курил и разговаривал с Софроном Софроничем.

А потом она отвлеклась на минуту и, когда снова взглянула в окно, внезапно увидела: Рассохин крутой тропкой поднимается к посёлку. Шаг его был решительный, а в руке, которой он размахивал в такт шагу, трепетал прямоугольничек бумажки.

Тоня прижала ладонь к груди — так неожиданно и больно ударило сердце. Она сразу, в одно мгновение поняла, что это за бумажка и куда столь решительно направляется первый пилот.

Отпрянув от окошка, стала она посреди комнаты в мучительно-

жалкой растерянности. Совершенно не могла представить себе, как переживёт сейчас стыд и ужас неизбежной сцены. Схватила с гвоздя дошку, кинулась в сени. Тут же опомнилась, охладела: поздно.

Она вернулась в свою комнату, опустилась на уголок кровати, с дошкой в руках, оцепенела...

— Послушайте, доктор, — сказал Рассохин громко, едва переступив порог. В больших комнатах, которые просматривались от порога, было пусто. Он огляделся, прошёл и откинул полог, заменявший дверь в боковушку. — А, вы здесь... Послушайте, когда это прекратится?

— Что? — спросила сиплым полушёпотом Тоня, подняв и тут же опустив лицо.

— Вот это! — Он потряс бумажкой. — Вместо того чтоб взять лишних сто килограммов груза, мы снова возем чёрт знает кого.

— У него лимфангоит...

— Бросьте, его болезнь называется по-другому. Тоня проговорила жалобно:

— Что вы-то хотите?

— Чтобы вы, доктор, не потакали алкоголикам.

Он стоял в дверном проеме, придерживая одной рукой полог, а другой встряхивая за уголок злосчастную дяди Васину справку. Был он в белой рубашке с чёрным галстуком, в форменной фуражке на правую бровь — подавляюще симпатичный парень, и Тоня, раз всего взглянув на него, окончательно пала духом.

Не Рассохин бы стоял перед ней, а любой другой, она нашла б что ответить. Она б сказала: ты вот работаешь в белой рубашке, а этот самый дядя Вася, которого ты собираешься выкинуть из самолёта, месяцами ходит в **робе** — **зимой обледенелой**, а летом — вечно мокрой и пропахшей водорослями и солью. Когда **рыба** идёт, дядя Вася вкалывает, как негр, **от зари до зари**. А когда **озеро** штормит, он в засольном **цехе** ворочает лопатой **так**, что **позвонки** трещат. И если он раз в **месяц** на **сутки-двое** вырвется в **райцентр** и отведёт душу — в **чём** его **преступление**, он не **каторжник**! И ещё бы добавила: вы **лучше чем справкой** трясти, похлопотали бы там, чтобы поскорее **вводили пассажирские рейсы**. А то **рыба у нас** стала важнее человека.

Тоня молчала, комкала на коленях дошку. Она была в стареньком вязаном джемпере и брюках. Волосы, густые и упругие, скреплены кое-как — не предполагала она этой встречи, не ждала, боже мой, хоть бы отвёл взгляд, сколько можно.

Низкое весеннее солнце дымно било сквозь двойные стекла. Лицо Тони розовело, и синтетический мех шубки под её пальцами искрился, как тёплая изморозь.

Рассохин шестым чувством понял вдруг, что здесь что-то не так: отчаянная скованность докторши таила в себе иные, более глубокие и волнующие причины.

Он оглядел комнату: кровать, стол, на столе кучка журналов, флакончики, керосиновая лампа, зеркало величиной с ладошку, на пластиковой подставке. Самодельная книжная полка в углу; другой угол закрыт простыню, там, вероятно, гардероб. Единственное украшение на стене — перья глухаря, прибитые всером вокруг цветных открыток.

— Ну ладно, доктор, извините, — сказал он таким тоном, будто убогая обстановка эта враз примирила его с девушкой и даже с дядей Васей, который — он знал — уже сидит в самолёте, крепко вцепившись в свое «законное» место. — Можно зайти?

— Да, пожалуйста, — Тоня удивлённо взглянула на летчика.

Рассохин опустил полог за собой — прошёл к окну, чуть склонясь, стал оглядывать озеро, горизонт, потом обернулся, снял фуражку.

— Вы сами-то часто бываете в райцентре? — спросил он.

— Нет... то есть бываю, конечно. Но не часто, нынче два раза всего.

— Один раз я помню, — сказал Рассохин.

— Ага, один раз с вами, — подтвердила она, обрадованная тем, что он заметил её.

— Вы тогда ещё банку с вареньем уронили, — засмеялся он. — Неделю малиной пахло!

— От мамы посылка. — Тоня смутилась. — Банка три кило. Думала, до весны сладкого хватит. А в вашем самолёте настоящий коток, хоть бы песочком посыпали!

— Учтём, доктор, ваше пожелание. Если вы впредь будете летать только с нами, — сказал Рассохин и тут же сам почувствовал излишнюю простоватость тона. И Тоня тоже почувствовала, молча поднялась и стала вешать на гвоздь уже надоевшую ей дошку.

«Ах ты девочка-тунгусочка! — думал удивленно Рассохин минуту спустя, шагая к озеру и перебирая детали их короткой встречи. — Задружить с тобой, что ли?».

От этой мысли ему стало только весело.

9

Но уже через полтора часа, прилетев в райцентр, в суতোлке работы он забыл и докторшу, и эту их встречу и вспомнил о Тоне только спустя неделю или две, когда им снова выпал рейс на Модуйку.

Опять в счёт груза был очередной дядя Вася с медицинской бу-
мажкой. И опять Рассохин пошел «разобраться», как он объяснил Шуру свой визит к докторше.

Однако на этот раз она оказалась не одна, тут же был старший сын Софрона Софроныча Юрий — долговязый, с копной нестриженных волос хмурый парень. Тоня в полиэтиленовом прозрачном передничке стояла около печи, готовила обед. По тому, как дрогнули её губы и она улыбнулась, обнажив влажную полоску зубов, Рассохин понял: рада ему.

И эта её неприкрытая радость, как ни странно, не успокоила его, а наоборот — взволновала.

Он сел у двери, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги, стал рассказывать что-то — весёлое и необязательное, а она, стоя у гудящей печи, слушала его, часто поворачивая к нему своё раскрасневшееся лицо.

Он всё ждал остаться с ней **наедине**. Юрий то выходил ненадолго во двор и чем-то **гремел** под самым окном, то вдруг возвращался. А потом вообще зашёл во вторую комнату и затих там, будто прислушивался...

Рассохин с **ребячьей досадой** уже поглядывал в окно, не спешит ли за ним нетерпеливый Шура: погрузка наверняка уже закончена.

Тоня с тазиком в руках вышла в сени, и Рассохин, уже не раздумывая, торопливо вышел следом.

В глубине просторных сеней, куда прошла Тоня, было сумрачно, хотя двери на улицу были распахнуты. Он взял её сзади за плечи. С мягким стуком упал совок, которым Тоня набирала в тазик муку.

Она подняла руки — то ли для слабой защиты, то ли обнять хотела — и тут же опустила, потому что руки были в муке. Рассохин легонько потискал пальцами её узкие плечи, привлёк к себе.

Она только тепло задышала ему в шею, и он, страдая и расстраиваясь, как никогда не страдал и не расстраивался в подобных ситуациях, пробормотал:

— Ах ты, тунгусочка...

Подержал в ладонях её покорное, ставшее горячечным лицо и, повернувшись, быстро пошёл из сеней.

В этот момент распахнулась дверь — он едва не столкнулся с выскочившим в сени Юрием.

Молча отстранив паренька и не оглянувшись, Рассохин вышел во двор и скорым шагом, почти бегом, стал спускаться к причалу.

Но если бы оглянулся, то был бы немало удивлен и озадачен тем выражением ненависти, которое на мгновение исказило Юркино мальчишечье лицо.

10

Лия вздрогнула от телефонного звонка, хотя всё утро только и делала, что ждала его. Быстро подняла трубку, проговорила:

— Редакция, отдел писем, Рассохина.

Звонили из аэропорта, из отдела грузоперевозок.

— Лия Дмитриевна, сегодня на Модуйку идёт экипаж Щербакова.

Она бросила взгляд на дверь, боясь, чтобы во время разговора не вошёл кто-нибудь из коллег — сотрудников редакции, сказала:

— Спасибо. Сколько рейсов?

— Четыре.

— Хорошо, значит, смогу вернуться после обеда. Где Рассохин?

— У них моторесурс кончился, где-то здесь загорают. Лия помедлила, правой рукой она держала возле уха трубку, а левой нерв-

но заполняла штрихами лежащий перед ней чистый лист с единственным словом-заголовком: «Молчальники».

Вз — Лия Дмитриевна, вы слушаете? — обеспокоенно спросила трубка.

— Да, да, извините. — Лия крепко зажмурилась и сказала: — Передайте Щербакову, я буду на причале через двадцать минут, пусть подождёт. Вы помните наш уговор — никому ни полслова?

Вз — Конечно. Только торопитесь, Лия Дмитриевна, экипаж на берегу.

Час спустя она была в воздухе, сидела в гулком дребезжащем чреве «аннушки», на каких-то ящиках, сосала карамельку. Год назад она бросила курить и, когда тянуло к сигарете, клала в рот сладкое. От курения отвыкла, зато приобрела новую привычку: в минуты сосредоточенности или волнения сосать кисловато-острую карамель.

А сейчас она волновалась так, что покалывало щеки. Она то и дело доставала из сумочки на коленях зеркальце и всматривалась в себя — сильно ли заметно проступает это на лице?

Ещё неделю назад, когда после мучительных размышлений ей впервые пришло в голову слетать на Модуйку, она ужаснулась своей мысли — слишком представлялось это унижительным. Нет, как-нибудь иначе. Она перебрала много вариантов. Сначала решила без долгих терзаний собраться и уехать, оставив мужу гордое и язвительное письмо, но тут же раздумала. Это выглядело бы слишком по-книжному, а главное, легко и просто для него. На такой вариант она категорически не согласна. Прежде поговорить с ним — сдержанно, с достоинством, потребовать объяснения, в конце концов имеет же она право.

Но какие объяснения могут удовлетворить её? От обиды и уязвленного самолюбия, от сознания своего непоправимого горя у неё временами перехватывало грудь, не хотелось жить и двигаться.

И так вот получилось: не уехала куда глаза глядят, не вызвала на разговор (духу не хватило), а села в самолёт и летит на Модуйку, одно название которой с недавних пор стало для неё символом лжи и предательства.

Лия вспомнила: года три назад в редакцию пришло письмо одной молодой женщины; от неё ушёл муж, и она в своем отчаянии обратилась к газете с мольбой помочь вернуть любимого человека. Редактор поручил тогда Лии ответить женщине. Лия потратила половину рабочего дня и сочинила длинное вдохновенное письмо. Там были, помнится ей, такие выражения, как «женская гордость», «всепобеждающее чувство» и в заключение совет: не считать, что жизнь сломана, жизнь так прекрасна и удивительна, встретится ещё на пути тот, который будет достоин, и тому подобное.

Воспоминание это точно ожгло её, она даже застонала в душе — так гадко стало за вдохновенную фальшь того давнего ответа.

Разве «женская гордость» посадила её тайком от мужа на этот самолет? — спрашивала себя сейчас Лия. Жизнь в самом деле, считай, сломана, потому что кто бы ни встретился потом на пути — дороже Виктора не будет, не будет...

За круглыми стёклами летели туманные клочья. В отсеке то становилось пасмурно, почти темно, то вдруг заливало непривычно-блескучим солнечным светом, так что сами собой зажмуривались глаза. Пять лет с Виктором представлялись ей сейчас вроде этого полёта сквозь облачность: то нестерпимо светло, то угрожающе пасмурно.

Машина накренилась, и Лия мельком увидела блеск водной глади и кусочек берега с редкими домиками посёлка. Она была здесь однажды, писала очерк о рыбаках, помнит старого мастера с круглым одутловатым лицом и его большой дом на высоком берегу, в котором ночевала. Что ещё сохранила память? Ничего, ну да бог с ним, в этом ли сейчас дело.

* * *

Лия неожиданно плохо, как никогда, перенесла полёт, её подташнивало, она спросила, где живёт фельдшер, и довольна была, что так естественно прозвучал вопрос. Ей с готовностью указали на большой дом мастера. Она медленно пошла по крутой тропке, чувствуя, как тяжелеют ноги и удары сердца отдаются где-то в затылке.

У входа в уже знакомый двор она остановилась растеряннo. Во дворе дрались собаки — три или четыре; взирали, крутились и визжали. Девушка в узких спортивных брюках и куртке нараспашку бесцеремонно, решительно растаскивала их за загривки, пихала коленями, покрикивала. К ногам её лепился великовозрастный щенок с поджатым аж к самому животу хвостом.

«Она», — сразу же, без колебаний, решила Лия.

Девушка утихомирила, наконец, свору, щенка подняла и взбросила на крышу сарайчика, пригрозив, чтобы сидел.

Лия вошла во двор. Боясь потерять в лице насильно приготовленную улыбку, протянула руку:

— Лия, журналистка.

— Тоня, — ответила девушка, глубоко дыша и подбирая с раскрасневшегося лица волосы.

— Вы так бестрепетно с ними расправляетесь — не страшно?

— Нет, а чего? Это славные собаки.

— Ого, славные, до сих пор спины — глядите! — дыбом. — Правда, правда славные. — Тоня наклонилась, сбивая с коленей налипшую шерсть. — Только вот этого долговязика невзлюбили, мне охотник знакомый подарил. Здешние собаки вообще не любят слабаков. Я его подкармливаю персонально, а им это, видите ли, не нравится. Приходится бедняге на крыше жить. А вы к кому?

Нет, чего там говорить: Тоня была не из красавиц. Стройненькая, правда, прекрасные волосы (как они полились, когда она наклонилась!), лицо чистое, и голубая водолазка на груди — торчком, но всё это от молодости и с молодостью пройдет. А что в ней ещё, особое?

— Если вы и есть фельдшер, то, собственно, к вам. В полёте безумно разболелась голова. Мне бы пирамидона или что есть, — говорила Лия, а в затылке продолжало отдавать, и не от головной боли, которую она выдумала, а от мысли, — в сущности, простой и оттого ужасной: что соперница, вот она, перед нею, рядом. Этих губ касались губы Виктора, и по этим волосам скользили его руки. Она искала на Тонином лице следы разврата, какой-нибудь порочности, чтобы почувствовать свое преимущество любящей женщи-

ны. Но не находила и переживала это.

Они сидели в маленькой комнатке-боковушке с палаточной тканью вместо двери, пили чай, который быстро приготовила Тоня, разговаривали.

— Есть у нас рыбак — Сёма Моисеев, — вот о ком вам надо написать, — говорила Тоня. — Ну, передовик и прочее. Знаете, работы у меня мало (народ здесь здоровый), и я иногда ухожу с бригадой, смотрю, как рыбу ловят. А на Сёму смотреть, когда он сети вымётывает или выбирает, — такое удовольствие. Сам он крепыш, мускулистый, а волосы на лбу ленточкой перетянуты, как у старого богомаза. А тут художница к нам каждое лето зачастила, портреты пишет. Всё Сёме приказывает: сними, говорит, ленту, не буду тебя с лентой писать, ты мне эпоху смещаешь. Сёмка только хохочет. А художница, по-моему, просто равнодушна к нему.

«Ты чего зеваешь? — подумала Лия язвительно. — Вот бы и вторилась, чем по чужим мужьям промышлять. Не то эта дура портретистка завлечёт бедного Сёму, и лишитесь вы передового жениха».

— Тётъ Тонь? — послышался из-за дверного полога мальчишеский голос. — У меня сеанс счас, будете чего передавать?

— Нет, Гена, спасибо, ничего, — ответила Тоня. — Не забудь погоду!

— Чей это мальчик? — спросила Лия.

— Сынишка хозяина. Серьезный товарищ. Летом и за радиста у нас, и за моториста. Прелесть мальчишка. Представляете, на берегу постоянно сети развешены, так одна беда — птицы, пичуги разные, то и дело в сети попадают.

Гена утром встаёт и первым делом к сетям бежит, птичек освобождать.

— А вы сами замужем? — Спросив это, Лия принялась внимательно копаться ложечкой в блюде с вареньем.

— Была, да сплыла! — ответила Тоня и засмеялась. «Действительно — смешно, прямо до колик». Лия вдруг поймала себя на том, что злое чувство неприязни, почти ненависти, с которым она вошла сюда, уже не теснит горло и в мускулах лица нету прежней

мучительной напряжённости.

«Нет, нет, спохватилась она. Я унижена, растоптана, об меня, можно сказать, ноги вытерли, никакой примиримости! Глаза у неё лживые, и голос лживый, и то, что все окружающие в её словах прелестные да славные, даже собаки,— тоже ложь. Она думает, я о ней очерк писать собираюсь...»

Лия с усилием опустила затрепетавшие ресницы:

— Значит, разошлись, так понимать?

— Ага, — просто сказала Тоня.

— Вы тут по распределению, конечно. Много осталось отбавывать?

— Я уже своё отработала, могу уехать хоть завтра, но не хочется, привыкла.

Лия оглядела комнату, стены, коробящиеся от неумело положенной штукатурки, задержалась на украшении из глухариних перьев, вздохнула:

— На вашем месте я бы уехала. В большой мир, в большую жизнь. Молодая, свободная. Или бы вышла замуж за этого славного, как его... Сёму.— Лия улыбнулась своей шутке. — Я газетчица, мне много приходится ездить. Часто в глухих углах я встречаю таких женщин, как вы, — молодых, полных сил. И мне их искренне жаль, до слёз. Жаль их короткой молодости, даже — извините — их юной жаждущей натуры. Женщина с женщиной может говорить откровенно, не правда ли? — добавила она.

Тонины щёки слегка зарозовели, она сказала:

— А вас не угнетает иногда, что вы думаете так, а пишете иначе?

У Лии словно холодные горошины по спине прокатились.

— Вы что, читали мои материалы?

— Нет, к сожалению. Ваших я не читала. Я ведь даже не знаю вашей фамилии. Я это вообще.

— Э, Тонечка, милая, журналистское сознание — не зеркало, что видит, то отражает. Это инструмент посложнее. Скорее уж призма. Помните, из школьной физики? Входит один луч, а выходят два.

— Для меня это сравнение непонятно,— сказала Тоня. — И во-

обще я с физикой была не в ладах.

— Мы не о физике, милая, — укоризненно заметила Лия.

— Мы о жизни. Или вы с нею тоже не в ладах? Вот и муж вас бросил...

Лия сказала и тут же спохватилась: она теряет рамки самой же ею придуманной тяжкой игры. С утра напряжённые нервы явно сдавали.

— Если бросил, как вы говорите, значит, заслужила. Насильно мил не будешь. — Тоня теперь уже настороженно, с чувством неизвестно отчего пришедшего беспокойства посмотрела на приезжую. Лицо женственное, со слегка увядшей в тених век кожей, милое лицо женщины лет двадцати восьми, а может, моложе, — что-то в её манере настораживающее, странное; или уж профессия такая?

— Это правда, насильно мил не будешь. Старая и вечно новая истина, — сказала Лия и поморщилась: ей становилось что-то совсем худо, глаза вдруг повлажнели. Чтобы скрыть слёзы, она стала рыться в сумочке, опустив лицо. Наткнулась на кулёк конфет, сказала притворно радостно: — О, забыла, карамель, чудесные конфеты, в Москве друзьям заказываю, угощайтесь. — И сама первая зашуршала оберткой.

Она уже понимала, что переоценила свои силы. Конечно, думала она, девчонке что, а мне приходится лгать, огород городить. Какую-то призму выдумала...

Ей уже было не по себе, самолюбие страдало, и тошнота не отпускала, чёрт бы летал на этих жестянках. Хотелось теперь одного: как можно натуральнее доиграть встречу и распрощаться.

А если не мудрить и сделать просто: прямо в глаза высказать всё. Чего церемониться! От этой внезапной мысли у Лии застучало сердце. Да, именно здесь, сейчас. Недаром Виктор всегда говорит, что я люблю усложнять самые простые вещи. А всё гораздо проще...

Тошнота уже, казалось, заполнила её всю, в ушах зазвенело, она навалилась на стол, прикусила зубами платочек. Рывания подымались из неё толчками, в глазах всё плыло. И она с ужасом, со стыдом и страхом поняла, что плачет — громко, жалостливо, некрасиво.

— Тяжелый полёт... голова... ужасное состояние, извините, —

бормотала она первые попавшиеся слова и щёлкала сумочкой, то пряча платок, то вынимая и прикусывая его.

Тоня встревожилась:

— Вы больны, может, приляжете?

— Да, пожалуй, лечь... тяжело, нехорошо. Хотя нет, мне возвращаться надо... в редакции ждут.

— Прилягте, — настойчиво повторила Тоня. — Я сейчас что-нибудь найду успокаивающее, — и, выдвинув из-под занавеси картонный ящик, стала копаться в нём.

Лия легла на кровать, комната качалась перед ней. Вдруг сильно закачался брезент, просунулась сквозь него нестриженная голова!

— Тётъ Тонь, обещают ухудшение!

Лия поняла, что речь идет о погоде, сделала попытку встать.

— Ой, что вы, мне надо лететь.

— Улетите, улетите, — сказала Тоня и посмотрела в окно.

— Вон, кажется, гудит. — И профессиональным жестом взяла Лию за запястье. — Полежите немного, это пройдёт.

Через пять минут Лия стояла возле стола, заглядывая в маленькое на пластмассовой подставке зеркало, спешно приводила себя в порядок.

— Нервы, будь они неладны... — говорила она смущённо.

— Может быть, и нервы, — сказала Тоня. — Только мне кажется, вы беременны. Вы знали об этом?

* * *

...Назад Лия летела опять одна. Теперь весь отсек был заставлен корзинами с рыбой, сидеть стало неловко, жёстко, но главная неловкость, которую она сейчас ощущала, была не физическая, а душевная.

Ей было стыдно за свои слёзы и за истерику, а главное, стыдно за свои слова, боже, что она городила! Откуда к ней, в её расстроенную голову влетела эта физика, эта несчастная призма с преломлением — за минуту до того она ни о чём подобном не думала. Тут вспомнила она «юную, жаждущую натуру», ахнула и, привалившись к гудящей вибрирующей стене, замычала. Как же у

тебя получилось, говорила она, что ты, Лийка Рассохина, когда-то активистка журналистского факультета, выпускница с красным дипломом, втайне мечтавшая стать писательницей, — так мелко и гадко унизила себя?

Впрочем, всё это теперь, наверное, ерунда. У меня будет маленький! Пять лет ждала, отчаялась, так что уж и не верится. Сказать Виктору? Нет, это сейчас прозвучит как ультиматум, уговорю его, уедем, переломлю себя, начнём по-другому. Два человека — просто два человека, а трое — уже семья. Мы же с ним за все пять лет ни разу, кажется, вслух не называли себя семьёй...

Она мало-помалу успокоилась и даже достала зеркальце и долго придиричиво смотрелась. Самолёт уже не бросало, он шел ровно и грузно, лишь иногда, как на ухабах, скрипя и кренясь.

Лия глядела на кусочек рифленого зашарпанного пола под ногами, на дверь с облезлой, такой домашней ручкой, и ей вдруг подумалось, что и этот зашарпанный пол, и захватанная до блеска ручка, и вся в многочисленных вмятинах дверь — лучший показатель надёжности и долговечности неказистой машины. Надо будет эту психологическую деталь записать, пригодится. Из корзины торчала рыба голова с вытаращенными глазами и широко раскрытым беззубым ртом, смеялась.

* * *

После отъезда странной журналистки Тоня вышла на берег, присела на камушек; ощущая разгоряченным лбом холодный от воды ветерок, крепко обняла колени, задумалась.

Что же, собственно, произошло?

Небо над пустынной ширью озера казалось особенно высоким. То приближался, то затихал чёткий стукоток лодочного мотора — возвращались с лова рыбаки.

Кто-то мягко ткнулся ей под локоть. Это был долговязик, он изо всей силы рубил хвостом воздух, даже покачнулся от усердия — так хотел выразить ей свою любовь и преданность. Тоня взяла его за щеку, сказала укоризненно:

— Опять не захотел сидеть на крыше, дурачок? Ну гляди, по-

треплют тебя большие собаки, поумнеешь.

Так что же в конце концов произошло?

11

С помощью рабочих Рассохин и Шура закрепили гидроплан, прихватили портфели, плащи, поднялись к дому Софрона Софронича.

Здесь, наверху, ветер гулял во всю свою штормовую силу. Тропа по взгорку была устлана поваленной жёсткой травой. Гидроплан с оранжевым хвостом походил отсюда на жучка, случайно зацепившегося за соломинку причала. Поверхность озера шевелилась и кипела белыми стружками, казалась отсюда выпуклой.

На столе, когда они вошли в дом, уже дымилась рыба в глубокой сковороде. Софрон Софронич в просторной рубаше, гостеприимно сияющий улыбкой, мыл под рукомойником ложки.

Рассохин и Шура сняли кители, не спеша умылись — торопиться теперь было некуда, — сели за стол.

Но только они принялись за обед, как под окном послышались голоса и вошёл Юрий с двустволкой через плечо, шурша мокрым брезентом, а за ним Тоня — в прожженной и залатанной телогрейке и лыжных, обвисших в коленях брюках.

В доме сразу стало шумно и хлопотливо, празднично.

Тоня, розовая от ветра, была возбуждена; с порога, едва поздоровавшись, стала рассказывать, как Юра учил её стрелять по гагарам, а потом, на выходе из протоки, их чуть не захлестнуло волной. Так и приплыли по колено в воде, ужас.

Стесняясь своего страшненького одеяния, она скрылась в боковушке, крикнула: «Прошу не входить!» — и оттуда:

— А Генка где, шельмец и обманщик! Он что нам обещал: мотор будет работать как часы? А только мы самолёт слышали, я говорю: поехали — и мотор заглох... Ну Генка-механик, отладил, называется. Хорошо ещё, что в протоке, где затишек, а если бы в озере — представляете ужас?

— Чо мотор, чо мотор! — вскинулся из дальней комнаты Генка. — Утром с одного рывка заводился!

— Юра сто рывков сделал! — сказала за занавеской Тоня и засмеялась чему-то.

— Ха, твоему Юре собаками управлять, а не мотором. Не знает, в какую сторону гайки крутятся! — упорствовал мальчишка.

— Не болтай лишнего! — буркнул прошлёпавший босыми ногами Юрий и хлопнул братишку курткой.

Вышла Тоня — в пёстреньком костюме с короткой юбочкой, волосы по лбу крутой чёлкой, — встретила глазами с Рассохиным, и они на мгновение остались вдвоем. У Рассохина от её текучего, неопределенного взгляда родилось ощущение тревоги.

Тоня повязалась передничком и принялась дополнительно накрывать на стол. В завершение вынула из духовки ещё сковородку — с румяной запеканкой, а к ней раскрыла банку тугих болгарских помидор.

Софрон Софроныч, оказавшись с Тониным приходом не у дел, долго топтался возле стола, потом махнул рукой и принёс откуда-то бутылку из-под шампанского — с крепко запечатанной настойкой. Этот жест был встречен голосами одобрения. Бутылку тут же распили, «не поняли» и потребовали вторую.

Софрон Софроныч принёс и вторую — застолье получилось на славу. Даже Шура отмяк, разговаривал со своим командиром без прежней упрямости.

* * *

Глубоким вечером Рассохин сидел на штабеле досок, нервно курил, держа сигарету в кулаке. Порывы шквалистого ветра выдували из кулака искры. Рядом на козлах возвышалась недостроенная лодка, светясь решёткой шпангоутов.

Подбежала лайка, издалека понюхала Рассохина и легла у ног головой к ветру.

Сквозь решётку изредка вспыхивала низко скользящая луна. Была она багровой и нисколько не прибавляла света, который лился, казалось, из самих облаков. Рассохин отчётливо различал шевелящуюся под козлами белую щепу и в двадцати шагах пригибающиеся бутоны цветов — на чёрном стебле серебристо-чёрные

колокольчики.

Тоня появилась неслышно, встала молча за его спиной. Не сказав ни слова, пошла по тропочке — сначала над крутизной берега, а потом в глубь редкого кривого березняка. Он шёл следом. Лайка настроилась было за ними, но вскоре с недоумением остановилась и повернула домой.

В березняке тропа исчезла, под ногами захрустел, запружинил мох, стало трудно идти. Рассохин нагнал Тоню, взял под локоть, заставил остановиться.

Она глубоко дышала, тёмные губы её были плотно, вызывающе сжаты.

Мхи дымились влажным, колодезным холодом. Шелестели листвою верхушки берёз, где-то поскрипывали трущиеся друг о дружку стволы, гул близкой тайги то нарастал, то гас — словно растворялся в этих бесконечных моховых коврах. И при всём этом была такая тишина, что Рассохин, близко наклонившись к Тоне, услышал, как расклеились её губы — для поцелуя.

— Ох, давай сядем, что ли, Витенька, — сказала она, задохнувшись.

Присели на какую-то трухлявую колодину. У Рассохина оттого, что она впервые так просто назвала его по имени, перехватило горло. Он стал потерян и неловок.

Тоня расстегнула ему плащ и, просунув руки, обняла его под плащом.

— Это твоё сердце бьётся, Рассохин? — спросила через минуту она и засмеялась.

Небо — всё — продолжало светиться. В этом ночном сиянии без теней была для Рассохина какая-то завораживающая зыбкость: плавали над землёй белёсые пятна ягельника, а кривые деревца тянулись кверху, как струйки тумана. И молодая женщина, сидевшая рядом и слушавшая руками его сердце, тоже казалась частью этой ночи — зыбкой и нереальной.

Они вскоре продрогли; Тоня сказала жалобно:

— Пойдём ко мне в медпункт, что ли. Печку затопим...

Софрон Софроныч с младшим сыном Генкой спали в дальней маленькой горенке. Гостям — Рассохину и Шуру — было постлано в большой проходной комнате, на полу. Здесь же, на деревянном узком топчане, в углу между окнами, спал Юрий.

Шура, никогда не жаловавшийся на бессонницу и спавший всегда крепко, на этот раз проснулся среди ночи от шума, источника которого он не мог понять.

В окна струился дымчатый свет, проникал в углы. Брошенная посреди пола оленья шкура лоснилась вытертыми краями. Трубка стоящей на столе рации истекала графитным блеском.

Ветер не утихал, порывами давил в оконные рамы, так что рамы покряхтывали и шуршала по стене оторванная картинка.

Но не эти звуки, ставшие уже привычными, разбудили второго пилота.

Он повернул голову: подушка рядом пуста и даже не смята. С вечера, ещё не ложась, командир сказал: «Пойду проведу машину». Значит, ещё проводит, суду всё ясно...

Шуре эта, по его выражению, волынка с докторшей Тоней была не по душе. И не потому, что поведение Рассохина противоречило его, Шуриным, нравственным принципам. Просто второй пилот Шура до самозабвения любил свою работу, в душе гордился ею. И не хотел мириться с тем, что кто-то может ставить работу в зависимость от своих личных сомнительных дел; даже если этот «кто-то» — его непосредственный уважаемый командир.

Когда он снова стал задрёмывать под мерные удары ветра, слышались звуки, похожие на то, как если бы душили одеялом человека. Шура в мгновение вспомнил, что разбужен был именно этими загадочными звуками!

Он весь напрягся в слухе, и через какое-то время из угла, где спал Юрий, донёсся скрип топчана и всхлипывающий вздох, напоминающий стон и заглушаемое рыдание одновременно.

«Кошмары ему снятся, что ли, может, разбудить?» — с тревогой подумал Шура, как паренёк вдруг отбросил одеяло, сел, вскоченный, и закачался, как бедуин на молитве.

— У-у! — проклокотало из его груди. — У-у!

В известково-мглистом свете окон лицо его блестело от слёз и было таким несчастным, что у Шуры от испуга и неожиданности сомлели на ногах пальцы.

«Что с ним? — Шура глядел во все глаза. — Чего это он?!»

Юрий между тем решительно прыгнул с топчана — был без рубашки, но почему-то в брюках, — пошёл через комнату к выходу. Дверей в комнатах дома не было — одни проёмы — и Шура видел в проём: Юрий, продолжая приглушённо всхлипывать, потянул за стволы висевшую на рогах двухстволку.

Ремень, вероятно, запутался, Юрий рвал ружьё с рогов с иступленной яростью. Сорвав, толкнул дверь плечом и исчез в сенях.

Шура окликнул его раз, другой, но тот не услышал.

— А! — Шура в секунду вдруг, в какой-то миг озарения понял всё. Вернее, ему показалось, что он понял всё. И это «всё» было так нелепо, ужасно и в то же время так похоже на правду, что Шура вскрикнул и судорожно засучил ногами, выбираясь из спальника.

Он выскочил в сени и сразу увидел Юрия. Тот стоял, держа ружьё в одной руке, другой шарил по карманам висящей на стене одежды: что-то искал.

Попытившись к выходу, он с той же гримасой ожесточенности и боли сказал сипло:

— Не подходи!..

Шура оторопел.

Такие же мгновения беспомощности и надвигающейся беды он пережил сегодня, при их неудачном приводнении. Но сейчас всё зависело только от него, от его решимости. Он прыгнул и с первого же прыжка ухватился за стволы, успев заметить, что курки не взведены.

Юрий пнул его ногой, но скользом, и они, сопя и хакая, стали выкручивать друг у друга ружьё. Стукнул о пол и покатился выпавший из руки Юрия патрон.

Шура был ниже ростом, но физически крепче, коренастей и чувствовал: ружья он теперь не выпустит.

Юрий враз обессилел, обмяк и перестал сопротивляться. Толь-

ко дышал сквозь зубы, всхлипывал, повторяя: «Пусти... пусти... ну пусти же».

Шура, крепкой обнимкой держа ему руки, повёл в дом, уложил на топчан.

Потом вернулся в сени, нашёл откатившийся патрон, а заодно разъединил ружьё на две части — приклад спрятал в одном месте, а стволы в другом.

Юрий лежал в полуобморочном состоянии, изредка делая горлом нервные плотательные движения; глаза были крепко зажмурены.

Шура подсел к нему на топчан, потёр зашибленный при падении локоть.

— Ты что, любишь её? — спросил он тихо.

Веки паренька дрогнули, как от внезапной вспышки света, а в углах рта обозначилась уже знакомая Шуре ожесточённость. Он отвернулся, проговорил в стену, точно гвоздь вбил:

— Я всё равно убью его.

Шура с минуту молчал ошеломлённый; потом спросил участливо:

— Ну, а она-то хоть знает?

Юрий приподнялся на локтях — волосы слипшиеся, кожа на ключицах натянулась. Облизнул губы, заговорил отрывисто:

— Зачем он с ней? Ведь женатый, да? А если она... если я... я без неё жить не буду, ты понял? Никто не знает, даже она. Ты первый... понял? — Говорил он резко и грубо, кривя рот. Говорил и, заметно было, уже ненавидел себя за вдруг прорвавшуюся откровенность. — Случайно дотронусь до неё или она (он нервно сглотнул)... У меня потом это место... рука. Я руку, понял, целую!.. Смеешься, да? (Шура сидел как окаменелый.) Мне осенью в армию, ладно. Два года — не срок. Она бы дождалась...

— Пойми ты, чудак, она же ничего не знает, сам говоришь, — укоризненно заметил Шура. — А ты — армия, два года.

— Не знает, так узнает. — Он встрепенулся. — Только если ты хоть слово... понял?

— Нужен ты мне, — сказал Шура как можно равнодушнее. — Сам заварил, сам и расхлебывай.

— Ладно, не обижайся. — Юрий лёг на подушку, стёр со лба волосы. — Я, если честно, — боюсь. Так хоть надеюсь. А тогда... Скорее бы в армию: устал я возле неё. — Он замолчал, потом потянул к подбородку одеяло и затих, засопел.

При таком взрыве чувств — и такая наивность. А может, для настоящего чувства и нужна наивность? — думал Шура, зарываясь в свой мешок и с удивлением ощущая в нём ещё не выветрившееся тепло своего тела. А ему-то казалось — прошла вечность... Нет, ну Юрка-то, Юрка, кому расскажи про весь этот кошмар — не поверит.

Потом Шура как-то непроизвольно, незаметно для себя, стал перебирать в памяти знакомых девушек и мысленно прикидывать: в какую из них мог бы он вот так же, с мальчишеским отчаянием и безрассудством, влюбиться.

Но не вспомнил такой и вздохнул расстроено.

13

— Только, чур, разуваться! — громким шёпотом предупредила Тоня, садясь на высокий порог и сдёргивая сапожки. — Моя Степанида с вечера моет. Увидит утром: натоптано — скандал будет, ужас.

— А почему шёпотом? — спросил Рассохин, на всякий случай оглядываясь.

— Мышей боюсь!

— Что, разбудим?

— Ага. — Она рассмеялась. — Давай спички. И прихватывай дрова, они тут, за дверью.

В низком и тесном домишке медпункта пахло старым деревом и аптекой. Белели на окнах марлевые занавески, поблескивал между ними шкаф с медикаментами.

Железная печка, набитая сухими листовенничными поленьями, взялась весело и споро; ало засветилась в суставах труба.

Тоня принесла из кладовой, бросила на пол перед печкой огромную доху — аж занавески на окнах прыгнули, сказала: моя спецодежда на зимних выездах; легла на неё и, подперев кулачка-

ми щёки, стала смотреть на огонь.

— По-моему, в эту спецодежду,— Рассохин повел выразительно носом, — заворачивали мужчин.

— Почему? — засмеялась Тоня.

— Табачищем шибает, самосадам.

— Это Степанида с молью борется!

Печка, раскаляясь, погромыхивала жестяными боками. Когда в трубу ударял ветер, сквозь дверцу сыпались искры и, дымя, прыгали по железному листу, как чёрные ядра. Свет пламени скользил по Тониным обнажённым рукам, запрокинутому лицу с морщинкой, залёгшей вдруг меж бровей, окрашивал в розовое раковинку уха.

Рассохин лёг на спину, обнял её за шею и стал глядеть снизу вверх, угадывая какую-то в ней тревожную, угрожающую перемену.

Он хотел поцеловать её, но она сняла его руку и несколько раз сама прикоснулась губами к его щеке — быстро и как-то безрадостно.

— Витенька, а какая у тебя жена? — спросила, не отрывая взгляда от мелькающего в отверстиях дверцы огня.

— Да такая, — смутился неожиданностью её вопроса Рассохин, — как тебе сказать...

— Симпатичная?

— Не знаю... В общем, да.

— В общем и целом, — подытожила Тоня.

Он снова хотел приобнять её, она уклонилась, и рука его недоумевающе легла надоху.

Тоня потёрлась щекой о его откинутую руку, сказала со вздохом:

— Врёшь ты, она у тебя очень даже симпатичная. Я видела однажды... в аэропорту. Мне показывали. Она кто — журналистка?

«Умнеют не столько замужем, сколько уйдя из замужа», — с иронией к самой себе подумала она.

— Тоня, Тоня, это такой пустяк, мы с тобой не о том. — Рассохин привстал. Ладонь его скользнула по её плечу, груди.

— Господи, Рассохин, до чего у тебя руки ласковые, реветь хочется. Хрустнула кнопка.

— Погоди, сама разберусь...

— Прекрасная моя тунгусочка, — пробормотал Рассохин...

Печка раскалилась вовсю. Громыхала от перегрева, рдела малиновыми боками, высвечивала Тонино запрокинутое, искажённое сладкой мукой лицо.

К запаху сухого дерева, табака и аптеки примешивалась воровски паль звериной шерсти. Он сделал было ещё попытку, но она открыла глаза, слабо перехватила его руку.

— Кажется, мы горим, — сказала она озабоченно. — Давай отодвинемся.

Он сразу устал от её близости, от её первобытной в отблесках огня наготы — и рад был случившемуся предлогу: поднялся, отошёл к окну. И тут же почувствовал, как нестерпимо хочет курить.

Тоня посмотрела на его ссутуленную у низкого окошка спину и стала больно кусать кулачки, чтобы справиться с дрогнувшими позвать его губами.

Ветер дунул в трубу с продолжительным шуршаньем, печь фыркнула дымом, загудела сильней.

— У меня, Витенька, жених есть, — неожиданно легко соврала она и тут же сама почти поверила в свою ложь. — Хороший парень, на «Композиторе Бородине» плавает.

Рассохин следил загнипнотизированно за вспыхивающим в чёрном стекле огоньком своей сигареты, старался понять: выдумывает?

— Теперь иди в дом, — сказала Тоня, голос был чужой, напряжённый. — Иди, Витя, я позже приду.

Он уже стоял на улице, шарил по плащу проклятые пуговицы, когда показалось: Тоня приглушённо окликнула его.

Колеблясь, он повернулся, медленно и тяжело, боясь, что ослышался, переступил порог в темный коридорчик.

Тотчас голову его охватили мягкие Тонины руки. Она плакала и лепетала — бессвязное что-то, горячее. Упрекала? Винилась? Жаловалась?.. Сразу и не понять было...

Ушёл он от неё на самом исходе белой ночи.

Разгрузившись на пристани рыбозавода, они прошли, вспенивая волну, вдоль каменной корги, причалили к своим мосткам.

Долго сидели при затихшем, остывающем моторе, молчали.

Каждый из них по-своему, каждый со своей долей душевного потрясения пережил минувшие сутки.

Первым разбил молчание Шура — сказал, покачивая пальцем наушники на рогах штурвала:

— Виктор, тебе, наверное, придётся летать с другим. Я подаю рапорт о переводе. Извини.

Рассохин, скосив глаза, пристально поглядел на своего второго.

— Не за что тебя извинять, Шурик, — проговорил он и перевёл взгляд вдаль, на лестницу, по которой торопливо сбегала фигурка — техник Пухначёв, узнал он. — Скажи: сколько ты налетал часов? (Шура ответил.) Ага, ну вот... Ты не думал, что тебе уже приходит пора пересаживаться в левое кресло?.. А что касается рапорта — тут ты опоздал. Мой уже давно на столе командира.

Шура перестал качать наушники, недоверчиво покосился, брови и губы его задвигались, отражая какую-то внутреннюю душевную работу. Пошарив в карманах, он нашел и вытащил, подкинул на ладони, словно взвешивая, медный ружейный патрон.

— Хочешь — подарю?

Рассохин скользнул взглядом, сказал рассеянно, думая уже о чем-то своём:

— Зачем, Шурик, я же охотой не занимаюсь, ты знаешь.

— Суду всё ясно. — Шура усмехнулся снисходительно-сдержанно, отодвинул форточку и выбросил патрон в воду.

Когда он ушёл из кабины, Рассохин взял планшет, положил на него раскрытый блокнот, помедлил секунду и стал писать — стараясь выводить буквы округло и твёрдо: «Командиру авиапредприятия. Рапорт. Прошу ходатайствовать о моем переводе в...»

Заглянул в кабину техник Пухначёв, бодро крикнул:

— Здорово, командир! Живы?

— Живы, — откликнулся Рассохин, — а что толку...

Пухначёв понимающе хохотнул и, скрывшись в отсеке, загремел, деловито заскрежетал там якорными тросами, приводя их в порядок.

Прошедший шторм забросал галечный плоский берег плавни-

ком. Брёвна в лохмотьях коры, куски дерева, чёрный коряжник — всё парило в блестящем солнышке, как груды вываленных из котла костей. На исцарапанном днище перевернутой штормом дюралевой «казанки», болтавшейся в прибойной полосе, сидел мартын, крепко ухватившись розовыми лапами за ребро киля, — точь-в-точь матрос после кораблекрушения, — угрюмо радовался синему небу, солнцу.

Рассохин опустил взгляд к планшету, перечитал написанное. Морщась, разорвал листок, смял тщательно в кулаке и выкинул в форточку — вслед за Шуриным ружейным патроном.

ВЗВЯЗЫВАЮТСЯ

РАССКАЗЫ

Жив останусь — свидимся

Случилось это после второй лихой зимы, в сорок третьем. Как-то уж память не лежит: ли в марте, ли апреле — но цыган уж шубу продал! С крыш снег посогнало, полдень пригреет — над избами, над дровяниками воздух ходит, воспаренье! Капель гудит! Среди дня хоть раздевайся. Зато к ночи такой трескун завернёт... Митька мой за день пимишки-катанки выбродит, в сенцах под порогом забудет, утром пимы — как колотушки!

Позвали меня раз в контору, когда черёд мой настал с обозом на Рудник идти (работа была очередная, и для меня при моей ораве нож острый, дак ведь не откажись!). Но — посидели, обговорили, возвращаюсь, а так свечерело уж. Подхожу, а в заулке к нам, под изгородью, ничком кто-то скорчился. Подумалось сперва: ребятишки балуются, в прятки ли такую поздноту играют, ну задам им прятки! Подхожу, приглядываюсь — и аж обмерла вся. Варька, Игнатьевой Веры дочка, в засольном цехе учётчицей, соседи мы через три двора! К жердине привалилась, обнялась, коленками в снег и вроде памятью отошла.

— Варька, — зову, хватаюсь за неё, — ты чего?.. Да ты чего, Варька?

А она глаза сожмурила, дышит и ни звуку. Подхватила её, помогла, веду к себе. Ребятишек моих черти с квасом съели, где-то лётают, в окнах темь. На топчан уложила, полушалок раздёрнула, катанки с неё долой — коленочки-то у неё, чую, подмёрзли. Лампу зажгла, а она без кровинки в лице, чего с девкой стряслось? Шубейку на ней расстёгиваю.

Расстёгиваю шубейку-то, а петли в талье туго-претуго, внатяг. Мне сперва даже ни в ум. Расстегнула я, потом легонько так по животу ладошкой. Господи, господи, да ты никак, девка, беременная...

Шлёпнулась я рядом на топчан, одуматься не могу.

— Варька, вихорь тебя подыми! — наклоняясь, бормочу. — Да с ума ли ты?.. Как угораздило?

Отворачивается, молчит, губы морщит.

А я сглупа думаю: но в самом деле – как? С какого ветру? У нас вроде и мужиков способных не осталось. И ещё про себя задним умом рассуждаю: то-то я примечать стала последнее время. Заглянешь к ним по-соседски, а на ней, Варьке, – ли шубейка эта, ли фуфайка бабкина разлетаистая. И у нас в дому, прибежит за чем, ни в какую не раздевалась, так куклой и сидела.

Опять я к ней:

– Варь, слышь, может фельшерицу позвать?

Она даже испугалась, мотнула головой: нет!

Ладно, нет – так нет.

– На котором уже? – спрашиваю.

– Вроде как на седьмом, – шепчет, а сама оглядывается беспокойно, нету кого в доме?

– Ох «вроде»! – качаю над девчонкой головой, корю её. – На кой леший засупонила так? Омороком, гляди, ушибло... Мать хоть знает?

А мать у неё, Игнатьева Вера, бригадирша, женщина деловая, строгая. Всю зиму, считай – на лове, на дальнем тоне. Раз или два в месяц домой наезжает, Варьку с бабушкой больной проведать да в баньке погреться.

Молчала она, молчала, утёрлась, говорит:

– Тётъ Мария, я к тебе зачем шла? Услыхала – ты с обозом на Рудник наладилась. У меня на Руднике тётка живёт. Прошу – отвези к ней. Одной-то да пешком мне не докарабкаться.

– Но удумала, но удумала! – говорю. – Рассуди сама, мать с озера вернётся – как я перед ней? Чего врать буду?

– Скажешь, погостить уехала...

– Батюшки, – всплеснула я, какие нынче гости? Кто поверит? А с работой как? А бабку на кого?

– С работой не знаю, как-нибудь... Всё равно из меня теперь работник-то... А за бабушкой – Ольку твою упрошу или вон Настеньку, они уже девочки самостоятельные. Всего-то сварить раз на дню и на улку проводить. До мамы всего ничего осталось, может, неделя какая. – Варька губы закривила, глазами морг-морг, за-

плакала. — А если... если я здесь соберусь, позору-славы на весь посёлок, и мать меня изведёт. А тётка у меня хорошая, в рудоуправлении работает, она за меня заступится. Поживу у неё до срока... А здесь — хоть в прорубь головой.

Думаю: но девка, душа ты горячая, расклинила ты свою жизнь до самой сердцевиночки.

— Ладно, — соглашаюсь, — раз твёрдо решила, собирайся. Завтра в ночь выезжаем, как прихватит (днём дорога уже не держала). Говорю: строго у нас насчёт попутчиков, кси и без того заморённые, но да чего теперь, зайцем поедешь. Стой возле осокоря на выезде, я на задней связке буду. Да оденься потеплее, глупая, петли чуток расшей, поняла?

Она с топчана слезает, на колени бух.

— Ой, тётъ Мария, чего не понять, всё поняла, всё сделаю, буду, где сказала. Ведь это счастье — ты едешь. Другой-то никто бы и разговаривать не стал, да я бы к другому кому и пойти не посмела.

Какое уж тут, про себя думаю, счастье. Глажу девчонку по волосам, успокаиваю. Какое уж тут, прости господи, счастье...

Восемь саней нашего обозу составилось. Рыба в рогожных кулях. Полтора ста пудов. Последний зимний вылов. Весь — было поставлено — в фонд обороны. Нас, возниц, четверо. По две упряжки на возницу. Такая вышла арифметика.

На переднем коне Ипполит Федосеич. С тех пор как больного с печки сняли, на председателя поставили, стал ходить важный, живот клином. Обозы на Рудник самолично возглавлял. Потом Ганька, подросток четырнадцати лет, и ещё — Премакова Степанида, сорок ей тогда было, крупная из себя, кули эти на складе перекидывала, малым чем мужику уступала. Мы каждый раз в черед с ней попадали. Хваткая она была в дороге. И воз подможет вытолкнуть, коня перепрзчь. Как, бывало, возьмётся за подпругу — конь на ногах шатается!

Загрузились мы назавтра, отъехали со склада поздно, на самую полночь, как подморозило. Провожали нас кладовщик дед Иван, конюх Брюхов и бухгалтерша Анна Филипповна. Эта всё г Ипполиту с порученьями да наказаньями: то не забудь, другое, будто не

он председатель, а она. Ладно я вчера не дала оплошки, Варьку за посёлок выслала. Тут бы ей, в складском дворе – прямой заворот! Сквозь весь двор шли: Филипповна папиросой пыхтела, дед Иван ключами тряс, Брюхов – тот дальше всех деревяшкой по насту покряхтывал, уж шибко он за коней своих переживал.

Отстали провожалыщики. Я потихоньку сдернула куль, на вторые санки перекинула, три пуда куль, считай – Варькин вес.

Осокорь зачернел-замаячил, поравнялись, Варька из-за осоко-ря, как совка ночная, шмыг мне в сани. Узелочек при ней. Пала рядом, притиснулась, сопит, будто гору пробежала. Никто не видел, но и ладно, у всякого плута свой расчёт! Едем, молчим, таимся. В низинках туманом накатывает. Только коняги многострадальные от соломенного рациона покивают.

Ох уж эта рудничная дорожка! Сперва по нашей Каменушке все её петельки развяжет, все её кривуны обойдёт, а потом перевалка через Косую Гриву. А Казачью одолеешь, тут уж рукой подать. Внизу Кия-река, леспромхоз Малая Алчедатка. Минуешь посёлок и по реке, поймой, километров двадцать пять, и вот он тебе – Рудник.

Но легко сказать, а попробуй с нашей гужевой техникой одолей. Последний раз я февралем ходила, аккуратно под день Красной Армии, на переметельных местах вешек прутяных не отыщешь, не то что. А перевалки, прахом их подхвати! Пластаешься, пластаешься, ну – выдрался. У коней аж кровь с норок. Вниз другая напасть: воза в раскат, хомуты – с ушей, упряжь рвёт-кособоочит, ох лихо!

Да то среди зимы, в снега, в морозы клящие, а нынче коля крепкая, наторенная, только бы не отпустило. Варька в рукавички свои кошачьи зарылась носом и тишком-молчком. Я тоже – думы свои разматываю. Грех сказать – всех наших наличных мужиков по пальцам перебрала, нет, ни который не лепится!.. Ах, Варька, Варька...

Где чуть в горку, я с саней. Варька зашевелится – я ей: сиди не колготись, весу-то в тебе. Ещё, думаю, Ипполит оглянется – скандалу не оберёшься. Знаю, скандалу и без того не миновать, да уж лучше б не в дороге...

Опять же взять нашего Ипполита Федосеича. Как он с нами войну сдюжил, отпредседательствовал? В годах и здоровьем никуда (по молодости ещё — грыжу с надсады заработал). Дак ведь: податлив был! Но правду признаться, чуть чего — в крик, в шум, в мать-перемать. Распетушится как петух, разбегается. Ругается наш Ипполитушка — как песни играет! А прокричится, поругается — верёвки из него вей. Только, бывало, потрясёт кулаком и скажет с сердцем, в досаде: «От ели бы ты была мужиком!..» Зато нынче я как понимаю? Оттого и сдюжил, что податлив был. Твёрдый бы — давно б с копыток, сломался.

Каменушка в сторону отпала, дорога на Косую Гриву. Перевалили на Косую, особо и упираться не пришлось. А вот перед второй перевалкой, через Казачью, за которой леспромхоз — неустойка вышла. Стал наш обоз, как упёрся, стоим, голоса впереди. Побежала узнать. Там все наши топчутся: Ипполит, Степанида, Ганька. А ночь выдалась лунная, как на зеркале всё видно. Наст блестит, натёки по склону, ельник топорщится. И дорога вверх по ельнику, гляжу — что такое? В крошewe, в глызах льда, выворотнях. Мамай воевал!

Ипполит наш, тулуп нараспах, с бичиком в руке, вверх по извозу ушагал. Вернулся, сопит, по глызе в сердцах хлесь!

— Курвов таких надо забивать в дым! — сказал. — Што с дорогой сделали, што сделали!

— Да кто? Чего? — в толк не возьмём.

— Кто! Кто! Диверсанты! Хуже диверсантов. Оккупанты! Трактористы леспромхозовские! Чума их из тайги нанесла. Днём раз-меси, а счас спекло. Искурочили! Весь косогор! Изухабили! Эта ж воза порвём, коней ухайдокаем — как пить дать.

— Не поворачивать же!

— Ещё чего! — тулуп с себя, на воз швырк. — Ну, девья... (он всех нас так звал: и молодых, и нет), ну, девья, помалу за мной, помалу. Коням отдышку давай, горячку не пори. А ты (к Ганьке) поостерегись, не подлазь шибко, чтоб нечаяно возом не стёрлю. Ну — помалу...

Бегу назад. Варьке объясняю: дорога тракторами поруплена,

пеша в гору придётся. Та – мне: – Ой, и ладно, я хоть посогреюсь.

Потянулись мы по этой порушенной дороге в гору...

Бывало осенью, перед ледоставом, снегом озеро обуранит, сала нагонит, заторосит, и тут морозы. Лёд дыбком. Дорога санная по озеру – мука мучениская. Воза с сеном опрокидывает. Вот и тут. Всего ничего протащились – хлесь! Сани мои наперекосяк, кули с саней кувырком. Т-тпру, холера! Взясась ворочать кули, ворочаю, коня ругаю, себя костерю, с трактаристов-диверсантов заодно душу вынаю. Варька рядом суетится, норовит помочь. – Отойди, говорю, глупая, не хватайся. Да не хватайся, холера тебя!.. Вон, глянь, бежит сюда кто-то, схоронись.

Степанида сверху подходит:

– Чего у тебя, давай подмогну.

– Сама справлюсь.

– Давай-давай.

Выправили с ней сани, кули уторкали, она уходит было, да как ойкнет:

– Ой, кто там?

– Где? – будто мне невдомёк.

– Да взади, взади. За тем конём. Человек нито?

– Варька это Игнатъева, – бормочу. – На Рудник со мной попросилась.

– Варька? Чего ей?

– Не знаю, тётку провести, ли чего.

Степанида головой закутила:

– Но Марья, но Марья, рысковая ты баба. Ведь постановление было... Ладно, твоё личное дело. С конями только полегше, у Ганьки вон один уже охромел.

Сказала – и к своим возам. Тронулись и мы с Варькой. Продёрнулись ещё с полгоры, передний мой – всё, стал – и ни в какую. Сбросила я рукавицу, руку на холку ему, холка потная да горячая, жилки так и трепещут. Господи, думаю, упадёшь – не подымешь. Бичика даже в руках не держу, под кули спрятала, осердится бичика – вовсе с места не собьёшь. Одна надежда на сознательность. Уговариваю: отдохни, наберись. Косит глазом, ушами прядёт, по-

нимает. Постоял он, постоял, вздохнул – ну будто человек – сапнул и ходу. И пошёл! И пошёл! И пошёл! Ах ты, умница. А за ним и второй... Убились, пока наверх выбрались.

Стали, стоим, отдыхаем. Варька тут как прискочит: — А где мой узелок? – Какой узелок? Нет узелка. Посеяли! Чуть не плачет, побежала, нельзя ей без узелка. А луна уже на сходе, морок вокруг луны, мгла: не отыщет девка узелка! Стою, жду. Подходит Ипполит: — Чего стоишь, воза не растрясла? Ганька вон, раззява, два куля подрал. Коней с перепоту застудишь. Мы трогаем, долго тут не чикайся. – Я ему: – Поезжайте, я тут по своему делу, нагоню.

Ладно, ушёл. Нету Варьки, ой нету! Я на спине коню – свой тулуп, на второго – какую-то рванину (и впрямь бы не застудить), а сама вниз, за Варькой следом.

Сбежала дотуда, где нас опрокинуло, приглядываюсь. Сидит моя Варька на глызе, узелок свой к животу прижимает. Нашёлся, слава тебе...

– Чего ты, Варь? Чего рассиживаешь-то?

– Не знаю, – отвечает, а в голосе испуг. – Я счас, я маленько... Ноги чего-то осеклись.

Присела я рядом, а плечико у неё и сквозь шубейку, и сквозь чего-то ещё там пододетое как шильце востренькое. Но – ровно я Ольку свою двенадцатилетнюю обнимаю. Ох, Варька, ну какому стервецу слаборукому ты понадобилась, баб рази мало?..

– Посиди, посиди, – говорю, – оклемайся. Куда лететь было так, из-за узелка... Он-то, ну который... про это знает?

– Про чего, тётъ Мария?

– Про чего, про чего. Будто не понимаешь, про чего.

– Нет, – бормочет, отговаривается, – откудова же?..

– Да откудова, глупая, неразумная! Чего ж он?.. Глаза его срамные. Или вы уж не встречаетесь?

Пошевелила она плечиком, отстранилась и как в рот воды, ни слова. Ну – молчи.

Посидели. Поднялись, побрела она, свята душа на костылях, хром-хром. Я узелок отняла, саму под локоть, веду. Кони услышали нас, запереступали, зафукали. Боялась я – а вот уйдут? Нет, не

ушли, умницы. Разбросила я тулуп. Заставила Варьку прилечь, тулупом и прикрыла. Кони застоялись, резво пошли.

Вот и Малая Алчедатка зачернела. Живого голоса не слышать, скотина не ревнёт, собака не гавкнет, всё спит, как вымерло. Проехали Алчедатку. Дорога в Кию упала, но – скоро своих нагоним. А тут ветер-тягун вдоль поймы, вдоль льда, встречу нам, ой, дух в груди перехватывает. Не успеваю коням носы обтирать. И сама – то перебежкой, то взад пятки, – щёки живьём сдирает!

Варька зашевелилась, под тулупом засуёжилась, слышу – окликает.

– Чего ты, Варь? Замёрзла?

А у неё шаль сбилась на лицо, разгребает, разгребает.

– Ты лежи, лежи, – говорю, – если не замёрзла. Тут сплошь равнина, колея наезжена.

А она разгребла, шепчет губами:

– Больно мне...

«Ногу, может, сильно подвернула, когда за узелком бежала, ли как уж?»

– Да где больно-то? – спрашиваю: мне сразу-то ни в голову!!

Она молчала, молчала, после:

– Всюё больно, тётъ Мария, всюё изрывает...

Меня как обухом. Ох, господи, всюё!

– Ничё, Варь, ничё, – утешаю, – так бывает, потерпи, отступит. Вот сдвину куль, а ты вытяни ноги. Ноги-то вытяни, ляг попросторней. Давай-ка я тебе шаль поправлю.

Да где наши-то, холера их! Не сбились бы кони с пути после Алчедатки, не плутаем ли! Да нет, вот же – на левую руку берег, скалки знакомые по небу проступают – небо-то уж пробрезжило. Коней придержу, послушаю впереди – нет, никого впереди не слышать. А мороз на рассвет так и завинчивает.

Бреду за санями, и чего делать – убей, не знаю. Кони тащатся, укатались за ночь, морды обындевели, как в сметане. Думаю: если до Рудника обойдётся, потерпится – дак всё равно живьём девуку заморожу. И уж в мыслях примериваюсь на крайнее: воза разгрузить, рыбу бросить и лёгкими санями, с одной Варькой – вперёд

аллюром, пока духу достанет.

По берегу скалки раздвинулись, ложок затуманил, дорога в ложок. Пригляделась, а внизу обоз чернеется, наши стоят, родненькие, от тягуна в ложок попрятались. Костерочек прямо посреди дороги посверкивает. Дожидаются, окаанные!

Бежит навстречу Ипполитушка, тулупом ковыхи метёт. И не доходя начинает свои песни: «Где тебя чума занесла! Околеваем тут как собаки подзаборные! Перемать! Слава богу, хоть коней не погребил!..». И пошёл-поехал, как по-писаному...

— Да живы твои кони, чего им станется, — огрызаюсь, а сама себе: сейчас главная канонада начнётся, держись, Марья.

— А вот не говори! — кричит. — У Ганьки начисто охромел, оттого и стоим, а ты думала! Постановили по кулю на всех разбросить.

— Не получится такая раскладка, Ипполит Федосеич.

— Почему не получится? Ты, Марья, глядь мне! Жалеть! Всякому своих жалко. — Подошёл, охлапывает морды коням, а уж так развиднелось. — Да твои пока ничё глядят. Ничё, ничё, ничё, вон какие орлы.

Охлапывает, упряжь походя трогает и тут вдруг: под тулупом! Шевелится кто-то! Ажно в столбняк его.

— Кто тут? Чего?.. Откудова?

Ну, я — делать нечего — объясняю. Варька, мол, дочка Веры Игнатьевой, бригадирши нашей, попросилась на Рудник, в больницу.

— Варька Игнатьева? В больницу? У нас што, своего пункта нету?.. Кто разрешил?

— Ты погоди, не разоряйся. Я же говорю: хворая она.

— Хворая?! — взвился Ипполит. — Выезжали — никакой не было! Вчера ещё утром возле конторы вертелась, что-то хвори в ей не наблюдалось. Коней ухайдакали, страшно глядеть! Кто разрешил самовольничество, спрашиваю?.. Ты у меня, Мария, ответишь. Вы у меня обое ответите, по закону военного времени! А ну вылазь с-под тулупа! Вот бичом задницу опояшу, моментом выздоровеешь!

К саням подскочил, и уж за тулуп было схватил — сдёрнуть. Кинулась я, отпихнула (меня ведь тоже, только раззадорь!), кричу: — Ты чего, председатель, ополоумел? Гляди! — и сама тулуп откинула. А у Варьки уж губы жаром обнесло и глаза как в яме.

Сел он на обводину саней, бичом скрученным по голенищу хлесь! хлесь!

— От эли б ты была мужиком, я б тебе сказал... пару ласковых... — Сплюнул в сердцах, после поостыл. Спрашивает: — Ладно, што за хворь-то её обуяла?

Тут и Степанида подошла, и Ганька, раскрывши рот, стоит. Да вижу, делать нечего, маскировка моя прахом пошла, говорю:

— В положеньи она, Варька-то.

Ипполит мой Федосеич, бедный, глаза на лоб:

— Што-о?!

— А то самое, что слышишь. Я, конечно, виноватая, дак с меня спрос после. А сейчас девку спасать от беды надо, в болях уж она. Разгрузите мне одного коня, тогда я, может, ещё успею.

Ипполит — руками за голову, прямо-таки в стон:

— Куды разгрузить? Посреди пути? Шутка в деле, шешнанадцать пудов сига и хайруза на отбор! Фонд обороны! Пока обернёмся — тут растащут всё, расфулюганют. Кто ответ держать будет?

— Давай Ганьку оставим. Его-то воз тоже облегчать надо.

— Как же! Останется!

— Ганя, — говорю, — останешься, покараулишь?

Ганька носом зашмыгал, глаза сбычил на сторону:

— Не-а, боязно мне тут.

— Да кого бояться-то, — говорю. — Вон уж развиднелось почти. Разве собака какая промхозовская прибежит, дак ты её палкой. Я вот тебе — свой мешочек с провиантом, будешь костерок палить, чай варить будешь.

— А как вы в ночь не воротитесь?

— Да куда мы денемся, шальной!

Молчит Ганька, глызу примороженную обпинывает. Степанида, смотря, подошла — и ему тихо:

— Ганечка, родненький, золотко, или не мужик ты, ведь помрёт Варька...

Сопел, сопел, надулся, потом говорит:

— Пускай, — говорит, — мне Ипполит Федосеич кресало своё даст. А то костёр загаснет, а у меня распалить нечем.

Слава тебе, уговорился!

Ипполитушка наш сидел-сидел, горбатился, после махнул и сказал, да кручинно так:

— Мне с вами, девья, по всему — две стратегии впереди маячат: или на подсудимую скамью, или в самашедшую палату. Чума с вами, разгружайте моего передового, он покрепше других будет.

Соскребла я со всего обозу всю соломку, какая отыскалась, все рванинки, все рогожки, укрыла Варьку, с боков обтыкала — и дуи не стой! Конь с лёгкими санками бодро пошёл, машисто, хоть сдерживай! Выскочили из ложка, дорога снова в коренной берег, не успела я вожжи разобрать, как следует усесться, — а наших позади не видать.

Проехали сколько-то, заглядываю под тулуп, а у Варьки шаль опять на лицо, дышать не даёт. Подсовываю под щёку, поправляю, а щека — ладонью чую — мокрая.

— Ты чего — плачешь?

И заплакала, в голос заплакала моя Варька!

— Теперь-то чего? — говорю. — Чего плакать-то? Вишь, как едем. Весело! Вон, кажись, и подвесной мост виднеется. Минуем его, а там и делов-то! Ты только не замерзай, шевелись, чувствуй себя. Дай закрою хорошенько.

— Нет, тётъ Мария, не закрывай, чего-то страшно мне, я лучше глядеть буду. — Глядела она, глядела да и забормотала: — Я что тебе хочу... Ты зря о нём так плохо. Не знает он ничего, и не виноват он вовсе...

Господи, о ком я плохо? Кто не виноват? И чего плохого-то? Неуж девка заговариваться стала?

— Лежи, лежи, — шепчу, наклонилась. — Ничего, теперь дотянем.

Она затихла, глаза сожмурила, потом вдруг:

— Тётъ Мария, я помру?

— Что ты, дурочка, разве от этого помирают. Нас бы уж не было. Доктора рудничные счас за тебя примутся, только держись. Они, небось, по этой работе наскучились.

А она своё:

— ... помру, а ты будешь думать, мамка тоже... все будут... —

Помолчала, потом: – Помнишь прошлым летом, под осень, двое к тебе попросились, один больной...

– Двое-то? Как не помнить, помню.

И только она проговорила: «В прошлом году, мол, двое...» – тут-то меня в момент, голову мою несдогадливою и озарило!

Прошлым летом, верно...

Сижу я как-то за починкой, а уже темь на дворе, и с утра моросит. Стучатся. Кого, думаю, несёт? Отворяю: двое. Один вроде старик, а второй молоденький, лет восемнадцать. Мокрёмоньки оба, у старого аж с бороды ручьём. Говорит:

– Приисковые мы, хозяйка, не пустишь до утра, напарник мой вот занемог что-то.

– Да уж входите, куда вас...

Обсушились они, чаю попили. А которого я за старика приняла, как сел проть лампы – ему и сорока пяти не оказалось: дак сезон не брился!

Наутро встаём, а парнишка (его Володькой звали) на полу на ряднинке, разметался весь, лоб как печка. День проходит, другой – никакого облегчения. Старший запереживал: – Хозяйка, мне дольше тут никак нельзя, позволь Володьку у тебя оставить. Нам послезавтра на призыве быть. Кабы в дезертиры не зачислили.

Думаю: чего ж, куда его такого, пусть остаётся.

Лежит неделю, десять дней, фельшерица прискочит, какое-то втиранье даст, а парень всё пластом.

У меня избёнка – одна горенка да запечная перегородка. И повертелась я эти десять дней! Тут на свою-то ораву рук не хватает. Но ладно, как я дома, а как на озере, на тоне? Пришлось Варьке Игнатьевой кланяться, а на ней и без того бабка. Да Варька – девка золотая, безотказная. Бегала она к нам, присматривала, да тоже – много ли набегашь, когда и в цеху работа. Раз говорит:

– Тётъ Мария, ну чего мы эдак хворого человека мучаем, давай уж к нам. Дом, считай, пустой, и мне сподручней: где за одним пригляд, там и за двумя.

– Ой, Варенька, спасибо!

Скачу днями к Игнатьевой, курник состряпала своему больно-

му. Смотрю – Володька на приступочке сидит, глаза внутрь ука-
тили, как старичок на солнце жмурится, ожил бедолага! Недели
через две, или как ли, зашёл попрощаться (и Варька с ним рядом).
Помню, сказал: «Жив останусь – свидимся». И Варьку так за пле-
чику привлёк, она аж засветилась. Я тому не придала: благодар-
ность человек выказывает! С тем и отбыл...

– Варь, а Варь, – спрашиваю осторожно. – Он-то, Володька,
тебе пишет?

Она губы покусала-покусала, заморщилась, шепчет:

– Одно с дороги было.

– Одно и всё?

– Одно, тётъ Мария. В узелке вон со мной лежит.

– Так у тебя что, и адреса его нету?

Катнула она молчком головой: нету, значит. Ах ты, господи...

– Я, – говорит, – напросилась с тобой ещё потому, что на Рудни-
ке Володины отец-мать живут. Думаю: может, у них есть...

«Ой, девка, святая душа, может, и есть, может, и есть...»

Но – доехали мы, на раннем солнышке, она уж подпослед голо-
са не давала. Там санитарки с носилками, прямо с тулупом – на но-
силки, унесли... Унесли мою Варьку! Осталась я столбом посреди
двора, стою. Коня разнузда, соломки бросила, а он не соломку, а
снег хватает.

Вышла санитарка, тулуп в руках: – Заберите. – Да жива ли
хоть? – кидаюсь к ней. – Жива, жива, одёжка есть ли какая, доку-
менты, давайте. – Я к саням, узелок её распустилас, там бумажки в
платочек завернуты: перебрала, нашла письмо, угольничек потёр-
тый, прочитала обратную фамилию – Кравчук. Узелок санитарке
протягиваю. Тут, мол, бельишко её, гребень, справки какие-нито,
денег двадцать пять рублей, две рыбки...

Где дом Кравчуков, мне возле рудоуправления двое мальчишек
сразу показали: белые ставенки и туба побелённая – далеко видать.
Сам Рудник-то в подошве горы, в сограх, а улицы, а дворы – на
косягоры влезли, а на Кравчуков двор, как на ласткино гнездо, и
смотреть-то – голову заломя! Как тут гололёдом ходят, не убива-
ются?

Пока закарабкалась, сопрела как перёнка. Стучу, никакого отзыва. Толкнула дверь, не заперто. У печи женщина, в ведре замешивает, платок клетчатый козырьком, пожилая из себя. Радио на стенке играет. Поздоровалась я, говорю:

— Вы меня не знаете, я со Златогорки...

Она мешалку остановила, руки об фартук.

— Ох те, я и не слышу, и не бачу, как вошла-то. Ну-ка я радио, погоди, выткну.

Говорит, да интересно так, вроде с напевкой, и слова похляцки выворачивает, мне и не передать.

— Прошлым летом, говорю, Володя ваи, как с прииска шёл на призыв да захворал, у меня в семье десять дней оставался.

Она:

— Да ненаглядная ты моя, сынок нам про то рассказывал! Да спасибочки-то вам, добрая вы женщина. Сымай шубу, садись, я вот варенца глечек из печи выну, снидать будэмо. Старика разбужу, с ночной он... Правда сказать, молчун он у нас, слова не докупишься.

А из-за шторки кряхтенье:

— Не сплю, Остаповна, зараз я.

— Ой, выйди, Степану, тут гостя, про Володеньку мы...

Вышел Степан, рубаху застёгивает, под рубахой цепка блестит. В вере, значит. Сел, газету ногтём рвёт. Бритый такой, в усах, а лицо худое, оспенное. И вправду молчун: сел, сколько сидел, только «доброго вам здоровьица» и вымолвил.

Я к главному хочу подступиться. Что, мол, там Володя, где теперь, чего пишет?

Остаповна как раз рогачом из печи глечек вынимала. Отставила рогач, села на лавку, завсхлиповала:

— Да одна-единственная весточка и была. Ещё ж с пути, с эшелону.

— И больше никаких известий?

— Ох, да ненаглядная моя, нияких. Тому считай пять мисяцев нияких. — Поднялась, достаёт из-за зеркала угольничек, точь-в-точь как у Варьки в узелке. — Я вже Степана к военному засылала, у военкома один ответ: сведений не имеется... Мобудь, на особом

заданы?..

А Степан ни слова, только слушает да сигаркой: пфу, пфу.

Я киваю и про своего Пашу рассказываю. Полгода тоже не было, чего не передумала, а потом – письмо. И у вас так же будет, вот увидите.

Остаповна глаза стёрла, говорит:

– Да спасибочки на добром слове. Совсем хлопчик он у нас, поздно мы его народили, це так жизнь наша окаянная сложилась...

Степан на это плечами зашевелил, она про жизнь и осеклась. Выпила я кружку варенца, спасибо, стала прощаться. Остаповна опять в слёзы. Ну – попрощались. Я адрес свой оставила, мол, случится от Володи весточка, сообщите, очень прошу, ждать буду. Степан, гляжу, следом, ноги в пимы, за мной на улицу – проводить.

Вышли, он оглянулся так на дверь, и мне:

– Слушайте, ходэште сюды!

И сам поворачивает к пристройкам, к сараюшкам во дворе.

Пошла за ним, а ума не приберу – зачем. Он впереди молчком, пимами в галошах шорк-шорк, лопатки под рубахой взгорбил – но ровно коршун, когда глядит, где бы цыпушку сплoхá унести! Я аж обробела, иду. От надо же!

Заводит он меня в потёмки, в горесь банную, заолоделую, оконце низенькое блестит. В брёвненной баньке мы! Дверь притворил, боком оборачивается, сел. И гляжу, сел – и цепку из пазухи вытягивает... Вытягивает-то он цепку, а возле крестика на цепке – гаманочек кожаный. Такие я прежде у золотых старателей видела. Развязывает он гаманочек, а руками не владеет, трясутся руки-то, пальцы-то! Да, господи... Развязал, протягивает мне, всё молчком, всё молчком! Гляжу – бумажка серенькая, пробочкой свёрнута. Я к оконцу ближе. Расправила пробочку, развернула в листочек...

Прочитала – и стою, как под громом!

Стук за спиной. Оборачиваюсь, а Степан сидит и, господи, затышком об стену! об стену! об стену!.. Лицо чёрное, страшное, и кадык в горле костью прыгает. И слёзы по щекам, по морщинам, в усы...

Дак вот как мужики-молчуны плачут, вот как они плачут, каменные!..

И здесь я, в холодной баньке этой сидючи, не сдержалась, и в утешение — или как уж там у меня вышло, не знаю — про Варьку с Володей, про их ребёночка нечаянного, как есть всё и рассказала...

Родила Варька мальчишку, совсем слабенького да хиленького, думали — не жилец. Дак нет, выжил, выходился, месяцев пять на соске висел (у матери молока-то не хватало), такой сбитень стал, на удивленье.

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ СИБИРЯЧКИ»

Багульник — трава пьяная

Так я тебе скажу: что баба, что кошка — живучие. Бабу бей, бей, на другое место перетащи — оживела! Пересилили мы тяжкие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили, детишек сберегли, не растеряли, ни единого во всем посёлочке.

И вот он, желанье сердца нашего — май. Отпраздновали мы Победу, отликовали. Женщины наши, пьяненькие, попели песни на голосах, друг у дружки на плече выплакались, а утром похмелились слезами и опять в лямку.

Через како-то время, под вечер случилось, слышу — соседская девочка Настенька за калиткой голосит, как с печи упала:

— Тётъ Мария! Тётъ Мария! Беги в совет, телеграмма!

Я так и присела.

— Какая ещё телеграмма, господи?!

— А я почем знаю! Анна Филипповна велела мне рысью!

— Чего ж не принесла?

Дак телеграмма же! Расписываться надо! Подхватила я — и со двора. Бегу и обмираю. Сроду телеграмм боялась. Аж душа спекается: неуж с Пашей что? Последнее письмо в апреле было, перед самой Победой, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении, а как,

чего — ни словечка. Всё бы ладно, да не его рука. С той поры опять ни слуху ни духу.

А тут на вот тебе — телеграмма!

Суеверная стала я за войну, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бог знает как долго, с полгода почти. Почтальонка всё мимо да мимо. А раз стою, руки так пальцами в замок сцепила, идёт почтальонка и ещё издали письмо кажет: от Паши, жив родненький! С того и впало в сердце: сцепить руки — это мне к жданной вести.

И вот бегу в контору — ой баба с глупинкой — и одна заноза в голове: не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить!

Не помню даже — было солнце, не было, прибежала. Анна Филипповна за столом. Дымом пыхтит, на косточках перешёлкивает. Она у нас характерная была, самосад курила, нервы осаживала, на ней Совет держался.

Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки сцеплены. Взробела окончательно!

Рвите, говорю, читайте.

А она, смотрю, улыбается. Чего, вроде, рвать, чего читать-перечитывать — и так знаю. Сама, поди, по телефону из района принимала, сама заклеивала! «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел». Она, родненькая моя, повторяет, а у меня в ушах только: встречай, твой Павел. Встречай... твой Павел.

И тут подскочила я: а сегодня-то какое? «Тринадцатое с утра было» — отвечает. Выходит, завтра?! Господи, если по-доброму, мне затемно выезжать надо. Брички-то есть незапростанные? — «Когда они были у нас, незапростанные! — Анна Филипповна мне: — Да ты лети на конный, к Брюхову, тебе выделяют. Такой случай! А чуть чего — от меня, скажи. Да ну! И без того дадут. Он что, Брюхов, — без соображенья?»

И верно — дали. Брюхов слова впроть не сказал, только посту-чал деревяшкой об пол в рассуждении. А когда уж помогал запрячь, так сказал:

— Поздравляю, Мария. Павел, кажись, у нас девятый будет.

Подъехала я к себе. Ребятишки мои уже вповал, спят. Ну ладно. Была у меня в запасе горстка муки, расшерудила печь, постряпалась на скорую руку. И только за окном стало зариться, бужу боль-

шенькую, Ольку. Она у меня в пятый уже пошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречать едем! Она спросонок тычется, не знаю, поняла ли, нет. Я тем временем Катю с Митенькой в охапку и на бричку, они, холеры, хоть бы стрепенулись. Укрыла, в соломку утискала всех троих — поехали, таборяне!

До станции Итатской сорок километров с чем-то. Сперва по-вдоль берега Оинголя, по таёжке, а потом на крутой свороток — и по колкам, по колкам, на тракт. А уж по-за трактом — поля. Согровый низинный лес вперехлёстку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глаза схватиться не за что.

Едем-трусём, на тракт выбрались. Солнышко всплыло, подводы навстречу, редко-редко бортовая обгонит, пыль взобьёт. А пыль тяжёлая, росная — ведренный день будет. Спит моя дивизия, только головёнки по соломке катаются!

Ну — приехали. Показалась станция, посёлок большой, дома, паровозы гукают, угаром запахло. Подъежжаем, а там, насупротив вокзала, пустырёк. Весь, ну как есть весь подводами заставленный. И народу — как мураша. Чистая ярмарка! Раным-рано, часов шесть, а гляди ты!

По правую руку палисадик из ранетки. Привязала коня за столбец, бужу Ольку: встань, доча, присмотри, я сбегаю поузнаю.

Торкнулась в одно оконце, другое — где там! Идёт в красной фуражке, я к нему: когда пятьсот-весёлый?

— Это какой? С западного?

— Ну да, оттуда, от Новосибирска.

— С западного — неизвестно. На то и пятьсот-весёлый, да ещё с западного! — это красная фуражка уже на ходу мне.

Чтоб те стрелило, думаю. Никто ничё не знает, вот порядочки.

Вдруг шум, гром — залетает на станцию состав. В брезенте весь, и парнишки на платформах, солдатики. Да все молодые, загорелые, гимнастёрки как в щёлоке выбеленные. А состав без остановки — и на проход. За ним вскорости другой, и тоже только вихорь следом. И туда же, на восток. Что за оказия такая, война-то вроде в другой стороне, да и та кончилась.

Вернулась я к своим. Олька, дежурная моя, спит, я сена коню трснула — и тоже под бочок к ребятишкам.

Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. По разговорам, демобилизованный состав ждут. Кто-то на гармошке играет да какие-то забавные присказульки поёт. Бабы тут, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек — хоть метлой заметай, так и шмыгают, рады суете.

Дрёма меня не знаю как одолела. Лежала-лежала и сбредила: будто сижу дома на приступочке, нитки на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а нитка возьми и порвись. Я свяжу только, а она опять. Смотрю на Павлушу, а он об одной руке и лица нету. Я как закрычу и очнулась тут.

Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне уже, а въяве хочу увидеть Павлушино лицо — и нет. Не получается. Плывёт в глазах. Забылось.

Тут гвалт, суета, закричали: демобилизованный подходит! Кинулись все к вокзалу, к линии, и я не усидела. Ребятишек поукрывала — и за всеми следом. Думаю: а ну знакомого кого встречу. Да и так любопытно — фронтовики возвращаются, победители, родные наши. Хоть глазком глянуть, на людское счастье порадоваться. И ещё мысль пала в голову: а вдруг и Павлуша тут. Ну — пересел там по пути или как, бывают же случаи.

Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разные. Сперва пассажирские, пять или сколько там, а подпослед простые теплушки. И везде — в дверях, окнах — лица, лица, лица! И все пожилые солдаты-то, в годах. Молодых и не видать. Не видать молодых-то! Старшие возраста, словом. Думаю: отвели войну родимые, живые вернулись!

Стоим вдоль линии, скупились и не дышим, господи. Каждому своего увидеть! Вагоны тихо так идут-идут. Тишина по толпе — вмёртвую, мне аж озноб по телу.

А недалеко женщина, в платочке цветастеньком, кофта общивочками — крестьянка обличьем, колхозница. Мальчонка возле, большенький уже. И вот как она стрепенётся, скричит: — Ваня! Ванюша-а! — и сквозь людскую кипень к вагону.

Тут и прорвало. Что началось! Крики, плач, слёзы. Гармошка было где-то вскинулась — сплюснула гармошку! Я тоже стою и

вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, страдалицы вы и счастливицы. Праздник, день-то какой!

Ой да что тут было! На гвардейце одном сразу три женщины повисли и ни в какую (одна в годах, а те молодые). Он шагу не может, аж скраснел весь. А вокруг ещё четвёртая бегаёт, девчонка, за юбки тех дёргает: «Папка, я счас, папка, я счас...» Смех и грех да и только.

Прошёл состав, вернулась я, ребятишки сидят в соломе, как галчата, суёжятся: где мы очутились? А Олька: «Где папка-то?» «Едет ещё, говорю, наш папка, скоро приедет, ждять будем».

Пососкакивали они, запрыгали, у Митьки глаза нарастопырку, диковинкой ему всё. Я сразу наказ: от брички никуда! Гляньте, какая беда народу, позаплутаёте, а тут линия, паровозы, транспорт кругом, не наводите меня на нервы!

Прилегла сама, а уж не лежит. Смотрю, женщина мимо, две чекушки в руках. Я возьми и спроси: дают где или как?.. Ой, да знать бы — дак лучше и не спрашивать и не видеть чекушек этих!.. Ну, спросила. Она мне: да тут, в коммерческом, вон на горочке, выбросили.

Думаю: ага, ради такого случая не слётать ли мне?

Раз-два, зарысила молодая да заполошная. Отыскала магазин, в самом деле дают.

Заняла стою. И гляжу, финики выносят, а кто ещё горбушу. Ну рыба нам своя в глазах настряла. Думаю: возьму ребятишкам фиников, какое-никакое лакомство.

Больше часу стою, и обуяло меня беспокойство: а ну как поезд пришёл, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю, как там пятьсот-весёлый с западного? Нет, не слышать вроде.

Говорят люди «нет», а всё равно неспокойно. И стоять невмочь, и очередь бросить жалко, вот такую себе раскоряку устроила.

Но достояла, взяла — чекушку несчастную, и фиников детишкам кило. Все денежки фукнула. А-а, думаю... Теперь вдвоём — работаем!

Бегу обратно с горки — чуть не вперевёрточки. Солнце уже на макушке, жварит почём зря.

Прибежала, а поезда нет как нет... Да и ладно бы нет...

Прибежала я, а девчонки ко мне, хнычут: Митька потерялся! Мы, мол, искали-переискали...

Думаю: ох, дитё это половину веку мне убавит. Чёрт на при-мусе, не ребёнок, наказывала же: никуда!

Покидала я свои покупки в бричку, провались они пропадом — и сперва в палисадик. Под деревцами тенёчек, люди и стоят, и лежат в ожидании. Спрашиваю про мальчишку, не видел кто? Нет, не видели. Я вокзал обскакала. Ну где ещё? Ударилась на станцию по путям. На какие-то склады натакалась, постовой там, автоматом заляскал — чуть не заарестовал, тьфу!

Вернулась, пот с меня ключом. И не знаю, куда ещё бежать, где блудную коровёнку искать. Может, в посёлок удрал, в улицы, за мной следом да и заплутал там. Надо лететь в посёлок.

И только успела подумать — вот оно тебе извещенье: пятьсот-весёлый на подходе...

Тут-то и завилась я в верёвочку!

Села вскричала: ой, что же нам, девки, делать-то, рази разорваться. Ли за мальчонкой, ли отца, нашего папку долгожданного встречать?

Да ведь и в самом деле, доведись до любого, запричитает, поди!

— Вот чего, говорю, Оля: оставайся, а мы с Катюшей на перрон. — У самой сердце так и замозжило: а ну-к Павлуша инвалидом возвращается (сон проклятуший!), выйдет с вагона, а помочь некому. Что он подумает?..

Оля упёрлась и ни в какую: «Я тоже встречать хочу!» — Нет, говорю, сиди смотри Митеньку, вдруг прибежит, а нас никого.

«Тогда, — говорит Оля, — я его отлуплю!» — Ой, ладно уж, говорю, отлупи, только не шибко, может, мальчишка и не виноватый.

Выскочили мы на перрон с Катюшей, и вот он тебе, пятьсот-весёлый, пыхтит-подкатывает. Глянула — батюшки! В вагонах битком, на площадках и того пуще. Всякого обличья — гражданские, военные. А кто из оторвиголов — и на крышу утнезвился. В

самом деле, весёлый, веселее некуда...

Повалили из вагонов, притиснули нас к заборчику, да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, стоим выглядываем.

И как увижу в военном — сердце так и рухнет! А поближе — нет, не он. И особо гляжу, которые на костылях. Втемяшила себе: раз из госпиталя, значит, на костылях или с пустым рукавом (в письме-то недаром чужая рука).

А Катюшка всё канючит: «Мамк, я его признаю?» — «Признаешь, доча, почему не признать, ты только смотри востренько». — «А он нас?» — «И он нас, говорю, признает, у него наша карточка есть». — «А вот тебя он не признает», — это она мне вдруг. — «Почему же, доча?» — «А ты плачешь и некрасивая, а на карточке ты красивая, весёлая». — «Ой, правда, доча, умничка моя, дай я тебя опущу да вытрешь».

И стоим мы с ней, как две забытых сиротинушки, пассажиров уже никого, остались только, которым дальше.

Стоим, а издали так, с того конца, прямит на нас в защитном кителе. За плечами вещмешок, в правой — чемоданчишко да на другой шинелка перекинута. Прямо на нас так и целит.

Задрожало во мне всё. И не признаю ещё глазами, а в каждой моей жилочке крик: он это!

Подошёл, чемоданчик с шинелкой с рук выронил и обнял нас — меня и Катеньку разом.

Обнял он нас, колючий наш папаня, а меня, глупую, лихорадит: господи, с чего давечь сбредила, будто лицо его в памяти позабылось. Да никогда... Ни в какую жизнь... Умирала бы, а каждую его кровинку помнила бы, с собой уносила...

Встретили, идём. Катюшка чемоданчик у отца перехватила, тащит как путёвая (кряхтит, а не отдаёт), я шинелку несу. Павлуша что-то спрашивает, я что-то в ответ — влопад, нет ли, и не соображу. Я, главное, бричку свою выглядываю и уж бричку вижу, Ольку возле, а Митеньки нет. От беда так беда..

Но а дальше... Ох, дальше такой оборот вышел, такой оборот — только руками развести. Митенька уже взрослый стал, домом

жил, а мы всё его, как соберёмся, так подзуживаем: а ну-к расскажи, как ты папаню с фронта стретил!..

Ладно, подошли. Олька увидала, как кинется отцу на шею, расцеловал он её и уже заоглядывался: где же сын-то?

— Да здесь где-то мотается, — бормочу, — сейчас сыщем.

А сонцопёк кругом, спасу нет. В палисадике, вижу, тенёчек свободный. Говорю: «Павлуша, ты с дороги усталый, в тенёчке посиди, мы его сыщем». Беру охапку соломы с брички и под ранеткой трушу (там же ни травиночки!). А у самой голос рвётся... уж не владею собой...

Труснула я соломы, расклонила и как-то так глаза вверх спрокинула... Как-то так вверх глаза спрокинула, а на ранете, меж веток, пяточка шевелится.

Батюшки-светы!

Я в сторонку чуть, где прогляднее, и вот он — весь тут, сыночек наш непутёвый. На сучочке сидит, голову на развилочку приклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязви его, мальчишечку, только губёнка отдувается!

Упала я тут на соломку — смеюсь и плачу: «Гляди, отец, где твой сынок тебя стречает!»

Павлуша влез осторожненько на дерево, сонного на плечо — и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех. И как задаст рёву.

Получилось-то как? Увидал мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом ещё. Ну — поел не поел, тут слышит — ищут его девчонки. И вздумал, поганец такой, в прятки поиграться. Сидел-сидел, ждал-ждал, когда сыщут, да и заснул не дождавшись...

Выехали со станции далеко уже за полдень. Девчонки к отцу лепятся. Большенькая, Олька, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька дичился сперва — совсем папку забыл, — а потом тоже размяк, разбаловался даже. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал на бричке, пришлось приструнить.

А уж Катенька-лизуня — та на отце так висом и висела.

Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель расстегнул, смо-

трю я: схудал-то как, родимый. Ключицы хоть руками бери. Дак ведь не в гостях был — в госпитале, а в госпиталях этих не шибко-то растолстеешь.

И всё хочу спросить, да всё робею: куда раненный был. Ноги-руки целые, голова, а письма сам не мог. Однако решилась, спросила: куда, мол, раненный? А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня за плечо и: — Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен... — Сказал так, а я щекой прижалась к руке его и уж больше ничего спрашивать не стала.

Солнце в закат — мы к Оинголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий, Павлуша заволновался, говорит: «Останови, хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел».

Соскочил он, а я думаю: ага! Коня в сторону — и на покосную поляну, к стожку. Ребятишкам говорю: «Всё равно домой засветло не успеем, собирайте плавник по берегу, костёр распалим, ночевать тут будем!».

Уж они запрыгали, заверещали, а я смеюсь, дурачусь вместе с ними, сама себя не узнаю.

Распрягла, спутала коня, пустила пастись. И сама за ужин. Ребятишки вопят: купаться, купаться! Пускай и папка с нами искупается!

Да бегите, махнула, окупнитесь, хоть пыль с мордах смоете.

Ведёрко над огнём наладила, вышла на бережок, села. А мои внизу бултыхаются, визг, брызги, на отца верхом! Митенька-то голышом, Катюша в рейтузиках, а Ольга — та в рубашонке, ну как же, ей уже стеснительно.

А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький! Смотрю — через всю грудь белая борозда, а на ноге вдавлилки, как кто гвоздём ткнул да и осталось. А на спине так с блюдце вдолбина.

Искупались они, я ребят возле костерка усадила. Пожевали лепёшек, огурцами похрумкали. Отец американску колбасну консерву вынул — так давай сюда! Чаем с душимянкой напоила. А теперь, говорю, вот ваш кулёк фиников, марш в бричку спать. — Мало соломы, сенца натеребите, не то к утру наготове околеете.

Остались мы вдвоём у костра, я чекушку достаю, протягиваю:

— Ну что, муженёк долгожданный, за возвращенье?

А он посмотрел как-то... Так как-то посмотрел, говорит:

— Неплохо бы, Мария, но мне нельзя.

— Да эт как так нельзя?

— Вот так. Выписывали, сказали: забудь.

— Дак какое это питьё? Глаза тока запорошить. Я вот сроду не пила, ты знаешь, и на май победный едва пригубила, а и то сейчас бы... Вон Фомихин Антон вернулся вовсе без ноги и глаз выстрелен, а так забудзыривает, ой да ну — и ничё. А у тебя руки-ноги, слава богу, целы, схудал, правда, на больничных рационах, но ведь дома теперь, в семье, быстренько в тело войдёшь, наберёшься... За встречу, Павлуша...

Ой да и правильно наша Анна Филипповна всё, бывало, подко-выривает: «У тебя, говорит, Марья, язык — как молотильная палка. Молотит и молотит». К чему я, в самом-то деле, про Фомихина завернула, вроде как раззадорила.

Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал:

— Так и быть, жена, за встречу давай. Ну их, этих врачей. За встречу грех не выпить. Одну наркомовскую приму.

Поужинали, разговариваем, да больше я. Павлуша только спрашивает: чего мы тут да как?

И уж звёзды заяснили, ночь. Кузнечики стрекочут, конь невдали фырчит, хрумает. Холодком с озера. Ушли мы под стожок...

А за стожком — там уже некое, вроде сухой болотинки. Болотинка вся-вся, ну вся багульником оцвела. Цвет густой, белый с розова. И пахучий-пахучий, спасу нет, какой пахучий. Особо после ведренного дня, после зною. Походи по нему — пьяный сделаешься. Павлуша забеспокоился, спрашивает:

— Чем это так пахнет?

— Дак багульником, — говорю. — Забыл?

— Ага, забыл.

Я руку ему под нательную рубашку просунула — и сразу на шрам натакалась. — Больно? — шепчу. — Нет, — тоже шёпотом, — наоборот, кожа как чужая, ничё не слышит. — А тут? — И тут тоже...

... Ой да исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все

мои ночи бессонные, безмужние, все слёзы невыплаканные от меня отлетели.

Не знаю как — сон примаил, уснула. И вдруг — будто кто льду под бок: Павлуши рядом нету! А уж небо слиняло, зоречки рассеяло, пичуги впересвист, утро.

Вскочила на ноги, озираюсь. Берег и дорога вдоль берега, и покос — всё чисто, проглядно, а за стожком нашим, по болотинке, туман-ползун. И гляжу: Павлуша — о господи! — по туману тому уходит. Окликнула, а он — без вниманья. Кинулась за ним, бегу, а никакой то не туман — багульников цвет...

Догнала, остановила, а он так на меня... Ну как сквозь стекло. И с лица сменённый. Я страх испугалась! Обнимкой его, обнимкой, хочу повернуть, а никак:— Павлуша, чего ты, родимый, куда, идём обратно...

А он, как мои слова не к нему, отстранил меня, а после вдруг спрашивает — да жутко так:

— Где Хряпунов?

Рухнуло сердце у меня.

— Какой Хряпунов? Никакого Хряпунова тут нету. Это я, жена твоя — Мария. Идём, родненький.

А он как окостенел, своё:

— Хряпунова ко мне!

Ой да лихо! Не могу с ним совладать. Нету здесь Хряпунова, твержу. Детки наши, никого больше. Идём к ним, к детям. Ольга там, Катюша, Митенька, все спят. Идём проведем.

И вот как я ему про детей затростила — Ольга, Катюшка, сынок Митенька — он обмяк вроде, а я силком его, силком, чуть не таской — и назад к месту.

Уложила, он лёг, сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне, повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе...

Прижала голову, затылок прижала, он... он как дёрнется от меня да прискочит, ровно его проводом ударило!

Сел, а сам то землёй возмётся, то весь как стенка. Скребнул по мне рукой, оттолкнул меня, а на мне рубашка была миткалевая

— так на ремки и пошла! Он на четвереньках, ползёт круг стожка, за стожок, ну как бы от меня. Ползёт и стоном стонет. И головой мотает... И уполз.

Кинулась я, обежала стожок. И обмерла вся!.. Он на земле, а его бьёт! Всподымя бьёт, всподымя! Под ним кострига, бодылья покосные, он по ним грудью и лицом... и лицом...

Подхватила голову его на колени себе, держу, крепко держу, аж руки отерпли. Бился-бился, струной напруживался, а после стал притиха-ать.

Осторожненько волосы ему на затылке подняла... Подняла-то я волосы, а там пролысинка, с монетку величиной. А вместо кожи — пластиночка серебряная серебрится.

... Уснул он головой на моих коленях. Укрыла его и сама легла. И уж пробудило меня окончательно солнце, щеку подожгло. Как-то так пробудилась, хорошо, тихонько-тихонько, будто поплавочком всплыла... Глазами туда-сюда — ни Павлуши около, ни ребятишек в бричке!

Да тут голоса вдалеке, с соседней луговинки. Смеются, слышу, перекликаются. И Павлушин голос тоже слышу.

Ой, да сроду поздно так не просыпалась!

Привстала на локоть, гляжу. Возвращаются они, сканут все вчетвером, голосишки наперебой.

Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы моё выстраданное. Отец девчонок то одну закружит, то другую, они вижат, довольнѣхоньки.

А Митенька впереди, как мячик, в кулачке что-то, издали кричит:

— Мамк! Ты спишь да спишь, а мы с палкой жука поймали — рогастова, ще-котится!

И Павлуша, Павлуша-то мой... китель нараспашку и лицом такой светлый, улыбается. С добрым утром, с весёлым днём!

Господи, или приснилось мне ночное, сбредилось?

Подходит он, а по глазам видать — не помнит ничего! Я скорѣ-

хонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Ну и ладно, ну и хорошо. И я ничё не помню, да и не было ничё. Истинно, что приснилось.

Гляжу на него, родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу, через висок ссадинка, которую, знать, я так и не зацеловала.

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ СИБИРЯЧКИ»

Черёмуховые холода

ВЕЛИК ЛИ МОЙ ВЕК, а три войны пережила. Но те — мировую и гражданскую — помню смутно, ребёнком была, а вот Отечественную и по пережитью лет вспомню, только «ох» и скажу...

Посёлок наш Златогорка на озере Оинголь стоял. Озеро Оинголь не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держало — на серёдке дна не доставали. А уж ладное да красивое, я только теперь, из дали лет понимать стала.

Наш берег яром обрывался, из мела весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх — луговина, цветы весной на лугу, как заря. По-за луговиной тайга черневая. И на дальнем берегу тайга, да не везде, а гривами. А меж грив, покатыми, — светлые места, покосные.

Только Долгий мыс окидан черёмушным кустарником. Он, черёмушник-то, и зимой, и осенью особенно — чёрный стоит, аж угольный, грач залети — и пропал. Но в мае, когда оцветает, он своё берёт. Сперва дымок, сзелена как бы, потом — пеной, пеной, будто кто взбивает.

С ветром — и запах, а когда прибой, то и цвет выплёскивает. Сколько цвету! А до мыса, если на гребях идти, час расстоянья, не меньше.

Зато небо — всему голова. Утром выходишь, прежде кверху гляди. Что небо обещает, тому и быть. И красит всю природу небо

тоже, настроение даёт. Оно пасмурное, морочное — и озеро злое, пасмурное. Оно голубое да весёлое — и вода в озере бирюзовая да прозрачная. И тайга небом живёт, его цветом да отблеском дышит.

В Златогорке нашей с довойны ещё промхоз образовался, рыбой да диким мясом, да орехами промышляли. Золотой рудник по договору обеспечивали. Но главное — рыбой.

Местные старожилы хорошо жили, на окнах герани да фикусы, чай пить сядут — стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться грех. Не в капитале, правда, жили, однако ж достаток нашего дому тоже не обходил.

Павлуша мой в рыбацкой бригаде, а я как бы в помощниках. Но это когда дети позволяли. Их к тому троеросло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате — шесть, а младшенькому Мите — три годочка.

Да ещё жил с нами свёкор, древний уже, летом пимов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет: — Пальцы-то не помню каки. Этот вот прихватный (большой, значит), а энтот-то мезенец штоль? — И сокрушится при этом: — Эха, старость, лепший бы её не ел. В сорок третьем, по весне, я за него чуток ума не решилась. Но да лучше по порядку.

И вот взялась эта проклятая война, мужички наши пошли. Скоро посёлочек осиротел. Павлушу уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал.

Провожали мы его, он ребят перещеловал, меня, говорит: — Смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Всё прощу, а за ребятишек — нет. — И в грузовик впрыгнул, ни слова больше...

Ночь ли две проревела я, шутка ль в деле: один мал, другой меньше, третий ещё меньше. Да ещё свёкор в придачу, по уму ровня троим, за самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь — слёзы-то не песня. Надо жить.

Пополнили бригаду дедками, подростками, меня звали, не пошла. Бригадная работа — по всему дню, а у меня дети, домашность, куда уж. Решила отойти от всех. Тут я одна, да сама! Договор небольшой подписала, ставные сети мне, тару, всё честь по

честь.

А лодка у нас была своя, добротна лодка, высмолена, края широки, разливысты, захочешь не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Сетей девять концов выметнула — недалеко, напротив Долгого мысу. Старшенькую с собой посадила, Ольку, поддержать там что, подать, всё подмога.

Поплыли назавтра, одни сетки порожни, в других есть. Две корзины натрясли — сорожки и окуня маленько. Воротились с лёгкой душой, слава богу, лиха беда начало.

И пошло-поехало. Уловы не шибко щедры были, но ровные. Две-три тони — и на тебе бочонок, а в нём, считай, центнер. Павлуша, не хвальбой будь сказано, увидел бы меня в деле, порадовался: хваткий ему ученик попался!

Однако и осень та первая тихой даробкой выпала, будто заманивала, вихорь её подыми! Уже октябрь — вот он, трава отзябла, северная утка пошла. Вода в озере остеклела, и небушко голубое до самого окоёма. Яснопогодье, словом.

Так-то с яснопогодьем и в зиму ушли.

А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и по льду рыбачат, а я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку послушаешь да что люди говорят — и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и не часто. А получу письмо — подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть. Дак это как в старину: хоть и по любви выходишь, а на свадьбе плачь!

Но — помаленьку обманули зиму, однако запасы порастрясли. Да горевали мало, вера была: одолеют наши в сорок втором году.

Лёд на озере рухнул — я опять за своё. Снасти починила, лодку подконопатила. Здесь уж мне свёкор помог, Савелий Ильич, мастер он был когда-то по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили!

Вот с весной-то и началась моя епопея, довеку не забыть...

Подымаю раз сетку, она будто с камнями, окуня зеленым-зелено, дьявол ему рад, тому окуню. Трясла я, трясла, руки отерпнули. Другую — из воды, а там та же прорва. Третью, четвёртую... и кругом окунь, аж рябит, тошно глядеть!

Полдня прохлесталась, руки закровенила, еле дышу. Олька моя на корме сидит, хнычет — есть хочет и околела. А я рыбу в сетях бросить не могу, закостенеет — слезами не выдерешь. Ну — упрямилась, приплыли, солить давай. Дотемна солила, два бочонка полнёхоньки и ещё себе оставила.

Назавтра плывём, поддеваю шестом первую тетиву — под ней живая кипень.

Окунь растреклятый! Опять все сети заурюзил! А уж одно к одному, ветер посвежел, вздыбил, волна так и ломит, лодку заваливает.

Оинголь наш редко вёснами без волны живёт. Ветра больше — и волны больше. Глянешь — господи! — ключё! По бокам ключё, со всех сторон ключё! Кричу Ольке: — Садись, доча, придержи-вай на ветер сколь можешь, я трясти буду!

Села она, подгребает, а весло тяжёлое, неухватистое, для её рученок-то. И жилочки на шее, как струнки... Не помню как и опорожнила я сетки, под вторую доску натрясла, лодка огрузнела, было не потопли.

Гребусь домой, сама думаю: куда улов определять, вся тара запростана. Бегу в контору, заявляю:— Где приёмщик, тара нужна, пусть подвезёт.

День до вечера — ни тары, ни приёмщика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же гибнет. А мне в ответ разъяснение:

— Ты, Мария, не шуми шибко, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается.

— Это почему ж,— говорю. — Или мой договор недействительный, или моя рыба не из того же озера?

— А какая рыба-то? Окунь? Дак вот,— говорят,— ты сама трезво прикинь. При нынешней ограниченной таре, посколь бондарей нет, мобилизованные, кому преобладание? Бригадному сигу и хайрузу (хариусу) или твоему единоличному сору?

Баба я была безоглядная, заденут — все гужи порву!

— Я што, — выбирают этот сор? Да с этим окунем маяты, чтоб он сдох, вроде не знаете. Будь мой здесь, вы бы так не разговаривали, а вынь да положь!

Пошумела я, как колокол соборный, побунтовала, душу отвела, а потом стоп: да ведь верно всё, законно, по расчёту. Бригада промышлять уходит за десять вёрст, на ямы, там и бытует. Приёмная цена хайруза пять рублей кило, а сига дак аж восемь пятьдесят. Мне на ямы не под силу, я до Долгого мыса-то и обратно на гребях дойду — руки всю ночь в плечах ничё не слышат. А под мысом — окунь да сорога, но и щука когда-нить. Цена же окуню девяносто копеек, а сороге и того чище — семьдесят. Истинный сор! Какой с того заработок, посчитай, если одна соль шестьдесят копеек кило. Чёрная рыба.

Да и то правда — знала я всё и прежде, чего ж теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно что. Но да обиды копить — с людьми не жить.

Дальше — больше. Май был, уж зелень выбросило, и вдруг занепогодило — ветра, мокредь снежная, ночью берег аж гудит. Прокрадёмся с Олькой под Долгий мыс, там затишек, а обратно — но хоть матушку-репку пой. Повдоль берега, где помельче, то на шесте, то бурлаками. Измокнем все, исхлещёмся, я-то взрослый человек, а она что — ребёнок, девчонка. Дома плюх на лавочку, Катюша да Митька, как мураши возле, обувку сдёргивают, полushалок развязывают — сама-то уже вся.

Как-то накануне штормило сильно, приплываем, а сетей нету, меня так и подсекло. Стала багром шарить, подцепляю одну. Веретеном перекрученная, в траве да тине, ничего злее не бывает. Выудила остальные, а две так и канули.

Сели с Олькой под берегом, разбираемся. Да только подумать — сеть после такой холеры разобрать. Дешевле выбросить, да где новую взять.

И вода, ой вода, как железная, холодная, и сиверко будто с цепи сорвался, застывшая. У Ольки шубёночка продувная, сторбилась дёвка, траву дерёт, а трава злая, осочистая. Нет-нет да рыба попадётся, колючки растопырила, выдерешь — наплачешься. Глянула на её руки, как гусиные лапки. Брось, говорю, доча, побегай посогрейся, сама управлюсь.

Не управилась, верно, назавтра пришлось... Утром бужу её,

она ни в какую. Я уж и к лодке всё стаскала — спит, в одеялко закаталась. Да тут ещё Савелий меня раззадорил, забыл корзину на берегу, её и смыло. Олька, кричу, ты встанешь или тебя скалкой подымать, бессовестную, да вгорячах одеялко с неё дерг!

А она... она лежит в рубашоночке, коленки под себя сгорбатила, сжалась, а в глазах слёзы... Личиком дрожит и руки запихивает, как бы прячет.

Оборвалось во мне, беру их, разжимаю, а пальчики все в язвинках, в язвинках, и ладошки разъедены, как банные.

Тут надо мной потолок раскололся, огнём по сердцу. Что я наделала, господи, господи... Куда гляжу, до чего дитя родное довела, баба безмозглая, нерадивая. Упала на колени перед постелью и зашлась: вспомнила, третьего дня Олька из рук блюдце выронила, а я её побила за это. И оттого — ещё пуще. Ребятишки испугались — и тоже в рёв.

Пропади, думаю, рыба, девчонку больше не потащу. Да и младшенькие без догляда — страх смотреть, перестыли, осопели. Как зверята голодные, то на подогретом сто раз, то вовсе всухомытку.

Однако же главное нас впереди караулило.

Питались мы с этой весны, считай, гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял (да робко росло, земля тощая), а зимой что — опять рыба разного звания. И солёная-то, и вяленая, и пареная, а то ещё сушили, в ступах толкли, мука получалась.

Вторую зиму мой младшенький заумирал. То ничё, весёленький, а то кричит по всей ночи, аж синий весь, наразрыв. Я к нему: Митенька, Митенька, где болит, где вава, покажи ручкой, он только пуще того. Напою сушёной медуницей, он вроде утихнет. Значит, с животиком неладно.

А потом запримечать стала — он головку плохо держит. Или бежит-бежит да на ровном хлоп, упадёт. Тогда я что — в охапку его и к санитарке в пункт. Помяла та, послушала: — Тут, тётка Мария, моего дела нету, тут от питания всё, от рациона..

А войне конца-краю не видно, лютует фашист. И слышим, наподдали ему под Сталинградом, окружили — и в прах! Ну сла-

ва тебе, вздохнули мы в одно сердце: и на нашу улицу дождались праздника.

Да вот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело во мне всё, только и живу детьми, ложусь с маятою, как застрашный день одолеть.

Солнышко припекать стало, я Митю укутаю и несу на пригревочек (ножки уж не ходили). Он сидит жмурится, а сам но как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы до чистой воды, до первой зелени, а там уж мы не поддадимся. В апреле, только снег посогнало, я с ребятишками в тайгу, на болотины и согры — клюкву прошлогоднюю собирать. Отожму сок и пою им Митю.

Да ведь как у нас говорят: пришла беда — отворяй ворота.

Деда Савелий наш совсем обеспамятел. Иной день ходит здоровый, по хозяйству чё-то соображает, к ограде досочку прибьёт или тляпку навострит, или гвоздочки ходит выдирает да прямит — угомону ему нет! А иной...

Однажды нету и нету Савелия, куда старого удуло? Под вечер время, на пороге Вера Игнатьева, соседка через три двора, а за ней Савелий. «Принимай, Мария, своего блудного!» — «Как так?» — «А вот так. Спускаюсь с горы, а он у родника сидит, на колодезном срубе. Ты чего, спрашиваю, деда Савелий, тут высиживаешь? А он на тебе: дорогу, говорит, забыл, где дом — не знаю!..» — Но дите и только.

Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам наказ: за дедой присматривайте, на шаг со двора не пускайте!

Дней через десять или как (когда уже началась моя третья путина, ох!) возвращаюсь чуть живёхонька, а его опять нету. Я на ребятишек грозой: где деда, недоглядели, марш искать! Пошмыгали они по посёлку, да по-за огородами, вернулись ни с чем.

А уж сумерки, вывездило. Вижу, дело худо, подхватила я сама. Все дворы обегала, изругалась на старого. И на озеро, и по горе покричала. И наков по дворам, да ведь никто не видел его тот день. Ах, родимец тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела. Чуть обутрело — я снова да ладом, искать заблудшего. Полдня пролетала, пришла без ног, — нету старого.

Тогда я уж что — в контору: человек сгинул!

Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше, айда местность круг посёлка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу окрест огласили — никакого результата. Из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать.

Через неделю у самой руки пали: сгинул деда Савелий! Восемь с половиной десятков на свете прожил, мастер слыл в свои годы — на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки — его, Савелия Ильича, руки. Охотничьи избушки-зимники на сто вёрст по тайге — им рублены. И вот пропал, ни тебе следочка на земле, как ровно вознёсся, ой лихо какое!...

Да ведь и рассказанное — не всё.

Как-то вскорости полезла я в сундук с бельём, вижу: вроде не мой порядок. Предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозяйничали, да не должны, не балованные. И как кто меня под руку — толк! Лезу дальше, в уголок, где дедова одёжка, его чистое исподнее, а там пусто.

Брякнулась на сундук, сижу, в ум прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение: не потерялся деда Савелий, не заблудился! Сам ушёл, своим желаньем, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушёл!..

Уж и не знаю, может, моя тут вина, укорила его когда в сердцах ненароком, так не помню, а всё равно душой майся. И такое в голову хлынуло, сердце замозжило. Ушла в дровяник, села там и обжаловала своё горе.

Май сорок третьего стоял с густым небом, с далью. Мимо тропок ветреник зажелтел, под оградой крапиву уже щипнуть можно. Нащипываю крапивки, сварю своим, они не едят, окаянные, хнычут: ожалит!

Сойдётся яром к воде, а по воде черёмушный цвет, ровно чешуя играет. Мартышки уже прилетели (чайка у нас так зовётся), галдят, табунятся, пищу делят.

На исходе май, а и под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает. Старики нащи об этой поре говорят: то, мол, на севере льды раскалывает. Да мне, молодой, только за вёсла сесть — самое лучшее согревательное.

Стала я с весной промышлять, иду и ружьё с собой в лодку кидаю. Охотник из меня — смех один, сроду по-серьёзному не охотилась, а ну гогль беленький или шилохвость вывернет — неуж упущу? Бывает, над самой головой так и свистнут. Мне сейчас ничем брезговать не след.

Выходила из дому раньше солнышка, на сутёмочках, едва брежит. Пока доплыву — и светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук — под днищем похлопывает. Гребусь так, чтоб наш белый яр по правую руку оставался. Его и в сумерки видеть. И не оглядываюсь плыву, уверена — в аккурат на Долгий мыс попаду, привычно уж.

Руки знай работают, а голова в заботах на день. Перво, думаю, как вернусь, грядки край дорыхлить надо. Не то срам: у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, все грядки забило. Ребятишки, ох, обувкой вконец обносились, босые выскакивают, цыпки на ногах пищат. И чирей одолел, ничё не помогает. Ольку в пункт послать, мож втиранье какое дадут. Вчера мукой отоварили, а мука лёглая, так рассыпать бы на листе, проветрить. А тут саму чёрт под руку толкнул: стекло ламповое чистила да раздавила, ума не придумаю, где взять, а без стекла — копоть, глаза за шитьём да починкой тупеют.

Ко всему ещё камень на душе — дед Савелий. Рано-поздно, а Павлуша объявится — вера во мне какая-то смертная жила, — и тогда отписать ему придётся. А как писать-то? Ушёл, мол, отец и с концом. Как так ушёл, куда? Каково такое читать на фронте...

Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. Ни ветра, ни зыби, ходко иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом.

Тут возьми я и оглянись, далеко ли до мысу. Но — недалеко, рукой подать, снова гребу, а в глазах какая-то точка, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое, снова обернулась, остро гляжу.

По правую руку наш берег, а по левую — черёмуховый мыс, коска песочная. Оинголь будто река — в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу, и вот оно: ровно живое что рябь гонит.

Налегла на вёсла, ближе. То ли конь через озеро плывёт, то ли

тёлка, морда над водой стелется.

Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть?

И уже различаю: серое, срыжа, уши то торчком, то в лёжку. Сохатуха! Меня так всю жаром и обнесло.

Залихорадилась я, завертелась посередь лодки, как ужака на муравьище — туда, сюда. Шутка ли в деле, сохатуха!

Хватаю круче к мысу, ей напересёк. А та уже заметила меня тоже, башкой закрутила и быстрее ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя.

На грёбах итти — меня не испугаешь, по часу, бывало, плюхаю без отдыху (оттого и ладони, как наждаки, ребёнка погладить боюсь). А тут, что ты будешь делать, отмахала саженей сто, и то ли от азарта, то ли от суеты и спешки, вижу: всё, зашлась, задышка берёт, млею. Сама себя костерю — но Мария, но Мария, упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни и бывает.

Брошу глаза через плечо — вот он носок, а перед носком, знаю, долгая отмель; гляну через другое — вот она сохатуха, морда с холкой в струну, вода за ней аж ключом выбухла, — тоже знает, что против носка — отмель, её спасение.

Слёзы закипели во мне — от переживания сердца, от неудачи. Упёрлась я пятками в укосину и из последних силёнок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Ещё саженей пятьдесят отмахала, это уже на износ; оборачиваюсь, воздух ртом хватаю. А волосы не покрыты, на лицо ливнем, не вижу сохатухи, ничё не вижу (коса у меня с молодости была толстая да длинная — садилась на неё). Волосы отгребая, глазами по отмели шарю — нету, по берегу — нету. Что за наваждение?

Тут слышу, лодка обо что-то торк! и враз фурчанье — как бы из-под лодки. Оглядываюсь, а это она, голубушка! Лодкой по башке ушибло, она аж курнулась по уши. Вынырнула, ушами стригёт, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда, близко так, жутко даже. Никогда в жизни так близко зверя живого не видела.

Оторопела, сию полоротая, ум отсекло — как быть? Ружьё в корме, да и чего им делать, на глубине-то?

А сохатуха и к корме повернёт, и к носу — лодку обойти. Я вёслами тоже — то вперёд загребу, то назад, загораживаю, а для чего, сама, убей, не скажу. Вот такие догонялки устроили.

Вода в озере чистая, проглядная, видать, как она всеми четырьмя ногами шевелит, а шерсть на ней дыбком. Гоняемся, гоняемся — и тут вижу, она морду задирает. Зубы ощерила, засипела, а круп всё глубже в воду. Бросила я вёсла, вскочила. Чего ж это, неуж то-нет?!

А она уже зубами воду хватает и на меня глазом косит. А в нём, господи... такой крик, такая мука... И сквозь зубы стоном...

Здесь уж я совсем из здравого рассудка выбыла. Куда робость отлетела! Подгрелась к ней, на край упала, охватила за шею, как бы удержать. Да мыслимо ли? И уж мелькнуло в отчаянности: да выплывай ты, животино окаянная, ступай себе, холера с тобой, век тебя не видела и не надо, только выплывай.

Держусь за неё, обнимаю, а по ней дрожь, руками чую. И дух, как от мокрой скотинки. Лодка с края на край — ходуном, того и гляди вместе курнёмся. И уж вконец огрузла она, ну никакого спасу; ладони мои по шерсти потекли-потекли...

И вдруг — откуда что! Как она морду свою горбатую вскинет да ударит! Лодка краем черпанула, а я в корму снопом.

Поднимаюсь, в висках бубенцы, а сохатуха аж до плеч из воды высигивает, да раз за разом, кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отметили.

Копытом — по лодке, отщепина так и полетела!

Лодка моя заболталась на волнах и — каруселью, а я сижу ни жива ни мертва, локоть щупаю, отсушила падая.

Зверюга скачет, хрипит, донная муть за ней ключом, и уже берег вот он. А когда всеми четырьмя днахватила, тут и пошла!

Всё во мне разом схлынуло, куда что. Отрезвела: уходит сохатуха, уходит!

Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, нужду свою, разруху. Не было этого. Вроде никаких, ну никаких мыслей не было, а один голос души: чего ж ты, баба, скисла, чего медлишь!

Выдёргиваю из-под себя ружьё (аккурат на него локтем упала), подымаю, мушка прыгает, разбегается. Сохачью голову ловлю, за ухом верное место, это я знаю: Савелий Ильич, покойничек, много раз про охоту рассказывал.

И ведь мыслимое ли дело. Сызмальства в Бога не веровала, иконки в доме не держали, а здесь целуюсь и губами шепчу: Господи, не дай промахнуться, Господи, помоги...

И тут на тебе! Вот так в створе — сохатуха, берег с откосом, выше черёмушник стеной. И вижу в момент, краем глаза (как бы и не я вижу!), выскакивает из кустов, из черёмушника, телёнок-сеголеточек. От надо же!

Выскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком, аж ушки встрёпываются. К матери бежит! Из себя такой рыжий, только рыжее, лобастенький, а копытца, как стёклышки.

Оторопела я, охнула. Не вижу телка, света не вижу, за что мне ещё это наказание! Сжала душу в горошину, окаменела.

А он ровно почуял что, замер с разбежки, стоит, привскакивает, носом-бирюлькой фукает, торопит!

Выстрелила я...

Сохатуха башкой мотнула — и из воды, только песок ошметьями! Перебежала берег, мимо телка — и на откосок.

Промахнулась, Мария, промазала!

... А сохатуха впрыгнула на откосок, год самые кусты; впрыгнула и стала как врытая: стояла-стояла, да и повалилась тут.

... Не перескажу, как доплыла я до посёлка, спеклось во мне всё.

На подмогу особо уговаривать не надо было. Старики и бабы аж замолились на меня: как сумела да как осилила?

Вернулась с людьми на Долгий мыс к полдню. Сохатуха под черёмушником, как была, а телка нету. Нету телка! Думаю: слава тебе.

Взялись мужики разделявать, а он — вот он, из кустов голову просунул и глядит.

Ушла я к лодке знобко мне стало что-то; летла ничком и лежала, пока не погрузились.

И ведь кусочка того мяса сама не съела — не могла, хоть ты что.

... Среди лета уже, каким-то случаем, отыскался наш родименький, наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих промысловых избушек-зимников (нашел же дорогу!) весь в чистом, как щепочка высветил, и свеча в головах обгорелая.

СИНЬ-ТАЙГА

1. Бабушка сковородкой гремит

Тягуче заскрипела дверь с лихой вязью по ватману: «Посторонним — нельзя!», и из своего закутка вылез радист — небритый, взъерошенный, в обрезанном полушубке, — хмуро бросил на стол пачечку тетрадных листков», Заварзин подгрёб их к себе.

«Синь-Тайга. Заварзину. Поиски предлагаю вести группами два человека тчк примите меры безопасности результаты сообщайте систематически тчк связь круглосуточно».

«Синь-Тайга. Заварзину. Окончании бурана подготовьте площадку вертолётa **обеспечьте** площадку флажками тчк Коломиец».

«Синь-Тайга. Заварзину. Наличии снеговых лыж нет имеются туристские **радируйте** тчк Мелешко».

«Синь-Тайга. Заварзину. Посланный вчера вездеход разулся Козлином ключе тчк вышел второй тчк **обеспечьте** погрузку пострадавшего тчк этим рейсом выехал **следоватеь** **создайте** условия работы Коломиец».

Заварзин дважды перечитал **последнюю** радиограмму, уголки его губ дёрнулись:

— Оперативно **работают**, ничего не скажешь.

Лежавший на ближних нарах Володя Кондрапевич, **задрав** реденькую бородёнку, молча протянул руку. Заварзин подал ему листок, обернулся, позвал негромко:

— Вера, выйди-ка.

Рядом с дверью **радиcта** **открылась** вторая дверь. Вышла девушка, укутанная **палью**, в больших, **круто загнутых** **сверху** валенках, из-под шубейки торчали **подоткнутые** **полы** **белого** халата.

— Ну что? — тихо спросил Заварзин.

— Неважно, Алексей Федорович, температура; обморожение второй степени, это не так просто, нужно переливание.

— Вездеход должен быть часа через три. Приготовь его и приготовься сама, поедешь с ним.

— Хорошо.

Эрдэ с сообщением, что едет следователь, обошла нары, вернулась к Володе Кондрашевичу, тот кинул её на стол, хмыкнул:

— Курочка в гнезде, а бабушка уже сковородкой гремит.

Заварзин встал, подошёл к окну. Был он высок и оттого слегка сутул, в потёртых, перехваченных ремешками унтах; руки, засунутые в карманы куцей куртки-штормовки, держал нарастопырку.

За окном бело-матовыми стремительными волнами летел снег. Приземистая коробка материального склада шагах в тридцати то проступала тёмным пятном, то вдруг исчезала. По столбу, как захлестнутая петлёй птица, прыгал сорванный рефлектор.

Стены дома подрагивали, а сквозь двойные стёкла просачивался низкий земляной гуд, от которого муторно становилось на душе и хотелось только одного: тишины.

Донёсся короткий и глухой, отдалённый удар винтовочного выстрела.

2. «Я запретил поиски»

Рокот дизеля, уверенный и деловой, возник неожиданно, хотя его и ждали.

Парни попрыгали с нар, а Володя Кондрашевич, сорвав с гвоздя шубу и шапку, выскочил за двери. Вездеход с зажжёнными огнями выплыл из белой мглы.

Топоча и шумно отряхиваясь, вышли трое — двое мужчин-водителей и девушка. Следом Володя Кондрашевич внёс в охапке ящик с сигаретами.

Девушка поставила у ног чёрный кейс, сняла шапку-ушанку, тугая волна пепельных волос упала на брови. мех короткой дошки был забит светом. Она царапнула его пальцами, стала расстёгивать пуговицы. Володя Кондрашевич, опустив ящик, взял из руж девушки дошку, повесил на большой кованый гвоздь и тут же многозна-

чительно глянул на Заварзина — не слишком ли он?...

— Я из прокуратуры, — представилась приезжая. — Фамилия моя — Мерцалова, Инна Александровна.

— Очень приятно, — сказал Заварзин и усмехнулся про себя, уловив в этой обязательной фразе особенную фальшь. — Садитесь. Я — Заварзин.

— Спасибо, я так и подумала.

Девушка села, открыла кейс и стала рыться в нём. Лоб и щёки её были розовы, в тонких бровях поблескивали капли.

Мимо них пронесли носилки. На забинтованном лице лежащего видны были одни глаза. Заварзин склонился над носилками, ободряюще проговорил:

— Ну, Вася, держись, теперь медицина возьмётся за тебя настоящего. Через месяц будешь как бог.

Девушка подняла голову, живо спросила:

— Простите, это и есть Василий Отургашев? Я бы хотела его предварительно допросить.

— Он пока ещё не подсудимый, чтобы его допрашивать, — сказал Заварзин.

— Но... мне необходимо задать ему несколько вопросов.

— Все ваши вопросы зададите мне, — Заварзин нетерпеливо махнул рукой: несите же!

Он вышел вслед за носилками и вернулся только после того, как вездеход, пережёвывая в катках груды снега, отъехал.

— У вас тут нету отдельной комнаты, где бы мы могли побеседовать? — спросила девушка.

— Почему же? Есть. — Заварзин кивнул на загородки. — Только слышимость там абсолютная...

— Понятно. Тогда я прошу, — сухо проговорила та, не поднимая глаз от раскрытого перед ней чистого блокнота, — рассказать обстоятельства произошедшего в вашей партии случая.

— Скажите, — в свою очередь спросил Заварзин, тяжело опускаясь напротив, — вы давно следователем?

— Это к делу не относится, — быстро сказала девушка. — Я задала вопрос и жду ответа.

— Обстоятельства произошедшего случая... — повторил Заварзин, глядя на законную снежную карусель. — А случай ещё не произошёл, — обернувшись сказал он и, увидев, как дрогнули брови девушки, усмехнулся: — Он ещё происходит.

— Вы хотите сказать...

— Да, хочу сказать именно то, что вы подумали: пока человек не нашёлся, хоронить его нет оснований.

— Вы неважный телепат.

Девушка прямо посмотрела в лицо Заварзину. Она поняла, что ей как следователю пора уже проявить твёрдость.

— Я подумала совсем обратное: что с человеком, которого только что вынесли на носилках, ничего не случилось...

Заварзин сомкнул замком лежащие на столе руки, долго рассматривал их. Когда заговорил, голос его был глух и бесцветен:

— Наша партия получила задание провести съёмку участка Оингол, это в десяти километрах отсюда, на восточных склонах Синь-Тайги. Месяц назад...

— Точнее, — перебила девушка.

— Пятого октября.

— Продолжайте.

— Пятого октября работы в основном были закончены, оставалось пройти несколько несложных маршрутов с магнитометром. Решили, это сделают двое: Костя Санников и Вася Отургашев. Ребята остались, а мы вернулись сюда, в посёлок. Это было две недели назад... вернее тринадцатого. А пятнадцатого, когда Костя с Василием должны были идти домой, свалилась пурга. Ну, мы сначала мало беспокоились: парни серьёзные, переждут, думаем, непогоду, пересидят. Там у нас избушка-зимник, кое-какой запас продуктов. Можно посидеть. Да... А позавчера наш часовой на складе ВМ...

— Простите, что такое — вз-эм?

— ВМ — взрывчатые материалы. Склад этот метрах в восьмистах, за горкой... Так вот, смотрит: кто-то навалился на проволоку, висит. Часовой стал стрелять в воздух — бесполезно. Тогда он звонит в контору — такое, мол, дело. Прибежали мы, а это Вася Отургашев. Голова шарфом обмотана, валенки прожжены, навер-

ное, у костра спал... В общем, так: вышли они с Оингола ещё затемно, прошли какую-то часть пути, как задуло... Да, не сказал я: с ними лошадь оставалась, приборы таскала, спальники, продукты... Так вот: задуло и задуло. На Синь-Тайге это рутинное дело, какая-то труба, а не гора. Дороги твёрдой нету, а гольцы здесь даже в погоду все одинаковы, не отличишь, а уж когда завьюжит падера... Ребятам надо бы сразу назад, а они нет. Сверху, по гольцам, ветер с ног валит, а внизу, по сограм, снега, лошадь тонет. Вот и закружились.

Девушка подняла глаза от блокнота:

— Простите, читала, в таком случае лучше положиться на лошадь, она выведет.

— Может быть. Только в сильный ветер лошадь, да ещё навьюченная, норовит идти по ветру... Закружились ребята, тропу потеряли. Санников пошел искать.

— Как же можно найти тропу в такую снежную погоду? Вы же сами сказали...

— Можно. У нас вдоль тропы расставлены туры, метров через полтора-два. Туры — такие столбы из камня-плитняка сложены, для ориентира... Костя ушел, а Вася Отургашев остался возле лошади. Вздумалось ему шарф под шапку намотать, шапка была великовата, задувало. В общем, сорвало с него шапку или выронил её, не догнал, конечно, потерял. А когда вернулся — ни Санникова, ни лошади. Кружил, кружил. Пока не набрёл на проволочное ограждение склада ВМ...

Заварзин вынул из кармана пачку, заглянул в неё, тут же смял, отбросил.

Ящик с сигаретами стоял уже раскрытый и наполовину пустой. Завапзин подошёл, взял несколько пачек, кинул вполголоса Володе Кондрашевичу: «Запиши на меня десяток».

— Выходит, Санникова нет уже шесть суток? — спросила девушка.

— Да, сегодня шестые.

— И поиски все безуспешны?

— Что значит поиски? Когда пришёл Отургашев, мы вгорячах

попробовали искать. Но едва не потеряли ещё двух.

— Простите-простите, — проговорила девушка, живо откладывая карандаш и теперь уже с новым каким-то интересом глядя на Заварзина, — значит, в настоящий момент поиски не ведутся?

Заварзин раскуривал тугую сигарету, сведя глаза к перекосице. Выдохнув дым, хмуро:

— Я запретил поиски — ввиду их бессмысленности. И во избежание новых несчастий.

— Как же так? — Лицо молодого следователя утратило всю свою строгость, стало по-женски милым, растерянным. — Или что-то недопонимаю... Человека, вашего товарища, нет много дней, он, без сомнения, ждет помощи, а его даже не пытаются искать.

— Мы пытались, — сдержанно напомнил Заварзин.

— Да, да, конечно. Вы испугались ответственности.

— Не ответственности, а новых жертв.

— Ну, допустим: жертв. Но существует закон гуманности. Закон взаимовыручки, наконец. Если кому-то грозит гибель, если, к примеру, кто-то тонет, то другой, даже зная, что сам может утонуть, бросается на помощь.

С дальних нар — хрипло, застуженно:

— Кроме гуманных законов, существуют и уголовные!

Девушка резко, словно от толчка, повернулась на табурете:

— Кто это сказал?

— А к чему тебе? В протокол, что ли?

Та вдруг сгорбилась, губы её некрасиво растянулись. Она навалилась грудью на столешницу, с несдерживаемой горловой дрожью сказала:

— Да вы... вы просто трусили...

Парень в зелёной фуфайке с большими, грубо пришитыми заплатками на локтях — обладатель простуженного голоса — сбросил с нар ноги и, судорожно записывая пальцы в узкие рукава, захрипел:

— Роздымаха сказал! Пиши: Роздымаха! И нечерта нас тут гуманности учить — мордой тыкать. Ты Синь-Тайги не знаешь. Я с Костей в одном мешке не раз спал! Ты гарантируешь, что если я

щас убреду в гольцы и загнусь там, то это поможет ему? Тогда я готов хоть щас.

— Вы прекрасно знаете, ничего я не могу вам гарантировать. Но убеждена в одном: поиски не долины прерываться. Ведь речь идет о жизни человека.

В стёкла заскрёбся, омыл волной снег. Издалека долетел короткий, сухой звук выстрела.

— Я понимаю, — Заварзин сосредоточенно складывал из сигаретных пачек башню, глуша в груди раздражение. — Начнёт стихать, в поле выйдет весь посёлок. Всё, что мы могли сделать пока, это расставить по окраинам посты — слышите?

— А когда она начнёт стихать?

Заварзин неопределенно пожал плечом. Тогда девушка быстро опустила глаза, сказала:

— Вы, Заварзин, как руководитель, не проинструктировали людей...

— На все случаи жизни инструкций не предусмотритишь, — перебил он.

— ... не проинструктировали, а сейчас отказываетесь от поисков. Я должна заявить официально: если поиски не будут начаты, боюсь, встретимся на суде.

— Даже так? — Заварзин уже понял свое унижающее бессилие перед логикой этой молодой законницы. Последние двое суток он почти не сомкнул глаз, нервы были напряжены; он видел бессмысленность затянувшегося разговора. — Тогда вот что скажу. Только не подумайте, что суда испугался. Я пойду на поиски: собой имею право рисковать. Но вам, я вижу, отлично известны наши инструкции: одному выходить запрещается. Так вот: я пойду при условии, если со мной пойдёте вы.

— Я?.. — Карандаш дрогнул, завис над блокнотом.

Печь в углу ухала и трещала, дым плыл по половицам, дрожал над щелями — будто и оттуда тоже дуло. За перегородкой дробно попискивала рация.

Девушка положила карандаш между листками и ровно — так что сразу выдалось её смятенное состояние — сказала:

— Что ж... Это даже неплохо. Это поможет мне разобраться в обстановке... Да, поможет. Ладно. Согласна...

Заварзин, облокотившись о стол, близко и пытливо посмотрел ей в лицо: блефует законница или всерьез?

Володя Кондрашевич аж прыгнул с нар: В самом деле, что ли?

— Фёдорыч, да ты что? Возьми лучше меня! Или вон Раздыма-ху. Ты же нас знаешь, Фёдорыч!

— Прекрати эту торговлю! — оборвал его Заварзин, — и проводи следователя в Верину комнату. Там есть брюки и полушубок — пусть воспользуется. Кстати, свой любимый собачий свитер одолжи тоже — усёк?

Девушка вышла. Заварзин подсел к ребятам:

— Спокойно, парни, не дёргаться. Хуже, если она сейчас останется и начнет эрдэ стучать. Или того хуже — развернет следствие в посёлке, люди и без того взвинчены. — Вынул сигарету, подул, усмехнулся. — В общем, принимаю огонь на себя. Проведу по ближним вышкам, думаю, будет достаточно. Вот так... Если даже к ночи не вернёмся, в панику не впадать, всё учтено. Ну а, дай бог, начнёт стихать, действовать по плану. — Обвёл взглядом унылые, обросшие лица ребят, прищурился: — Усекли, блаародные лыцари?

3. Склон дыбился и гудел

Едва завьюженный, нахохлившийся под снежными надувами посёлок остался позади и даже бледных огней не стало видно, столбы круто полезли вверх. Старые неопшкуренные столбы без проводки, с крючками кронштейнов, до которых сейчас можно дотануться рукой.

Заварзин шагал, оставляя глубокие, бело дымящиеся следы. Инна старалась ступать след в след. Шаг Заварзина был шире, зато не требовалось таких усилий, чтобы вытягивать валенки из густой вязкой целины.

Они шли от столба к столбу. Инна догадалась, что здесь где-то пролегает невидимая теперь тропа. Случалось, что снежная раздёрганная кисея, стремительно, раз за разом падающая сверху, за-

слоняла от них обе опоры — и переднюю, и заднюю. В такие моменты Инна теряла ориентировку и, задыхаясь, старалась догнать Заварзина. Час непрерывного подъёма вымотал её так, что она то и дело тыкалась варежками в снег.

Склон дыбился, и гудел, и ворочался с ледяным зловещим шуршанием. Какие-то деревца полоскали в воздухе низенькими кронами.

Она вдруг увидела, как Заварзин круто свернул, почувствовала ослабление ветра, и тотчас же впереди выступил низкий, забитый в пазах снегом бревенчатый сруб. Над срубом возвышалась тренога буровой вышки. Окно было заколочено досками, сверху, с покосившейся треноги, свисали, раскачиваясь, оборванные тросы. Можно было понять, что вышка старая, брошенная.

Заварзин толкнул плечом дверь, они вошли в полутёмное помещение.

Инна остановилась у порога. Она не понимала, зачем нужно заходить сюда, но была рада случившейся передышке. Заварзин обошёл помещение, спотыкаясь о сломанные ящики, обрезки труб. Потом вернулся и стал неторопливо, сосредоточенно закуривать.

Инна стащила зубами варежки, прижала к щекам ладони. Она искоса поглядывала на Заварзина, его губы, на мокрый подбородок, перетянутый снизу завязками, — поглядывала и ждала, что он наконец скажет.

Выкурив сигарету и тщательно затоптав окурок, Заварзин спросил вдруг:

— У вас есть часы?

— Есть... А что, вам нужно время?

Вместо ответа Заварзин вынул из-за пазухи пистолет-ракетницу.

— Вы умеете обращаться с этой штукой?

— Нет, не умею, — твёрдым голосом сказала Инна: её задело, что Заварзин даже не находит нужным отвечать ей.

— Всё очень просто, смотрите. — Он переломил ствол, вбил ладонью патрон и взвёл курок; мельком взглянул на девушку: — Теперь поднимаете руку вверх — вот так — и нажимаете эту шту-

ку, спуском называется. Понятно?

— Не совсем. Что всё это значит?

— Я сейчас уйду, а вы засекайте время и, если через сорок минут не вернусь — запомните: через сорок, — выйдете из тепляка и дадите ракету. Через пять минут ещё. И так далее, пока не появлюсь.

— И куда вы?

— Попробую обойти окрестности. Метрах в пятистах по склону есть ещё вышка. Правда, тепляк там разрушен, но заглянуть не мешает.

— Выходит, я вам в обузу?

Заварзин выгреб из полушубка горсть ракетных патронов; подавая девушке, теперь уже спокойно выдержал её взгляд:

— Вы мне очень поможете, если сделаете, как прошу.

4. Пистолет Кота Базилио

Инна отыскала два приличных ящика. Один пустой, а второй оказался наполовину с буровой дробью. Она вывалила на пол дробь, уже густо взявшуюся ржавчиной, попинала валенком, отчего валенок сразу стал рыжим, поставила ящики один на другой. Села, положила на колени ракетницу, взглянула на часы: без четверти двенадцать. Значит, Заварзин должен вернуться около половины второго.

Запрятав поглубже руки в рукава и прислонившись к стене, стала ждать. От стены пахло соляркой. Из квадратной дыры в потолке задувал мелкий игольчатый снег. Сквозняком его разносило по тепляку, он стлался в углах и под стенами тускло-белой отсвечивавшей полосой. Снег лежал и на железной печурке, и это было особенно непривычно для глаза.

Ветер басовито гудел в вышке, монотонно ударял по стене треском.

Инна прижмурила ресницы, минуту посидела так и вдруг отчётливо поняла всю нелепость своего положения. Как же получилось, что она, следовательно районной прокуратуры, очутилась чёрт знает где, — в этой промозглой заброшенной вышке. А за стеной

пурга, а на коленях тяжёлая, с толстым дулом ракетница, похожая на пистолет кота Базилио. И из этого пистолета ей, не дай бог, придется стрелять!

А если не вернётся? Ну может же случится так, что он потеряет дорогу. И никакие ракеты ему не помогут. Он, конечно, не заблудится, выйдет к посёлку, а потом, по тем же столбам, выйдет к ней. Но сколько ей суждено тогда здесь околевать?..

...Удары троса стали глухнуть, а сквозь потолок внезапно пробился молочно-белый луч. Он был совершенно непрозрачен, его можно было потрогать рукой. Инна встала, сделала несколько шагов — раздалась выстрелы. Они звучали сухо, размеренно — не приближаясь и не удаляясь. «Меня ищут!». Ей показалось, что время давать Заварзину ракеты. Она взглянула на часы: да, время — и выбежала из тепляка. Едва она зарядила ракетницу, как та выстрелила — сама собой. Она зарядила ещё — снова неожиданный выстрел. На снегу оставались ржавые дырочки — патроны начинены буровой дробью! Невдалеке ходил Заварзин, загадочно улыбался: «Вы же прекрасно знаете, что я ничего не могу вам гарантировать». Он был без шапки, на заросших щеках блестили ледяные иголки. Вся тесная поляна вокруг тепляка изрыта его глубокими, дымящимися от позёмки следами. Инна во все глаза смотрела на Заварзина. Он подошёл к ней и всё с той же неопределённой улыбкой на губах толкнул в грудь. «Какой ужас!» — подумала Инна и открыла глаза.

В тепляке было по-прежнему сумрачно. За стеной царапался ветер, размеренно стучал тросом: холодно и неуютно пахло солярыкой.

Рядом сутулился Заварзин, шумно дыша, отряхивая с рукавов и воротника наросты снега. Пар от дыхания побелил ему брови и ресницы. Инна поспешно стала задираť рукав полушубка — было без нескольких минут два. На полу, соскользнувшая с колен, валялась ракетница...

Заварзин опустилсѧ на ящик и, вытянув ногу, морщась, долго вытаскивал из кармана платок.

— У вас, дорогой следовательно, завидные нервы, — сказал он

и вытер тщательно лицо. — Искать с вами человека — одно удовольствие. По крайней мере, не соскучишься.

Кровь обожгла Инне щеки, она пробормотала:

— Простите, не помню, как это случилось... задремала я.

— Вот я и говорю — не соскучишься! — Заварзин засопел, принялся жадно, точно воду, тянуть мятую, тощую сигаретину.

5. Серьёзное только начинается

Чем выше поднимались они по гольцу, тем меньше становилось под ногами снега и тем ровнее, упруге ломил ветер. Снегопад прекратился. Волны белой позёмки стлались над тундрово-голой землей, свистели в дудках трав, в плоских, как флаги, пихточках. Под валенками хрустел мёртвый мох, текла мелкая пластинчатая щебёнка.

Они вошли в полосу стремительно летящего тумана: он был клочкаст, раздёрган ветром, пах сыростью. Туман скоро пронесло, но они, кажется, заблудились. Так думала Инна, но ничего не спрашивала.

Она обратила внимание на то, как часто Заварзин стал приостанавливаться и смотреть под ноги. Раза два даже присаживался на корточки и рукавицей раскидывал щебёнку, — после чего они заметно меняли направление. А когда перевалили вершину гольца, недалеко вырос монолитный горб скалы, утыканный кривыми берёзками, Заварзин свернул к скале и даже подсветил её крутую щербатую стену фонариком.

Они проходили реденький, похожий на сажены, пихтарник; из-под ног, вскинув фонтанчиком снег, шумно вырвалась птица. Инна испуганно ойкнула. И тут же справа и слева стала взрываться снежная целина, и стая пёстрых птиц, фырка крыльями, взмыла в воздух.

— Что это?! — спросила Инна.

— Дрозды, — бросил Заварзин, не останавливаясь. — пурга загнала.

«Вот камень», — подумала Инна, глядя ему в спину. А вслух:

— Нам ещё далеко?

— Что, устали?

— Да нет, почему же? — сказала Инна, испытывая в то же время смертельное желание сесть прямо в снег, как эти дрозды.

— Храбритесь?

Инна промолчала. «О, если бы случилось чудо, — думала она, с трудом перешагивая через колодины, оступаясь на заледенелых кочках, — случилось бы чудо, и они нашли Санникова — выбившегося из сил, беспомощного, но живого; нашли в последний момент и вернулись с ним в посёлок! О, если бы это случилось! Какими глазами смотрел бы на неё Заварзин? И куда бы девалась вся его самоуверенность, сознание собственной многоопытности, снисходительный тон по отношению к молодому следователю. Конечно, всякий понимает, работа в таких условиях не мёд, поневоле огрубеешь, в чем-то отступишь, даже в каких-то высших человеческих качествах, и один раз (а то и не один!) обжёгшись, станешь дуть на воду, и равнодушие своё будешь выдавать за мудрость, — но кого это может обмануть!».

Становилось сумеречно, тревожно. Внизу, куда они спустились — уже темно. Лишь небо впереди холодно смурнело. Но вот снова полетел в лицо снег, разом засвиристел, залютил в хвое ветер — и поняла Инна: серьёзное только начинается...

Под ногами глухо запереваливались камни. Даже сквозь валенки чувствовались их рваные грани. Осыпь тянулась бесконечно, слегка понижаясь, вихри плясали над ней, заравнивая каменное крошево предательской белизной.

Заварзин так резко остановился, что Инна ткнулась в него лицом.

— Тихо! — сказал он. — Слышите?

Инна ничего не слышала; то есть она слышала тугие порывы ветра, постукивание камней под ногами, собственное дыхание, но Заварзин, конечно, имел в виду что-то другое. Они простояли целую минуту не двигаясь, когда до них донеслось — теперь уже явственно — тонкое ржание.

— Ага! — выдохнула она и от внезапно нахлынувшего волнения ухватила Заварзина за рукав.

Заварзин стал шарить в карманах, засуетился, поднял руку.

Вслед за хлопком выстрела со свистом взлетела ракета. Сбитая ветром, она вспыхнула и по крутой дуге ушла в сторону, неся в пятне света крошечный ливень снегопада.

— Пошли! — Заварзин почти побежал, прыгая с камня на камень, оступаясь на громыхающих плитах. Инна тоже побежала, но тут же оступилась, больно ударилась коленом.

Вскоре они различили смутный силуэт лошади. Та стояла без движения; лишь когда люди подошли к ней и осветили фонариком, вяло повела головой; блеснул выпуклый глаз, она снова тонко заржала.

— Наш Буланчик! — выдохнул Заварзин и позвал: — Буланчик, Буланчик!

Лошадь, прынув ушами, сделала шаг, передние ноги подогнулись: она не могла ступить. Шерсть на брюхе смёрзлась, ноздри забиты ледяными пробками, она часто дышала сквозь зубы, беспрестанно вздрагивала кожей. Побитые в кровь копыта заледенели, сделались толстыми, как пеньки.

— Будем выводить из курумника, — сказал Заварзин. — Берите за уздечку, не давайте пока ступать. Упадёт, тогда не подымешь.

И он тут же стал выворачивать из снега плиты, стлать перед Буланчиком — Буланчик заволновался. Инна сняла рукавичку, погладила лошадиную морду. Потом Заварзин потянул Буланчика за уздечку, тот опробовал копытом плиту, другую, ступил на них и осторожно, дрожа и всхрапывая, пошёл,

Вскоре осыпь кончилась, и Буланчик под рыхлым неглубоким снегом почувствовал прочную землю.

Заварзин вынул из рюкзака моток шпагата, обвязал лошадь поперек брюха. Взявшись за это кольцо с обеих боков, они пошли. Буланчик брёл трудно, однако уверенно, чутьем выбирая ровные мелкоснежные места.

Часа через два, когда Инна едва держалась на ногах, Буланчик остановился перед низким, смутно чернеющим между деревьев строением. Луч фонарика из рук Заварзина прыгнул на грубо ошкуренные брёвна, осветил полузасыпанную снегом дверь, с вбитой наискось плотницкой скобой — вместо ручки.

6. Тёмная была минута

Нары тянутся от стены к стене, занимая добрую треть зимника. В ящике с землей, на рахитичных, из арматурного прута ножках, гудит раздутая жаром печь. Лампа-семилинейка в простенке меж двух оконц цедит мигающий свет. Пахнет горячей окалиной, керосином, горьковатым смоляным духом поленьев.

Инна сидит на кромке нар, поджав ноги, сгорбившись, толстый свитер явно великоват ей, топорщится, обвисает на рукавах и груди. Лицо, нахлёстанное ветром, не то что горит, а просто пылает. Она то и дело ощупывает его ладонями.

Заварзин выволок из подполья, приподняв половицу, ящик с катавшимися по дну тремя десятками картофелин, и теперь в одной рубашке-ковбойке сосредоточенно перебирает клубни — на правах хозяина готовит ужин.

Отвернувшись к стене, Инна потихоньку задирает узкую штанину. Под самой чашечкой крепкая, запёкшаяся кровью ссадина. Лизнув палец, она смачивает сбитое — жжёт!

— Что, ушиблись? — спрашивает неожиданно Заварзин.

— Да нет, не очень. — Инна торопливо одёргивает штанину.

— Возьмите в рюкзаке бинт. Перевязать надо, обязательно. Я помогу.

— Да я сама!

— Ничего у самой не выйдет.

Он велит ей задрать штанину и не дёргаться. Крепкими движениями перебинтовывает колено. Прикосновение его пальцев, твёрдых и прохладных, приятны ей. Она слегка смущена этим обстоятельством. Боль заметно уходит.

Подчиняясь его властному голосу, Инна, растерянная, смотрит сверху на заварзинский взъерошенный затылок, на спину с шевелящимися под застиранной ковбойкой лопатками и тут же ловит себя на мысли: а ведь ей, несчастной, придётся провести с ним в этой глухой избёнке ночь. С человеком, которого она, в сущности, не знает. Отрезвляющая мысль. Обалдеть можно!

Впрочем, что это такое — знать человека? И с чем это едят?..

На третьем курсе института их отправили на уборку. Все в

группе уже знали друг друга, как облупленных. Пришлось им тогда ночевать на зерносушилке, под длинным навесом, в скользкой соломе. Только парни легли по одну сторону, девчонки — по другую. «На стыке сторон» оказались Инна и Глотов Витька, тихий, бесконфликтный парень, который, впрочем, всегда относился к девчонкам сдержанно и даже сухо.

С вечера все много острили, пели песни, анекдоты травили, а потом как-то враз затихли, один за другим уснули.

Среди ночи Инна, спавшая, как и все, одетой, проснулась: кто-то положил руку ей на грудь. Она поняла — рука Витькина. Думая, что это у него случилось нечаянно, во сне, она потихоньку сняла её с себя и чуть отодвинулась. Через минуту рука опять зашарила по ней, теперь уже с определенной настойчивостью. Отодвигаться больше некуда — рядом подружка.

Под навесом раздавалось сонное сбивчивое сопение. Кто-то из парней пускал носом рулады.

Витька снова посунулся к ней, и она почувствовала — парень дрожит, как в ознобе! А ладонь его — о, господи! — уже проникла ей под резинку!

Она быстро шепнула ему:

— Ты что — обалдел? Я сейчас разбужу всех!

И затих Витька. Дышать перестал. Как умер.

Тёмная была минута.

И тут Инна, не веря своим ушам, услышала: плачет! Да что же это? Плачет, давясь рыданиями, стыд-то какой!

Ей стало отчего-то вдруг жалко злосчастного Витьку. Зачем так-то? В жизнь бы не подумала.

Она коснулась его вздрагивающего плеча, тот дернулся, отстраняясь, она ладонь не убрала:

— Что ты, Витёк? Зачем так-то?

— Ненавижу... — выдохнул он, втискиваясь лицом в телогрейку, служившую ему подушкой. — Себя ненавижу, вас.

Инна была потрясена:

— А нас-то за что?!

— За то!

— Влюбиться тебе надо, Витенька, — после паузы, придя в себя, проговорила она тоном старшей, многоопытной сестры. — И всё станет по-другому...

7. «Нет уж, фигушки»

Прервал эти её «эмоциональные» воспоминания голос Заварзина:

— Прошу к столу!

На колченогом столике, с упёртой прямо в стену столешницей, дымился котелок с картофелем, лежали: банка рыбных консервов, пачка сахара и на чистой дощечке — ломтиками хлеб.

Инна прошла, села на скамью. Заварзин — протягивая ложку:

— Как самочувствие, гражданин следователь?

— Бодрое, гражданин начальник.

— Ну какой же я для вас начальник?

— А какой я для вас следователь? — сказала Инна, выкатывая ложкой из котелка рассыпчатую, аппетитно истекающую паром картофелину.

— Гм... кто же мы тогда?

— Скорее всего — друзья по несчастью.

— По несчастью — это верно, — согласился Заварзин. Он подтянул с пола рюкзак, стал чуть ли не с головой рыться в нём, бормоча: — Только несчастья, думаю, не будет.

— Вы обрели уверенность с тех пор, как мы заблудились?

Заварзин нашарил наконец фляжку, поболтал её содержимое:

— Что ж, нет худа без добра — лошадку отыскали. Она у меня на балансе, немалых рубликов стоит.

— Лошадку! Немало рубликов! Мы, по-моему, человека ищем.

Заварзин, кивая в знак согласия, булькнул фляжкой:

— Вы не против?

— Это, конечно, огненная вода?

— Она, клятая. Я в том смысле, что и вам.

— Что вы. Мне — нет. Я не пью.

Заварзин не настаивал. Осторожно взял надитую доверху алю-

миниевую крышку, пробормотав «Ваше здоровье», выпил.

«Сколько же ему лет? — думала Инна, украдкой взглядывая на него, — как он тщательно жуёт, как ходят ходуном его обросшие золотистой щетиной скулы. — Тридцать? Тридцать пять? А глаза — до чего они глупо помаргивали, когда он «испрашивал разрешения».

— А знаете, — сказала она с весёлой решимостью, — я, пожалуй, хлопну вашей огненной воды. А то мне в отделе не поверят, что я была на Синь-Тайге. Плесните, только чуток!

Когда она выпила на треть налитую крышечку и, тараща глаза от перехватившего дух напитка, зашевелила в воздухе пальцами, он сунул ей в руку кружку с остывшим чаем, усмехнулся.

В какой-то момент Инна посмотрела на себя со стороны, посмотрела ясным и трезвым умом — сказала себе: ну, девонька, ходишь по лезвию...

После ужина Заварзин вышел за двери и вернулся с огромной заснеженной охапкой поленьев. Набил доверху печку, тщательно прикрыл дверцу, сказал:

— Всё. До полночи Крым, после полночи Нарым.

Собрав по нарам ошмётки залежалой травы, застелил дальний угол, бросил туда же валявшийся брезентовый чехол от спальника, принёс с вешалки полушубки — Иннин и свой. Почесал за ухом:

— Да, негусто... Ну я, пожалуй, с вашего позволения, прилягу. Две ночи, считай, не спал. Голова, как чугун.

Сбросил унты, лёг на спину, закурил. Железная печь то гудела басом, то попискивала тоненько, — буран, по всей видимости, не стихал. Инне было жарко — и от «собачьего» свитера, и от «чуток» выпитого, но снять свитер она не решалась.

Ей уже панически хотелось, чтобы Заварзин не молчал, говорил что-нибудь, что ли. Но тот, как нарочно, рта не раскрывал, дымя в потолок. И что за мысли копошились и зрели в его голове — нетрудно было угадать...

— Буланчика бы покормить, — сказала Инна нерешительно. — Может, хлеба вынести?

— Я уже его покормил.

— Чем же?

— Там пара охапок сена оставалась, старые объедья. Да, Буланчик, — вздохнул Заварзин. — Тоже вот мученик... Кстати, вы обратили внимание: он без седла и вьюка. Всё это хозяйство приторачивается накрепко, так что случайная потеря исключена. Остается одно. Костя отвязал вьюк, сбросил и седло, а задно и поводок от уздечки отстегнул. Чтобы лошадь не зацепилась где. Человек в отчаянном положении не станет так заботиться о животине. — Он приподнялся, загасил тщательно окурки, щелчком бросил к печке.

— Зачем же он лошадь отпустил?

— Вот этого не знаю.

Инна пересела на краешек нар. Боясь паузы, она уже с трудом находила тему для разговора:

— Тогда, в тумане, когда мы сбились, вы всё останавливались, руками по земле шарили — что искали?

— А, ерунда это, щебёнку с коренных сметал, направление уточнял.

— Направление? Каким образом?

— Как понятнее бы?.. — Насторожило меня, что мы вдруг пошли вкрест простирания пород. А по логике должны — вдоль трещин. Когда выходишь на коренные, всё это заметно. Тут ничего хитрого, просто я немного знаю геологию района.

— Мне кажется, — сказала Инна, — проще компасом.

— Если бы. Компас тут ненадежен, магнитовые аномалии крутом.

— Вы, наверное, давно здесь, на Синь-Тайге?

— Да уж порядком. Пять лет. После вуза — в Кузнецке, в центральной партии год штаны протирал, а потом уж сюда.

Инна быстренько прикинула: восемнадцать довузовских, плюс пять вузовских, потом год и ещё пять — двадцать девять. Да он всего лет на пять старше меня!

Заварзин вынул новую сигарету, стал сосредоточенно разминать.

— Из этих пяти, — он окинул глазами зимник — полтора сезона в этом дворце.

— Разве здесь можно жить?

— Нет, конечно, Но мы жили. В шести километрах охотничья изба, — в ней мы тоже одно лето кантачилились. — Заварзин pokrутил головой: — Однажды пришлось недели две жить в курятнике.

— Ну? Как вас угораздило?

— Да вот угораздило. Правда, давненько, в первый год. В верховьях Терси, посёлочек был дворов пятнадцать, кержаки жили, община. Мы заранее его облюбовали. Приехали на лошадях вдвоём — радист ещё со мной. Стучимся к одним — не пускают, к другим — не пускают, косятся, к третьим. Обошли всех. А весной дело было, но снег ещё лежал. Что ж, говорю им, креста на вас нет, не на улице нам оставаться, в святом писании же сказано: предоставь путнику кров и пищу. Пустите хоть в пристройку! А пристройки, правда, у них добротные — с настилами, с оконцами. Ну, пустил нас один дед, сжалился. Наверное, я его цитатой из писания тронул. Там у него куры с утками обитали. Вот мы в их компании и жили. Рация наша тут же развёрнута была. Кузнецкие радистки всё удивлялись: чё это вы, ребята, там кукарекаете!

— Вы курите много, — сказала Инна.

Заварзин прикусил сигарету:

— Говорят, одна сигарета отнимает минуту жизни. За сто лет, таким образом, набегает год. А какая мне разница — сто лет прожить или девяносто девять?

— Вы шутите, а я серьёзно.

— Я понимаю. В вашей серьёзности, гражданин следовательно, я сразу убедился.

Инна опустила глаза, сказала:

— Меня Инной зовут.

— Да, да, я помню, хорошее имя. — Заварзин, по всему, пребывал уже в полудрёме. — А меня Алексеем. Вот наконец и познакомились! Давай-ка, Инна. спать, завтра у нас трудный день. Лампу чуть прикрутить надо, пусть на окошке маячком потрудится. Спокойной ночи. Нету меня.

Инна посидела ещё некоторое время на красшке просторных нар. Посидела тихо, успокоенно. Потом убавила в лампе огонёк и легла поодаль от Заварзина, потянула на себя полушубок.

Сон её был неглубок, полон смутных видений; ушибленная нога то и дело заставляла беспрестанно искать ей удобное положение. Тело в одежде горело, задыхалось, в «головах» было низко и жёстко — замлел затылок. Помучившись, она лёжа стянула с себя свитер, сунула под голову...

Проснулась она оттого, что стукнула зубами. Села озираясь, в первые мгновения не понимая, где она. Печь черна и молчалива. За стеной стучит ветер. Лампа на подоконнике неумоимо помаргивает своему в оконном стекле отражению.

Заварзин спал, отвернувшись к стене, наглухо укутав голову полушубком. И ей отчего-то обидно стало — за себя и свои мытарства, коих совсем не заслужила. За этот поистине «нарымский» холод, подкинувший её с твёрдой, как асфальт, лежанки. И даже за те «опасные мысли», с которыми она ложилась поодаль от своего спутника и которые ну никак не оправдывались.

— Нет уж, фигушки, — пробормотала она, подкатилась к Заварзину, притиснулась к его тёплой широкой спине.

8. «Презумпция виновности...»

Утром Заварзин поднялся первым, вышел наколоть дров, а вернувшись, сказал:

— Кажется, стихает. Попробую добраться до охотничьей.

Инна в одном свитере стояла у окна, наощупь поправляла прическу, тщетно ища в оконном стекле своё отражение.

— Я тоже, — сказала она.

— Нет, Инна, останься здесь.

— Я шла на поиски, а не сидеть по избушкам.

— У тебя сбита нога. И потом: я надену лыжи, пойду напрямик, это намного быстрее.

— Я тоже хожу на лыжах.

— Да, но здесь одна пара.

Инна кое-как втыкала шпильки, волосы не давались, пружинили под ладонями; шпильки звякали о пол:

— Все равно идти одному **запрещается!**

В контражуре рассеянного света, лившегося в заледенелое

окно, чётко рисовался её силуэт с поднятыми к затылку руками. Даже просторный, с чужого плеча, свитер, не искажал её стройной фигуры.

Заварзин, подойдя, положил ладони ей на плечи:

— Послушай, Инна, — сказал он со снисходительностью хозяина положения, — неуж ты в самом деле считаешь, что нарушать законы и инструкции — моя естественная потребность?

Инна обернулась, губы её подрагивали:

— Скажи лучше, зачем меня взял с собой?

— Как зачем? Чтобы соблести инструкцию.

— Не надо! Ты, конечно, уверен был, что откажусь, вот уж козырь твой будет. А когда согласилась, решил скрепя сердце: ладно, чёрт с ней, пусть хлебнёт горячего, в нашей шкуре побудет, вдруг кое-что и поймёт, так?

— Может, и так. — Заварзин наклонился, стал подтягивать на унтах ремешки. — А может, и совсем не так.

— Но пойми, Алексей, это мстительное чувство не твоё.

— Да, в самом деле, глупо получилось. — Заварзин выглядел смущённым, потом неожиданно улыбнулся: — Как это на языке юристов? Презумпция виновности?

Инна смешалась, обезоруженная его улыбкой:

— Наоборот, презумпция невиновности.

— Разве? — удивился Заварзин. — Невиновности? Мне это уж точно не грозит.

9. Задымились сумерки

Инна стоит у входа в избушку, по колена в снегу, смотрит, как Заварзин привязывает к унтам лыжи — широкие коротыши, подбитые какой-то облезлой шкурой. По-видимому, их бросили за ненужностью.

Порывы ветра сыпят оледенелые иглы сквозь хвою ему на спину. Меж деревьев проглядывают светлые, глубокие кусочки неба. Но ветер всемогущ, деревья ревматически поскрипывают, осуждающе качают макушками.

Заварзин уходит быстро, взмахивая в такт шагу руками, как

солдат. Инна пристально смотрит ему вслед. Глубокую неровную лыжню в убродном снегу на глазах затягивает суетливая позёмка...

Инна возвращается в опустевший зимник.

Печь деловито гудит, подпрыгивает от распирающего её огня. Ледяные оконца тают, капли поклёвывают пол, шевелится торчащий из пазов мох.

Инна не знает, куда себя деть: то присядет перед печью, сгоняя щепочкой выпавшие угольки, то подолгу как заворожённая глядит в оттаявшее окошко.

Что с ней? Кажется, именно такие минуты называют одиночеством?..

Она ложится на нары, прикрывает глаза рукой и ловит себя на том, что думает о Заварзине: где он? Что он? Дошёл ли до охотничьей? Может, в самом деле он найдёт там Санникова? Да нет, она уже в это не верит. После возвращения в посёлок придётся уже всерьёз начать следствие.

И вдруг мысль обжигает: следствие против Заварзина?..

Она подносит к глазам часы: пора бы ему вернуться, буран вроде стих. Встаёт, выглядывает — бурана нет. Однако шумит верховой ветер да скользят над самыми пихтами растрёпанные шевелящиеся тучи. Глухо, неуютно вокруг. Только почему-то сейчас она заметила: на двери нету внутреннего крючка, запора.

Из пристройки послышался стук — это Буланчик! Как же она про него забыла? Инна торопливо берет горбушку хлеба, идёт в пристройку. Буланчик приветливо вскидывает голову, изо рта торчит сухой стебель, он меланхолично перетирает его. Инна гладит Буланчика и суёт в тёплые лошадиные губы слегка подзасохшую уже горбушку. Тот по-собачьи грызёт хлеб и в знак благодарности энергично машет башкой. Инна выдирает из гривы катыши репейника. «Буланчик хороший, Буланчик славный», — шепчет она.

И чувства одиночества как не бывало.

Задымили по углам ранние сумерки. Инна поставила на окно лампу, уже привычно подкрутила фитилёк. Кончились дрова, она разрыла из-под снега чурбак и, неумело орудуя топором, ощипала его, пока чурбак целиком не влез в печь.

Потом решила приготовить ужин. Пересчитала картофелины: восемь штук. В рюкзаке нашла старый, уже заветренный кусочек сала, оскоблила и, мелко порезав, поставила жарить в чашке.

По зимнику поплыл щекочуще-аппетитный аромат.

Щёки её разгорелись от печного жара. Представила себе, как ввалится Заварзин, промёрзший и усталый, молча снимет полушубок и подойдёт. Может, даже приобнимет её. И губы его, посечённые снегом, будут даже на взгляд шершавые и холодные. Но холодные — только сперва. Он подсядет к столу с дымящимся котелком. И не высказывая удивления, как будто так и должно быть, примется не спеша есть густой, пышущий паром суп, с плавающими янтарными кусочками сала. А она сядет напротив и на правах хозяйки будет сидеть и смотреть, как он ест. И если он даже не поблагодарит её взглядом, то и не надо. Ей просто будет хорошо от одной мысли, что она сделала ему приятное.

Инна вздрогнула: тонко, отрывисто заржал за стеной Буланчик. Она в испуге уперлась глазами в дверь без крючка. Там почудилось какое-то шевеление.

Она подбежала, дёрнула на себя дверь и, ойкнув, отступила. К ногам её, потеряв неожиданно опору, повалился человек, — весь забелённый снегом, в меховом треухе и коротком, перепоянном ремнём «гулаговском» ватнике.

Он попытался подняться, но у него ничего не вышло — руки подкашивались, — и он ткнулся в половицу лбом.

Инна, которая уже отошла от первого испуга, схватила его за обледенелый рукав, попыталась помочь, но только перевернула на спину.

Пришедший сел на полу, отпал к стене, осоловело огляделся. Потом вдруг пробормотал что-то, лёг на бок, словно удобнее устраиваясь и затих.

Инна прихлопнула дверь, в которую наметало, наклонилась над ним в смятении. Лицо его с обветренными скулами и жиденькой растительностью на них было покойно: незнакомец спал!

Незнакомец спал и даже слегка чмокал губами, будто пережёвывал что-то, а потом вдруг всхлипнул. Он длинно, по-детски

всхлипывал, и даже слеза вроде просочилась из-под прижмуренной ресницы, наискосок потекла к виску.

Инна прибавила в лампе огня и увидела: перед ней совсем мальчишка, ну лет шестнадцать ему, вряд ли больше. Она сняла с него его экзотический треух, одёрнула набухшие, растоптанные валенки, подсунула свой полушубок ему под голову.

...Проснулась она среди ночи от странных, хлюпающих звуков. За окном чернота, из-под заиндевелого порога струится морозный пар. Пришелец сидит у печи на пятках и, давясь и захлёбываясь, так что шевелятся уши, доскребаёт из котелка суп, который она с таким энтузиазмом готовила для Заварзина.

Минуту Инна наблюдала за ним. От мысли, что Заварзин так и не вернулся, — хотя уже глубокая ночь, и пурга, должно быть, стихла, — у неё застучало в висках. Сидящий у печи белобрысый пришелец, с чавканьем поедаящий суп, вызвал раздражение.

— Ну что? — сказала она. — Где Заварзин?

Парнишка оторопело оглянулся, сглотнул:

— К-какой Заварзин? — проговорил он простуженным сиплым баском, заикаясь.

— Твой начальник партии. Ведь ты же Санников Костя?

Парнишка отставил котелок, вытер подбородок рукавом, не сводя глаз с Инны:

— Откудова знаешь? Сама-то кто? Чё тут?

— Бог мой, — Инна поморщилась. — Сначала бы хоть за обед поблагодарил.

— Да чё там. Поддошел я за эти дни, думал — всё, кранты.

— А где был-то?

— Одну ночь под кедрой на кукорках просидел, промандражировал, чуть д-дуба не дал. Вторую — в охотничьей избе.

Инна поднялась, взяла с пола свой полушубок и снова легла на нары, укрывшись с головой. «Где теперь Заварзин? Ну не заблудился же он, в самом-то деле!»

— Раз ты меня з-знаешь, — Костя нерешительно поднялся на ноги, пересел на уголок нар, — то скажи, чё с Васькой Отургашевым? Вышел он?

— Вышел, вышел, — сказала Инна из-под шубейки, глухо. — В городе, в больнице.

— Чё с ним? Тяжело?

— Обморозился.

— Дураки мы с ним колоссальные... А Заварзин чё? В охотничью ушел? Д-давно?

— Вчера утром. И перестань, пожалуйста, чёкать!

— От дураки так дураки, — сказал Костя.

Инна откинула полушубок, внимательно посмотрела на него:

— Чего это ты себя навеличиваешь?

— А, — махнул Костя рукой, — да ну. Вот пожрать бы ещё чё — нету?

— Сгущённое молоко в рюкзаке, хлеб; ничего больше.

— Смотреть не могу на сгущёнку! — с отвращением сказал Костя, но всё же поднял с полу рюкзак, стал рыться в нём. — Это когда у меня Буланчик з-заблудился, я его и так и сяк — не идёт, хоть реви. Провалился по самое брюхо — и ни с места. Обрезал я выюки и седло заодно, а он всё равно даже подняться не может. А ветрюга! Ветрюга! Ну, д-думаю, ладно, оклемается, сам выберется, а мне топать надо. Вытащил из выюка ч-четыре б-банки консервов, думаю: мало ли чё. А банки все голенькие, без этикеток. Какую после ни вспорю — сгущёнка! Представляешь, какая у меня все эти дни с-сладкая жизнь была?.. Да ни хрена ты не представляешь!

В руках Кости оказалась фляжка. Он развинтил ее, понюхал, повёл глазами в сторону Инны, снова укрывшуюся с головой.

10. «Ветрюга!»

Через час, в расхристанном своем ватнике, уже крепко осоловевший, Костя сидел за колченогим столом. Перед ним лежала растерзанная булка, стояли кружка с водой и банка с крупной солью. Лицо его в жиденькой растительности по краешкам скул искажала гримаса каких-то, только ему одному ведомых, переживаний.

— Эй, ты! Што ли спишь? — спросил он, вяло шевеля языком.

— Сплю, — ответила Инна, не открывая глаз.

— Я уже знаю, кто ты... колоссально! Ты — корреспондентка!

— Костя тряхнул головой. — Небось хочишь описать в художественной форме этот случай, да? Чё молчишь?

— Прекрати пить и ложись, — сказала Инна.

— Чё? Это твоя фляжка?

— Моя.

— Не гони т-туфту! Заваринскую мятую фляжку я узнаю с закрытыми г-глазами.

— Всё равно ложись, утро скоро.

— Пошла ты в пим дырявый. Я жду 3-заварзина. Он теперь меня уволит. И правильно сделает. Но я б-буду ждать, — Костя поднял кулак, потряс им около головы:

— Заварзин колоссальный мужик, а мы все щенки и зола. Так и запиши: 3-зола. Вколочивал я Ваське, давай пересидим эту 3-заварушку, еды от пуза, тарифные капают, чё нам? Смотри, какая ветрюга за окном? — А он: топать надо, меня там баба ждет, сезон не виделись. Ну вот — теперь увидятся. Только ты тово, — спохватился Костя, — про бабу не пиши, это я так, да и редактор всё одно не пропустит. А запиши лучше, што Васька — тоже коллосальный мужик...

Он тяжело перекинул ногу, сев на скамью верхом, уперся обеими руками, тужась встать. — Н-нет, не буду я сидеть и ждать. Не могу я сидеть, это подло сидеть. Я иду навстречу. Где мой т-треух...

Серьёзность его намерения была очевидна. С сопением, покачиваясь на нетвёрдых ногах, он стал засовывать в карманы ватника остатки хлеба со стола, потом нашарил треух, кое-как напялил его, двинулся к порогу, бормоча: «Мы с Васькой д-дураки, но мы не подлецы, не-ет!...».

— А ну вернись! — строго потребовала Инна, откидываясь полубок.

Костя приостановился, поднял предостерегающе руку:

— Т-тихо надо! И без булды!

— Не смей, слышишь? — крикнула Инна.

— Дело к-кореспондента — писать, а не вмешиваться. Лучше запиши в своём блокноте: так на ево месте поступил бы к-каждый...

Он дёрнул дверь и шагнул через порог.

Инна, едва набросив полушубок, выскочила следом в морозную темень, сразу провалилась в снег.

— Ты с ума сошёл! Куда в такую темень! Вернись сейчас же!

Нагнав пьяно убредающего по снежной целине Костю, она схватила его за локоть.

Костя, не останавливаясь, вырвал локоть.

Тогда Инна забежала вперёд и, чувствуя свое бессилие, неловко размахнувшись, вмазала ему по щекам — раз! другой!.. С Кости свалился треух. Больше от неожиданности — он качнулся и сел прямо в снег, забормотал:

— Ага, д-драться? Ладно. Дерись. Скажу З-заварзину, он тебя... Только треух-то отдай?!..

Назад он брел вяло, покорно, шмыгая носом, обиженно молчал. С трудом влез на нары, повозился, поворчал насчёт «всяких там корреспондентов» и затих — уснул, как был, в ватнике и своём рыже-буром экзотическом треухе.

Инна долго лежала без сна.

От пережитых мгновений, от сознания того, что она ударила человека, все внутри мелко, противно дрожало. «Мальчишка! — думала она, — сопляк! Вот потом и страдай из-за такого...».

Печь, должно быть, загасла, от пола длинно потянуло сквозняком. Инна поджала ноги, закрыла глаза. «А Заварзина нету...» И тотчас провалилась в сон, мучительный, беспробудный.

11. Буди-ка их, пора

Она спала, ей чудились голоса, топанье ног, металлические позвякивания. Потом, вместе с щекочущим запахом дыма, почувствовала печное тепло.

Тепло обволакивало её всю, как облако.

Пересилив себя, приоткрыла глаза и сквозь полуприжмуренные ресницы с удивлением увидела: в зимнике дневной свет! Поодаль, скорчившись, в позе эмбриона, спал Костя, укутав голову ватником, как это делал Заварзин.

На отёкших гранях льда, затянувшего окно, искрилось солнце.

Какие-то парни — один в толстом полушубке и пупырчатых штанах, другой — в зелёной латаной фуфайке и шапке набекрень — топтались на пороге, разматывая бухточку провода. Инна сразу вспомнила этого, в фуфайке, и его редкую фамилию — Роздымаха. Перед раскрытой печью на коленях стоял Заварзин, впихивал в её гудящий зев очередное полено. По скулам его с такой знакомой золотистой щетинкой бегали розовые блики огня.

«Неужели он побывал уже в посёлке?»

Она легко, прощающе улыбнулась ему, зажмурилась и глубоко, умиротворённо вздохнула. Её никто почему-то не будил, и она, лёжа с закрытыми глазами, думала о том, какую удивительную штуку сыграла с ней судьба, забросив её сюда, в эту загадочную Синь-Тайгу, к этим «загадочным» людям, — и внезапно услышала приближающийся издалека стрёкот.

Открылась дверь с улицы, кто-то сказал торопливо:

— Снижается, готовьтесь!

И хрипловатый голос Заварзина:

— Площадка флажками обозначена? Давайте посадку. — И кому-то рядом:

— Буди-ка их, пора.

Нюрка из Тарлашки

Елена Сергеевна, женщина в почтенных годах, на восьмом десятке, живет в двухкомнатной панельной хрущёвке, одна.

Звонок в дверь. За дверью незнакомый мужчина. Куртка из мышинного сукна, рабочего, непрезентабельного вида брюки. На заросшем лице растерянность и виноватость, будто позвонил по ошибке. Но что её сразу как-то расположило к нему — заговорив с ней, он сдернул с головы кепку, замял в руке.

У незнакомца просьба, весьма неожиданная. Он просит Елену Сергеевну принять на квартиру (ненадолго, месяца на полтора-два) его четырнадцатилетнюю дочь Нюрку. Сами они из Тарлашки, деревня так называется... «Понимаете, Елена Сергеевна, такое приключилось обстоятельство, что и говорить не хочется».

— Кто же дал вам мой адрес, моё имя?

— Да женщины во дворе, на лавочке... А Нюрка, не подумайте чего! — девка покладистая, и по дому если помочь, и в аптеку или куда слётать... Вот паспорт мой, если хотите...

У Елены Сергеевны неладно с ногами, по квартире и то с палочкой. Ей в самом деле затруднительно одной, но у неё есть телефон и есть внучка Валентина, в Зареченском районе живет. Далековато, правда, и двое малышей на руках, а вот навещает: с приборкой помочь, еды подкупить.

Нюрка оказалась подростком довольно рослым, но с веснушчатым личиком десятилетней девочки. Впечатление было — сама растёт, а личико перестало. Две косёнки из головы торчат.

Когда же она разделась в прихожке, скинула с себя плащик, Елена Сергеевна охнула: девчонка-то — беременна. Маленькие груди едва угадывались...

Характер Нюрка явила живой, лёгкий, с этакой сельской хитрецей, перетекающей в простодушинку. Едва обвыкнув в новой обстановке, стала делиться с хозяйкой подробностями, одна другой замечательней.

Первая: приехала она в город рожать, «чтоб Тарлашка наша

не узнала», а вторая: мужчина, привезший её, не отец ей вовсе, а «двойной дядя». И живёт дядя не в таёжной их занюханной Тарлашке, а здесь, в пригороде. У него жена, трое пацанов-короедов и комната пятнадцать метров в доме барачного типа с печным отоплением. Сам он шофёр на автофургоне.

Дальше в лес — больше дров. Приехала она в город совсем не потому, что «Тарлашка узнает». Просто-напросто родная мама, закатив жуткую истерику, из дому прогнала («с нагульным не вертайся! На порог не пушу!»).

Дождливые стояли дни, хмарные, и Нюрка в одном кургузом плащике, из которого выросла, в кривых сапожонках, без копейки в кармане, всякими неправдами добралась до своего пригородного дяди. «Кака-никака, а всё ж-ки родня...»

Однако уже через неделю-другую жена дяди, замороченная вконец создавшейся на пятнадцати метрах демографической обстановкой, заявила мужу: или я с тремя, или эта проститутка — выбирай! И бедный разнесчастный дядя, матерясь и расплёвываясь, усадил «проститутку» в свой фургон и поехал по дворам городских пятиэтажек, по вездесущим бабушкам на скамейках...

Почувствовав к себе участливость и жалость, Нюрка размякла и призналась Елене Сергеевне в главном: родив, оставит ребёночка в роддоме. И дядя ей так советует, а он жизнь знает.

«Ой, не дай бог, чего творится вообще», — подумала на это впечатлительная Елена Сергеевна.

Работы по дому Нюрка, надо сказать, не чуралась, и всё же помощница из неё вышла смешная. Взявшись почистить ванну, она через пять минут привалилась к кафелю, побелела: «Ох, тётъ Лен, лихо мне чё-то, ровно муху съела...». А когда однажды хозяйка выбралась на лавочку подышать воздухом, то, вернувшись, застала впечатляющую картину: Нюрка, ёрзая по линолеуму задницей, полы моет.

— Батюшки-светы, это ково ты делаешь-то? Кто ж это на заднице пол моет! — воскликнула простодушно Елена Сергеевна.

— А мне по-другому никак! — ответствовала Нюрка, красная от натуги.

— И не смей больше! В твоём-то положении, глупая!

Словом, зареченской внучке Валентине пришлось наезжать из Заречья и ухаживать за двумя...

В середине промозглого ноября — вовсю уже вилась позёмка — подступило время родов. Хозяйка схватилась за телефон, вызвала «скорую», потом полезла в кладовую, отыскиала в тряпичных завалах тёплый полушалок и старенькое своё пальто на ватине, обозвав его «мой лапсердák».

Врач «скорой», цветущих лет мужчина, оглянувшись на всякий случай (а не маячит ли за спиной со своей осточертевшей клятвой этот занудный старикашка Гиппократ), устроил роженице допрос с пристрастием:

— Полис есть?

— А чё это?

— Ясненько. А деньги?

— Нету.

— Ну а паспорт?

— Нету.

— Да что хоть есть-то?

— Ничё нету, дяденька... — прошептала и без того перепуганная насмерть болями Нюрка.

— Как же я тебя возьму? — рассердился «дяденька» и стал нервно накручивать телефон.

Тут уж не вытерпела — встряла — хозяйка:

— Да у вас, молодой человек, я гляжу, нежеланье брать её? Громы небесные! Я прямо дивлюсь! Она же родит вот-вот! Чего я с ней делать буду?

В конце концов, бросив трубку и сердито пофырчав — неизвестно в чей адрес — врач позвал санитара, и они молча повели под руки Нюрку, одетую в «лапсердак» — бесполисную, безденежную, беспаспортную — никакую. С пятнами предродового пигмента на испуганном личике. И как подозревала Елена Сергеевна, глядя горестно ей вслед, так, кажется, и не понявшую, куда это её, несчастную, столь угрюмо мужики повели. То ли в больницу, то ли в тюрьму...

Ребёночек родился здоровенький, девочка, вес три двести. Но рожала Нюрка отчаянно, ором орала, до посинения, звала мамку. Акушерская бригада с ней хлебнула.

Четыре дня к Нюрке никто не приходил. На пятый — Елена Сергеевна позвонила внучке Валентине, попросила навестить «девку»: как она там, чего с бедолажной там?

Вышла «бедолажная» к Валентине пошатываясь, держась за стенку. В драном халатике, явно брошенном по ветхости, волосы из-под марлевой косынки, как перья. Босая.

— Почему босая, тут же голо! — возмутилась Валентина.

— Дак у меня, тётъ Валь, нету.

— Ну прости...

Вернувшись домой, Валентина обзвонила знакомых мам. Ей охотно нанесли ворох пелёнок-ползунков, одеяльце, два смешных чепчика, а кто-то — в красивой упаковке пачечку мыла «Люкс». Сама она купила Нюрке вязаный беретик и тёплые шлёпанцы.

Нюрка трогательно мяла в руках атласное одеяльце, умилялась чепчиками, нюхала, не решаясь распаковать, сказочно пахнущее мыло. Личико её осунулось, поблекли веснушки, жили одни глаза.

— Как назовёшь дочку? — спросила Валентина. †

— Изабелла! Красивое имя? Правда, тётъ Валь.

— Правда. Оставишь здесь?

— Что ты, тётъ Валь. Нет, конечно

— И куда же ты с ней?

Нюрка часто-часто заморгала, шмыгнула носом.

— Не знаю ещё... Мож, первое время дядя Костя к себе примет... мож, с мамкой помиримся...

В коридорах бродил котёнок, тощий, замурзанный — приبلудный. Нюрке жалко было этого лохматого бомжика, она прикормила его. Котенок преданно спал под дверями её палаты.

Нарисовался наконец «двоюрный» дядя, объяснился предельно скупо: «с командировки». Он был плохо пробрит, в порезах, с чернотой вокруг глаз, как у бамбукового медведя. Стоял на межлестничной площадке, держал кулёк с карамельками. Сказал Нюрке:

— Сбирайся! К себе сперва отвезу. А уж в выходные — в Тар-

лашку, поняла? Да поживей, некогда мне тут.

— Дядь Костя, — Нюрка заискивающе хрумкнула карамелькой, — а я хочу Изабеллочку взять...

— К-кого взять?! — ажник зааикался, опешил дядя Костя, он сразу и не въехал. — Ну-ко ходи сюда!

Они оказались в тёмном, косом, тошнотно пропахшем хлоркой и известью проёме под лестничным маршем. Дядя Костя, притиснув Нюрку в угол, прямо-таки впал в задышку:

— Ты што?! Ты ково?! Ты же обещала! Или ты хочешь, чтобы мы с тобой и с этой, как её... тьфу, имечко, дурища, придумала! Чтoб мы сѣдня на улице ночевали? В моём фургоне?

Нет, в фургоне ночевать Нюрка определенно не хотела. Однажды она в нём уже переночевала...

Опавшие, покусанные в родах девочкины губы тронула просительная улыбка:

— А котёночка... возьмем?

Дядю Костю натурально затрясло. Он — чуть не плача, почти навзрыд:

— Какова котёночка?.. Какова ещё, т-твою мать, котёночка?! Ну не дурища ли малохольная! Мне токо удавки на шею не хватает, а она — котёночка! Одевайся иди немедленно! Чума на мою голову.

Спустилась Нюрка с узелком, в котором лежали тёплые «тётъ Валины» шлёпанцы, драный халатик и так и нераспечатанная душистая пачечка «Люкса». Длиннополый лапсердак висел на ней пыльным мешком.

Взбираясь в кабину автофургона, она чуть не упала от слабости и свежего предзимнего воздуха.

Села угнездилась, поправила беретик, зажмурила глаза, поехали.

Пустой расшатанный фургон мотало по обледенелой разбегенной колее. Дядя Костя с порезанными скулами (а может, поцарапанными?), стиснув рот, злобно вертел баранку.

Пальто на Нюркиной груди вдруг зашевелилось. Высунулась, выдралась, тараща глаза, усатая мордочка котёнка. Нюрка, впикивая котёнка обратно, — тихонько ему, чтобы дядя не услышал:

— Сиди, дурак, не высовывайся, а то и тебя бросим.

У костра догорающего

Была и уха, и крепкая выпивка на лоне.

Мы сидели с ним у костерка, приятно расслабленные, умиротворённые. Ночное июньское небо над рекой и сама утекающая в небо река — всё бело светилось. Навевало мысли о высоком и вечном, непреходящем...

Запрокинув голову, он тоже долго всматривался в это заворожившее нас, безмолвно-яростное, почти мистическое слияние вод и небес. И тоже, показалось мне, с высокой мыслью о чем-то неземном, вечном.

Однако он вдруг заговорил — и совсем о другом.

— После училища я лейтенантиком зеленым служил на Севере. Хатанга, слышал, небось, про такую. Морские чайки, бывало, как белое воронье по крышам лепились, на мусорных баках базарили. Запомнилось вот...

И что уж греха таить, похаживал я, молодой да горячий, к девочке одной, медичке. Жила она в больничной пристройке. Четыре метра закуток: стол, кровать, гвоздь-вешалка.

Возвращаюсь раз из дальней поездки, а уж ночь, сумерки северные, таймырские. От неба только и свет... как вот сейчас тут. Бегу в пристроечку! Ключ свой от нетерпенья на ходу шарю в карманах. Сцену встречи предвкушаю, до дрожи прям. Вхожу. Темно, тихо.

— Лидок, ты спишь?..

Тишина в закутке. Полная.

Потом вдруг голос женский — незнакомый, хрипловатый со сна:

— Кто тут?.. Чего вам?.. Нету Лиды, уволилась днями.

— Как уволилась?! Где она теперь?

— Почему мне знать, не спрашивала.

Вот так оборот, никак не ожидал. Ну никак!

Стою в жутком расстройстве. Сообразить башкой не могу. Ну прямо-таки балда балдой. Стою — и что ты думаешь? Шагнул — кровать. Как-то само шагнулось. Шарю в потёмках — лодыжка,

коленка. Женщина сделала было попытку встать, возмутиться. Но я крепко придержал одной рукой, другой быстро разделся, лёг. Она — затихла... как умерла. Ты понял?..

Здесь он принялся выщёлкивать сигарету, намеренно долго прикуривал от уголька, бросал из ладони в ладонь, чему-то морщился.

— Ты знаешь, что я из своих лет вынес? Когда воображают себе, что любят, слова выдумывают редкостные, ходы извилистые. А ведь только воображаемая любовь нуждается в придумках... короче, этой белой ночью она ошеломила меня. Своей любовью, темпераментом, ласками, от которых я просто обалдел. Как и близко не бабдел от Лиды. Уснул, как отрубился, и не помню...

На рассвете просыпаюсь, поворачиваю голову, глянул — и оторопел!

Женщина спала, укрывшись простынкой. На лицо она мне, в ту пору пацану двадцатитрехлетнему, увиделась при свете утра чуть ли не старухой. Хотя было-то ей — после узнал — сорок шесть... да уж не подменили ли её мне в последнюю минуту?! Но её тело... оно всё было в ещё неостывших моих ладонях... Я осторожно, воровски, боясь дышать, оделся кое-как и — к двери!

Она открыла глаза (не спала!), только и спросила вслед тихо:
— Не придёшь больше?

Верить — нет, я позабыл Лиду, позабыл всех прочих. Ходил сюда, в эту бедную, убогую пристрочку, едва ли не с год. Как на великий праздник жизни ходил, поверь. Пока нашу часть не перебрали на другой конец страны.

Расставались вроде легко, вроде поллушутя, а забывалось трудно, честно признаюсь...

Потом жена ~~был~~ дважды. И оба раза разбежались. С тех самых пор мысленка подлая, предательская точит, особо когда примешь, расслабишься: да в душу, в крест! Да неуж я тогда просто выгорелся?..

Мне сейчас, между прочим, столько же, сколько в той больницы пристройке было ей, ~~усекаешь~~, к чему я? На днях в троллейбусе одна юная особа — такая вся из себя! — кинула: «Ты бы, говорит, дед, оттерся ~~чуток~~, дал протиснуться!» — Нет, представ-

ляешь? Да какой я ей дед?! — Он звонко шлепнул себя по голому животу, матовому от загара, плоскому и с глубоким, как у восточных красавиц, пупком. — Посмотри на меня!

Я посмотрел и рассмеялся. Его обида на абсолютно мимолётную юную особу в троллейбусной оголтелой тесноте была почти что мальчишеской.

Что с нами делает время, что делает...

Траектория любви

Гутя трудилась медсестрой в загородном санатории «Кедровый бор». Молодая, одинокая (дочке Ирочке — пять), приятная блондиночка. О таких знатоки говорят с прищуром: аппетитненькая!

Контингент санатория, гривуазные мужички, испытывающие от праздной и сытой жизни телесное напряжение, от неё просто тащатся, льнут как мухи. Но этот номер дохлый.

Всё дело в том, что Гутя — влюблена.

Несчастье это свалилось на её светло-золотистую, как осенние листья, головку три года назад. Предметом её влечения стал женатый мужчина тридцати с чем-то лет, коренастенький, тугоскулый, по имени Марк.

Однако у самого Марка к Гуте странное отношение. Он по неделям может «не казать глаз», потом возникнуть внезапно из своего небытия, подхватить её, увезти в глубь бора. Спустя пару часов высадить у корпуса, вроде как случайную пассажирку. И снова кануть на неизвестный срок.

Гутя рада и этой мимолётной радости.

Осенью, в октябре, он уезжает на охоту, берёт с собой и Гутю. Она готовит ему на костре, заливаясь слезами от дыма, мёрзнет, мокнет, терпит все мыслимые лишения. За день намотавшись с ружьем по тайге, Марк ночью в палатке, в двухместном спальном мешке, едва прикоснувшись к ней, засыпает вмёртвую.

Но всё равно она счастлива.

У Гути плохонькое пальтишко на рыбьем меху, потёртый во-

ротник (зарплата сестры — четыре минимальных, не разбежишься). Марку как-то даже на ум не взбредет помочь ей. Ну — предложить там пару шкурок на воротник, что ли.

Подруги по комнате, молодые кухонные работницы Аня и Наташа, упрекают ее: — Он у тебя чё, слепой? Или вообще с прибабахом?

Гутя молчит затаённо, улыбается. Ничегошеньки-то ей от него не надо, вот ещё глупости! Просто Марк ужасно много работает, гора деловых поездок, они его выматывают знаете как?

— Нет, Гутька, ты тоже, видать, повёрнутая, — крутят подруги пальцем у виска. И — отступаются.

У Марка тяжело заболела жена. Потребовалось лекарство — редкое, дорогое. Он просит Гутю, не смогла бы она достать. Она обещает. И крадёт лекарство, не признаваясь ему в этом.

Больной жене становится лучше. Марк благодарен безмерно «своему чижику». Так он зовет Гутю в минуты интимной близости. Она снова счастлива. Ей уже вовсю кажется, что она и жену Марка любит...

На её горизонте замаячил (не без тайного содействия подруг по комнате) «солидный жених», какой-то там хоть и не шибко крутой, но начальничек, вдовец, квартира в городе, домишко в деревне, то, сё...

Гутя отказывает «жениху», наотрез.

Аня и Наташа запирают её решительно на ключ и устраивают ей головомойку.

— Гутька, дурочка влюбленная! Подумай хоть раз о себе, — вскидывается первой Наташа. — Твой Марк женат, скупердяй и жмот, каких поискать. К тебе равнодушен — только к телу твоему, уж прости. Мы-то, господи, что-нибудь да видим, что-нибудь да слышим. Никто здесь, в «Кедровом бору», никого не любит. Все только со всеми спят! Тебе ни черта не светит, ни вот столечко!..

— ...а тут прекрасный человек, надежный, с положением, вы с дочерью будете как сыр в масле, — подхватывает эстафету Аня, — все обзавидуются! О ребёнке подумай, живёте врозь (пятилетняя Ирочка — в городе, в семье родного дяди). В конце концов любить можно и из замужа. Ежли уж приспичит! Тоже, говорят, свой кайф есть...

Гутя подымает голову, в глазах её — слёзы! Подруги от неожиданности осекаются — кажись, пересолили.

Гутя — к ним: — Девочки, миленькие, славненькие, ну о чём вы? — она обнимает их обеих, тычется мокрым лицом. — Да ведь люблю я его. И он меня любит. По-своему. Разве так не бывает? Мне вот сейчас даже подумать о нём радостно. Скоро у меня день рождения. Марк обещал приехать ко мне на всю ночь. Понимаете?.. Вот произнесла его имя — и во мне уже что-то такое счастлирое болит... Родненькие, ну не могу я без него, хоть убейте.

Теперь они плачут все втроем...

Наступает долгожданный день рождения. Разбиваясь в лепёшку, готовит Гутя праздничный стол. Потом у зеркала воюет с золотистыми, разлетающимися прядями вокруг лица. Примеряет разноцветную юбочку, которую сшила сама из носовых платков.

Оглядев её пристрастно, девчонки — в один голос: — Гутька, ты сама прелесть!

Аня на этот вечер подменяет дежурную внизу (чтобы впустить Марка в корпус). Наташа берёт ночную смену на кухне (чтобы оставить их вдвоём).

Вот и вечер. Накатывают поздние сумерки. Марка нет и нет. Гутя расстроена, встревожена, кусает губы, слегка подкрашенные взятой у подруг помадой, «устойчивой к поцелую». Ловит ухом шумок каждой подъезжающей машины. Подруги успокаивают её как могут: наверное, из командировки запоздал или с женой плохо.

— Нет, — говорит Гутя, — он бы позвонил, телеграмму дал. Приедет, вот увидите!

...Просидела всю ночь одна возле празднично накрытого стола. Как возле покойника. Марк не приехал...

Гутя в тихой истерике: с ним что-то случилось, девочки, это неспроста!

Дней через десять Марк нарисовался.

Гутя выбегает к его машине. Она уже давно сама не в себе. На её тревожном, в эту минуту счастливом лице, с тенями ночных бессонниц — вопрос-мучитель: что? Что случилось?!

И с первых же его слов узнаёт — невозможное, невероятное,

немыслимое. Он забыл!

Господи, он просто-напросто забыл...

Она даже не дала выйти ему из машины, не сдержалась, с силой кинула дверцу.

* * *

По каменным ступеням корпуса Гутя поднялась, качаясь как сомнамбула. Вошла в вестибюль, вдруг привалилась спиной к стене и — сползла на пол. К ней подбежали, подняли, отвели в медпункт, сделали укол.

С этого дня на Гутю будто что-то наехало. К ужасу общежитских подружек, она ударилась в самый оголтелый загул. «С контингентом».

То ли с наивной мыслью «отомстить», то ли — и скорее всего! — убить в себе это рабское чувство, не позволявшее ей нормально жить, дышать.

Лихоманка

ИСТОРИЯ ЭТА — из далекого теперь военного детства. Она в душе, как выжженное тавро. И ожог не смертельный, и боль давным-давно отошла, а след оставила...

Урок рисования в четвертом классе. Рисуем «на свободную тему». Работа серьезная, что-то вроде контрольной за четверть. Я тружусь на совесть. Свободные темы мне всегда нравились.

На тетрадном листке в косую линейку изображаю воздушный бой. Сюжет боя суров и лаконичен. Ястребок с красными звездами на крыльях в крутом пике атакует немецкого бомбардировщика, и тот дымится, падает.

Жаль, цветных карандашей нету, только огрызок простого. Оттого-то и звезды на краснозвездном ястребке, и свастика на бомбардировщике — одного цвета, грифельного.

Зато грифельный шлейф дыма я тяну старательно, карандаш

ломается. Я прижимаю обломочек пальцем — и клубы дыма от поверженного врага взвиваются под самые небеса.

Очень выразительно, Дина Ивановна должна оценить...

Звонок на перемену. Я отношу свой листочек с рисунком воздушного боя в общую стопку и, довольный собой, выбегаю из класса.

Школа наша — на пригорке, рядом с берёзовой рощей, по которой я каждое утро шагаю снежной тропинкой на уроки. Внизу шоссе, а вдали, у подножия горного увала, оцетинился трубами завод.

День и ночь эта продымлённая железная груда урчит и погромыхивает, и взблёскивает пламенем, видимым даже в самые солнечные дни.

Белый, алебастровый плотный клуб пара то и дело взлетает кругло над жерлами градирен, бросая на город тень, как настоящее облако. Из него, как из облака, тихо оседает тошнотно пахнущая коксом мёрось.

Вижу сверху, с пригорка, и другую картину. Прямо подо мной, по заледенелому шоссе медленно, тягуче движется колонна заключённых. Небольшая, человек пятьдесят. Это тоже привычно, почти обыденно. Тут их водят постоянно: дорога — к железнодорожной станции Кузнецкая.

Я торопливо скачу по откосу вниз.

Хотя картина и привычна, я не пропускаю её, не могу пропустить. Это во мне — как болезнь. Это сильнее меня.

Стоя на обочине, вглядываюсь в колонну. Рваньё и безразмерность одежд. Они стирают человека. Нивелируют его. Ближе. Вглядываюсь в лица: а вдруг?!. Лица тоже стёртые, опрокинутые в себя.

Стою в лёгкой душевной лихорадке...

Мой отец был взят «органами» в самый канун Великой Отечественной. Мама, сестрёнка моя старшая и я попали в разряд «членов семьи врага народа». Сокращенно — ЧСВН. Угрюмая аббревиатура эта существовала, кажется, лишь в бумагах. В жизни нас никто так не называл, по крайней мере в лицо. Мы просто знали,

кто мы. И знали те, «кому положено». Вот и всё.

Отец после ареста словно в воду канул.

Вглядываясь лихорадочно каждый раз в рябь арестантских заросших лиц, я хочу высмотреть на песчаном берегу единственную песчинку: а вдруг?!

Назавтра, когда я утром останавливаюсь возле школьной раздевалки, кто-то из наших, пробегая, крикнул:

— Тебя училка ищет!

Меня! Я растерянно оглядываюсь. В классе я из самых тихих, незаметных. Никогда никто меня не искал. Зачем я ей? Или, может, о папе что? — выскакивает догадка, но тут же гаснет, потому что уж очень несуразная.

Идти в учительскую не осмелюсь. Топчусь в коридоре, терзаю на плече противогазную брезентовую сумку с учебниками.

Вот уже и звонок. Все разбегаются по классам. Тишина. Идет издали по коридору Дина Ивановна.

— Ты что тут? Разве тебе не передали? А ну за мной шагом марш! — и, круто повернувшись, идёт назад.

Лицо её и голос тревожат меня. Тащусь следом.

В учительской комнате никого. От волнения забываю прикрыть за собой дверь. Дина Ивановна, обернувшись, тут же плотно прихлопывает её. Дело худо. Этот жест пугает меня уже по настоящему.

В руках у неё стопка листочков. Наши контрольные по рисованию, догадываюсь я. Отделив от стопки один листочек, она медленно переводит взгляд на меня.

— Это — ты рисовал?

Тетрадный листок перегнулся, верхняя половинка свисает. И всё, что успеваю разглядеть, это жирный шлейф дыма от поверженного воздушного врага. Почему она спрашивает? Там же моя фамилия. Торопливо киваю: да, я. Она неожиданно кидает листочек на стол, тут же припечатывает его ладонью, точно насекомое. Произносит, отделяя каждое слово, как на диктанте:

— Тогда — возможно — объяснишь — мне?

Да что я должен объяснить? Почему она со мной так?!

Окончательно сбитый с толку, подавленный, робко подшагиваю к столу. Всматриваюсь в собственный рисунок. Всматриваюсь, всё всматриваюсь и — тихо цепенею. Хотя ещё не соображу до конца, что же такое с ним, с моим бедным рисунком, стряслось.

А стряслось необъяснимое, ужасное...

На крыльях ястребка, так геройски поливающего врага свинцовым дождём, вместо грифельных моих звёзд — знаки свастики! А на толстом боку бомбардировщика с эффектно так пылающим хвостом — на шлейф от которого я потратил столько драгоценного карандаша! — звезда! Пятиконечная! КРАСНАЯ!

Потрясённый, беспомощно смотрю на Дину Ивановну.

— Не знаю... не я это...

— Тогда кто же?

— Н-не знаю... — голос мой осекается.

— А кто должен знать, по-твоему? Я?

Холодок тоски вползает в мою затрепетавшую душонку ЧСВН. Я в самом деле не знаю, кто и когда совершил эту подлость.

Слёзы обиды, отчаяния от невозможности доказать, что «это не я», перехватывают мне горло.

— У меня... нету... — сиплю я и окончательно вдруг теряю голос в жалкой попытке оправдаться, сказать, что у меня нету даже красного карандаша. И с ужасом чувствую, что задыхаюсь.

Лицо учительницы размывается пятном, плывёт, и чёрные переплеты окон — качнулись.

От внезапного удущья почти теряю сознание.

Дина Ивановна, подхватив меня, страшно перепугалась.

— Мальчик, мальчик... что ты?.. Что с тобой?! О господи...

Звякает стеклом графин, ловлю отдаленно на губах холодок стакана, но только прикусываю краешек зубами. Вода льется мне на рубашку, на бумажную курточку. Три минуты спустя, оглушённый всем случившимся, я сижу на жёстком учительском диванчике, а Дина Ивановна носовым платком трёт мне курточку, заодно смахивает с моих щёк следы слёз.

— Всё-всё, успокойся, не плачь, не будем больше, я разберусь.

В углу учительской, за занавеской, умывальник, она заставляет

меня быстренько умыться, приговаривает:

— Бежим в класс скорее. Наши гаврики там уже на головах ходят.

Услышав это, я вмиг набычиваюсь. — Куда? В класс? Прямо сейчас в этот противный класс? Ни за что!

Я только на мгновение представил себе, как при нашем появлении воззрятся на нас сорок пар глаз. И среди них — глаза того, который... И начнётся «следствие». И тогда то, что знаем мы с учительницей, — узнают все.

«Не пойду! Не хочу! Пускай меня лучше исключат! Дина Ивановна, миленькая! Не надо!..» — это всё я кричу. Кричу молча, иступленно, с последним отчаянием в душе.

— Идём! — строго говорит Дина Ивановна и направляется к дверям. От маминых интонаций не осталось, кажется, и следа.

Выходим из учительской. Я покорно волокусь по гулкому, ставшему вдруг враждебно-пустынным школьному коридору — за учительницей следом, потому что уже решил: как пойдем мимо раздевалки и уличных дверей — сбегу. А там будь что будет...

Дина Ивановна разгадывает мой примитивный замысел. Во всяком случае, оглянувшись, она замедляет шаги и ласково-надежно приобнимает меня за плечо. И мы с ней, как два закадычных друга — большой и маленький — шествуем до самых дверей класса.

Сев за парту, я мучительно роюсь в своей противогазной сумке с учебниками. Хотя делать мне в ней абсолютно нечего. Я не могу поднять глаз. Не могу взглянуть на соседа по парте. Ни на кого не могу.

— Ребята! — обращается Дина Ивановна к классу, терпеливо переждав, пока класс остынет от «хождения на головах». — Ребята, я проверила ваши контрольные работы по рисованию. Что я хочу сказать? Большинство из вас неплохо потрудились, с выдумкой, с фантазией...

Голос её становится каким-то странным: то удаляется от меня, будто я глухну, то звучит совсем рядом.

Сидя в ставшем мне ненавистным классе, я чувствую себя самым несчастным человеком на свете. Я не знал, что от перестанов-

ки знаков может рушиться мир. Теперь — знаю. Сейчас он рухнет окончательно.

Что-то мне опять нехорошо, знобка, тошнота.

Дина Ивановна меж тем продолжает:

— Хочу отметить рисунки Катюши Гладышевой, Наташи Загоруйко, Алёши Бобрикова...

Она называет ещё несколько имён, говорит какие-то добрые слова. Делает нарочитую паузу.

— Особо же хочу отметить рисунок, названный автором «Воздушный бой». Наш боевой самолет с *красными звёздами* на крыльях вступает в схватку с фашистским бомбовозом, который летел бомбить наши мирные города. И подбивает его... Ребята! Идёт война, и все мы, конечно же, хотим одного — нашей победы. Автор рисунка хорошо, замечательно передал это всех нас роднящее чувство. Чувство справедливой победы над коварным врагом... Володя, встань, пожалуйста!

Я машинально встаю, вцепился в крышку парты, меня уже лихорадит.

— Вот он-то, Володя, и есть автор замечательного рисунка «Воздушный бой».

Весь класс при этом, как по команде, оборачивается и вперивается в меня, словно первый раз видит. Я съеживаюсь до микроскопических размеров. Мудрая моя Дина Ивановна... Долгим, пристальным и всевидящим взглядом окидывает она лица всех своих сорока «гавриков». Заключает:

— Завтра лучшие работы будут вывешены в классе на всеобщее обозрение.

...В школу я не пришел — ни завтра, ни послезавтра. Меня на целых три недели свалило в жестоком жару, который время от времени перемежался трясучим ознобом. Диагноз бабушки соседки гласил: лихоманка...

Это, думаю, та самая нервная «лихоманка», симптомы которой я, с малых лет страдавший болезненной впечатлительностью, ощущал, вглядываясь почти каждодневно в опрокинутые лица бредущих мимо меня мужиков в лагерном рванье.

Переборов «лихоманку» и встав на ноги, я на обочины больше не выбегал. В эти три недели я не только выздоровел, но и, кажется, повзрослел.

**КАРТИНКИ
С ТАЁЖНЫХ ТРОП**

Под сенью северной ночи

Есть на Таймыре река Котуйкан, приток многоводного Котуя. По характеру — типичная река сибирских возвышенностей. То стремительная и порожистая, то на многие километры тихая и плавная, с крутыми и каменистыми, овально выглаженными берегами. Склоны подступающих сопок — яркие многоцветные; пахучие ленты мхов, гривки кисличника, всепроникающего стойкого ивняка. Ивняк и кисличник преимущественно там, где полая вода нанесла плёночку илистого плодородного слоя — тысячелетия копила!

Наступала середина августа, ночей, собственно, ещё не было. Только когда солнце ненадолго скрывалось за сопками, воздух густел, растворялись тени, немотой наливался каждый листок. И лишь купол неба — весь, от земли до зенита, — наполнялся светом, а в западном его углу безмолвно и ярко, тончайшими иглами вспыхивали краски заката, перемещаясь по горизонту вправо.

В одну из таких завораживающих ночей, поздно причалив на ночлег, мы сидели вокруг костра, разморенные ужином, слегка придавленные картиной северного заката и каким-то подсознательным ощущением своей отторженности от далёкого человеческого мира.

Костёр весело, бездымно горел, но даже его пляшущее пламя не рождало теней. Лицу, рукам, коленям было жарко, а спину, не смотря на пододедную меховушку, крепко холодило.

Первый таинственный далекий звук расслышали не все (нас у костра было четверо). Донёсся он с другого, высокого берега Котуйкана однотонным воем, будто длинным стоном, — и тут же пропал, оборвался. Через минуту возник снова, значительно ближе.

Это был, без сомнения, вой, как-то враз поделённый на волокна многих голосов.

За рекой возвышалась сопка, стекая к реке многокилометровыми склонами, заросшими «пьяным» лиственничником. Звук нарастал оттуда, с этих склонов (он словно и родился в недрах сопки!).

Что-то жутковато-мистическое нёс он в себе — своей непонятностью и неожиданностью и в то же время какой-то непостижимой для разума гармонией с окружающим стылым пейзажем.

Что за наваждение!

Вой катится уже по тому берегу, в километре, а может, ближе. Из него вдруг выплескиваются взлаивания, скулёж и сразу следом за тем — густой, хрипяще-надсадный рёв тяжело бегущего животного.

«Волки! — сразу поняли мы. — Гонят оленя или лося!»

И оцепенели, вглядываясь в укрытые редким лисвенничником склоны. Однако серебристая дымка от светящегося купола неба размывала, безнадежно стушевывала даль.

Я никогда не слышал голоса волчьей стаи, преследующей свою жертву (да и где теперь это можно услышать?!). Но сейчас я отчётливо узнавал его. И не только узнавал, но и — на какие-то мгновения! — ощутил состояние тревожного языческого трепета перед ним.

Уж не гены ли предков отозвались во мне, предупреждая об опасности?

Волки, по всему, вели целенаправленный загон, охватывая лося полукольцом и прижимая к обрыву Котуйкана.

Крупный, обессиленный погоней по вязкому мху и острому камню зверь всё чаще — было слышно — останавливался и хрипло трубил: то ли для устрашения, а скорее от боли и осознания обреченности.

И у нас, четверых цивилизованных мужчин, воспитанных на том, что слабейшего надо защищать, возник страшно наивный, но искренний в те мгновения порыв: схватить ружья и, стреляя и вопя, бежать на спасение бедного животного. Порыв этот, разумеется, тут же угас. Во-первых, между нами и стаей была река, а во-вторых...

Эх, да что там «во-вторых»... И так ясно...

Эта дикая какофония, это злое торжество сильных над обессиленным, освящённое миллионолетней эволюцией живой природы, потрясали наши размягченные сердца минут десять-пятнадцать.

Потом все стихло, вместе с последним вскриком поверженного лося. И оттого, что мы ничего не видели, а только ориентировались по слуху, таёжная драма рисовалась в нашем воображении и кровожадней и злей, чем была, вероятно, на самом деле.

Ситуация над Саргаинским хребтом

Вертолёт шёл высоко над отрогами Саргаинского хребта. Изпод ледников и снежников, как нитки из кудели, тянулись серебряные от пены ручьи. Нас, пассажиров, было всего двое — я и пожилой грузный мужчина в кителе с дубовыми листьями, по всей видимости, работник лесного хозяйства.

Монотонно грохотал двигатель, было сумрачно и душно; из люка пилотской кабины над нами свешивались ноги бортмеханика в стоптанных туфлях. Работник лесного хозяйства дремал. Я тоже закрыл глаза, но мне вдруг почудилось, что мы закачались.

В следующую минуту сверху скатился бортмеханик, окинул нас мгновенным взглядом. Уставившись на моего соседа, прекрывая грохотание мотора, крикнул:

— В хвост!

У работника лесного хозяйства оледенели глаза.

— В хвост! Быстро! — повторил бортмеханик и для убедительности — жест рукой. Ничего не понимая, тот, тем не менее, безропотно пополз, раскорячившись, по вибрирующему полу в хвостовое отделение.

Механик исчез, но через минуту снова как бы выпал сверху из люка, глянул на мою фигуру злыми глазами, тоже приказал: в хвост! Я тоже резво стал на четвереньки и послушно понёс, куда было указано, свои скромные килограммы. Я уже понял: в жарком разреженном воздухе над горами нарушилась балансировка капризной, с плохо отцентрированным грузом машины...

Так мы сидели скрючившись среди каких-то ребристых рас-

порок и кронштейнов и молчали, пока механик, уже не спускаясь, а только свесившись, как косач на тычке, жестом не разрешил нам вернуться на место.

Мои колени были в мазуте, у работника лесного хозяйства лопнули по шву брюки. Он дрожащей рукой погладил прореху, взглянул на меня, и мы оба вдруг рассмеялись: ситуация!

Теперь, садясь в вертолёт, я с уважением смотрю на своих попутчиков — солидных, «весомых» пассажиров. Хотя, честно признаться, они с тех пор ни разу — в качестве живого балансира — не пригодились...

Ночь длинных «ножей»

Днём ещё сохранялась плюсовая температура, накрапывал дождь, но к вечеру небо очистилось. Накатали ранние сумерки, и враз похолодало.

Когда я уходил спать, собаки под избушкой уже возились, устраиваясь в своем соломенном логове, — верное доказательство тому, что ночь будет морозной.

Проснулся я глубокой ночью от гула докатившегося выстрела. Потом выстрел повторился, но уже отдалённо, потом ещё. Небольшая пауза — и вдруг бабахнуло совсем рядом. Я невольно вскочил, стал кос-как в темноте одеваться.

На крыльце, куда я вышел, лицо моё, ещё млевшее от тепла постели, будто ожгло крапивой. Я посветил на термометр — ого, минус пятнадцать!

Небо яро и безмолвно горело звёздами. А стылый, стекленеющий вокруг лес полнился перекличкой то мелких и частых, то оглушающих и редких, похожих на ружейные, выстрелов.

Здесь когда-то была хвойная тайга, её вырубili, на месте её вырос осиновый лес. Теперь осинник был стар, но ещё крепок, каждое дерево в обхват. Некоторые расщепило ветрами, расшатало на слабом грунте, однако деревья жили. И вот, захваченные врасплох первым обвальным морозом, не успев выгнать из себя

соки, они возвещали о своём несчастье гулом оглушительно лопающихся жил.

Я ушел и лёг и долго лежал, слушая тревожную незатихающую канонаду.

Позже я увидел на стволах морозобойные раны-трещины. Иные достигали нескольких метров, будто кто гигантским ножом рассёк. Весной большинство великанов-осин, хотя и продолжали тянуть к небу свои почерневшие ветви, но уже не задымились листвой. Раны их оказались смертельными.

Так за одну предзимнюю ночь погиб старый, выстоявший лес, не поддавшийся в своей долгой жизни ни огню, ни шквалу, ни гусенице, ни болезням. Будто побывал под расстрелом. Зато внизу под его ногами, не затемнённая теперь от солнца, весело-нахально пошла в рост бойкая берёзовая поросль...

Летим бомбардироваться!

Бревенчатый домишко «аэровокзала» в приполярном посёлке Пашкино Озеро. Время нашего вылета миновало, а посадки что-то нет. Но тут открывается окошко с табличкой «касса», и женский голос:

— Граждане пассажиры! Вылет рейса задерживается по техническим причинам...

Встаю, выхожу на воздух. Посреди поля — двухмоторный монстр. Присел на хвост. Облицьем шибко косит под бомбардировщика из кинохроник времен Великой Отечественной. Других летательных аппаратов не видно. Значит, это наш.

Стоя на приставной лесенке, парень в лётной куртке что-то колдует у входной двери. Долго смотрю. Ничего непонятно. Подхожу ближе. Ковыряется в замочной скважине. То ли гвоздиком, то ли отвёрткой. Совсем уж непонятно. Решаюсь поинтересоваться:

— Ну что, друг, скоро полетим-то?

— Полетим... полетим... — не оборачиваясь, тот начинает тихо материться. — Дверь эту открыть бы сперва...

— Гм, — растерянно говорю я, — кажется, ресурс дверного замка того, ну-ну... — и возвращаюсь в «зал ожидания».

Спустя пять минут с улицы энергично входит тот, в лётной куртке, стучит в окошко отверткой:

— Тоська, давай выводи на посадку!

Пассажиры — мужчины, женщины — оживляются: всё же летим?

Я шагаю позади всех к нашему «бомбардировщику». Летим-то летим, — уныло думаю я, — а на вираже каком-нить не высыпимся с визгом зажигательных бомб?

Осенняя светомузыка

Высокий и крутой, почти отвесный берег реки Томи зарос травами, мелким кустарником, кое-где каменным мхом.

Сегодня сентябрь, и травы обвисли, пожелтели, листва покраснела, порыжела, мхи украсились оранжевым. Оттенки всех цветов испестрили береговую крутизну, и вся она сверху донизу покрыта пепельной вуалью увядания.

Брожу внизу по узенькой галечной кромке — между водой и береговым откосом. Закатное солнце ушло за реку, висит низко над горизонтом. Второе солнце покоится в гладкой воде плёса — такое же лиловато-багровое, прохладное. С таким же серебристым, кокетливым воротничком длинного облака.

Но вот прогудела по реке «Ракета». Выпуклые, тугие волны плавно пошли к берегу. Взгляд мой случайно упал на береговой откос. Отражённые от реки блики света бежали со скоростью речных волн по пёстрому откосу, высвечивая его истинные краски.

И берег, только что лежавший в пепельной, осенней вуали, вдруг ожил и расцвёл, вспыхивая красным, жёлтым, оранжевым, багровым — там, где скользили, куда падали отражённые от взволнованной воды солнечные зайцы.

Минута или две, пока не успокоилась речная гладь, длилась эта безмолвная, щемящая сердце светомузыка. Прощальная музыка сентября...

Декабрьские мелодии

Морозы ударили необычайно рано, когда Верхняя Терсь была в традиционном осеннем разливе. Так, по разливу, и заковало её панцирем льда, припорошило снежком.

А потом вода стала убывать, входя в свое зимнее меженное русло. Ледяной панцирь, потеряв опору, стал оседать, рушиться с тревожно шелестящим вздохом. В местах обрушений чёрная густая вода выплёскивалась на поверхность, съедая снег, и тут же, схваченная морозом, застывала вздыбленными сверкающими иглами.

Я брёл на лыжах вдоль берега Терси. Здесь было её верховье, — летом бурное и перекастистое, а сейчас безмолвное и неудобное, точно покинутое жилище. Наглухо заснеженные пихты, молочно-белые овалы гольцов по горизонту, изморозь низкого неба — всё стекленело от тишины.

Под носками лыж внезапно мягко просел снег, заставив меня резко остановиться. Круглый, пугающе тёмный провал впереди зашуршал осыпающимся зерном снега. Я осторожно заглянул.

Под гранью льда, в глубине, пупырышки галечника, чёрные извивы коряжин — гулкая пустота морской раковины. И в этой пустоте — тоненький, звенящий перелив колокольчиков.

Что-то притягательное, вроде близкой тайны, почудилось мне в неожиданно открывшейся подлёдной пустоте. Я сбросил лыжи и, забыв осторожность, сполз на животе вниз.

Присев на корточки и ощущая спиной тяжелую, закаменелую стену берега, огляделся.

Влево и вправо, и прямо от меня уходил ледяной изъеденный свод. В пяти шагах текла речка, но настолько прозрачная, что течение угадывалось лишь по шевелящемуся, как бы вздрагивающему на дне валуннику.

Здесь не было темно: от кристаллического, изломистого потолка исходил зеленоватый свет. Отчего свет, если сверху — толщина льда и снега, а декабрьское низкое солнце, когда я спускался сюда, едва проступало в небе размытым пятном.

Я сидел, сдерживая дыхание.

Отчетливо различима торчащая из песка, перламутровая створка моллюска, дальше — ворох плавника, обросший чепчиками инея, а на кварцитовой плите целая географическая карта прожилок.

Какие-то зелёные стебельки — живые, упругие! — топорщась, тянулись вверх под этот льдистый внутренний свет.

Из глубины тоннеля продолжали звучать колокольчики, и я, согнувшись в три погибели (больше от ощущения ненадежности кровли над головой!), шагнул по скрипящему галечнику.

Впереди хрупкие своды легли на огромный валун. Мутноватый, выросший из паводковой воды лёд змеился корнями деревьев, длинными стеблями свисающих трав. Вся эта путаница, обледенев, висела над самой водой. И текучая вода шевелила, перебирала, ударяя друг о дружку, намёрзшие сосульки.

Чистота звука вблизи исчезла. Иные из ледяных подвесок фальшивили, издавая звук упавшей косточки, иные же посверкивали мягко, крутясь в одиночестве. Только три или четыре из массы звучали чисто, «сыгранно».

Их-то перебивчивую мелодию и услышал я, наклонившись над снежным провалом...

Недели через две я снова пришёл сюда, однако спуститься к подлёдной Терси уже не смог. Накануне пробушевала пурга. На месте «моего» провала расстилалась ровная снежная белизна.

Но всё равно — я был благодарен случаю, и на эту самую безмолвную белизну под ногами смотрел уже иным взглядом. Слышались мне колокольчики и виделись — под глухим декабрьским льдом! — зелёные упрямые стебельки, тянущиеся к загадочно фосфоресцирующему своду.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Набат сердца.....	4
Пещёра	99
Прекрасная моя тунгусочка.....	131

РАССКАЗЫ

Жив останусь – свидимся.....	173
Багульник – трава пьяная	188
Черёмуховые холода	200
Синь-Тайга.....	212
Нюрка из Тарлашки	241
У костра догорающего	246
Траектория любви.....	248
Лихоманка.....	251

КАРТИНКИ С ТАЁЖНЫХ ТРОП

Под сенью северной ночи	259
Ситуация над Саргаинским хребтом.....	261
Ночь длинных «ножей».....	262
Летим бомбардироваться!	263
Осенняя светомузыка.....	264
Декабрьские мелодии	265

Литературно-художественное издание

Мазаев Владимир Михайлович

СИНЬ-ТАЙГА
Повести и рассказы

Союз писателей Кузбасса

Подписано в печать 26.12.2012 г. Формат 60х80/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Тираж 500 экз. Заказ № 1093.

Отпечатано в ООО ПК «Офсет».

г. Кемерово, 650001, ул. 40 лет Октября, 1Б.
Тел. (3842) 75-43-89, тел./факс (3842) 34-96-41.



